Новый Журнал

141

THE NEW REVIEW

STATEMENT OF OWNERSHIP, MANAGEMENT AND CIRCULATION

(Required by 39 U.S.C. 3685)

1. Title of Publication — The New Review. — A. Publication No. 596680

2. Date of Filing — [Oct. 31. 80]

3. Frequency of issue — Quarterly. — A Number of issues published annually — 4 — B. Annual Subscription price $24.

4. Location of known office of publication—2700 Broadway, New York, N.Y. 10025.

5. Location of the headquarters or general business offices of the publishers—2700 Broadway, New York, N.Y. 10025.

6. Names and complete addresses of publisher, editor and managing editor—Publisher, The New Review Incorp. 2700 Broadway, New York, N.Y. 10025; Editor, Roman Goul, 506 West 113-th Street, New York, N.Y. 10025.

7. Owner (If owned by a corporation, its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of toal amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual must be given.)

The New Review Inc. — 2700 Brodway, New York, N. Y. 10026; Alexis Goldenweiser — president, 523 West 112-th Street, New York, N. Y. 10025. Zoya Yurieff — secretary 46-04, 196-th Street, Flushing, N. Y. 11358. Peter Muraviev — treasurer 316 Monroe Ave. Wyckoff, N. J. 07481.

8. Known bondholders, mortgagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages or other securities.—None

9. For completion by nonprofit organizations authorized to mail at special rates (Section 132.122, Postal Manual).

The purpose, function, and nonprofit status of this organization and the exempt status for Federal income tax purposes.—Have not changed during preceding 12 months.

10. Extent and nature of circulation

	Average No. copies each issue during preceding 12 months	*Actual number copies of single issue published nearest to filing date*
A. Total No. copies printed (Net Press Run)	1400	1400
B. Paid circulation		
1. Sales through dealers and carriers, street vendors and counter sales	66	54
2. Mail Subscriptions	1,179	1,159
C. Total paid circulation	1,245	1,213
D. Free distribution by mail, carrier or other means, samples, complimentary, and other free copies	40	40
E. Total distribution (Sum of C and D)	1,285	1,253
F. Copies not distributed		
1. Office use, left over, unaccountred, spoiled after printing	115	147
2. Returns from news agents		
G. Total (Sum of E & F 1 and 2— should equal net press run shown in A)	1400	1400

11. I certify that the statements made by me above are correct and complete. (Signature of editor, publisher, business manager, or owner)—Roman Goul, Ed.

12. For completion by publishers mailing at the regular rates (Section 132.121 Postal Service Manual).

Signature and Title of Editor, Publisher, Business Manager, or owner

Roman Goul, Editor

THE NEW REVIEW
НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

С 1966 до 1975 редактор Роман Гуль

С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор), Г. Андреев, Л. Ржевский

Тридцать девятый год издания

Кн. 141 НЬЮ ЙОРК 1980

РЕДАКТОР: РОМАН ГУЛЬ
СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW. DECEMBER 1980

Quarterly No. 141
2700 Broadway, New York, N. Y 10025
Subscription Price $24 — for one year
Publisher New Review Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York, N. Y

ОГЛАВЛЕНИЕ

Г. Сомов — Пушкин 5
О. Маслей — Сон 60
О. Анстей — Сама по себе (О поэте Л. Алексеевой) 79
Н. Первушин — Болезнь Достоевского и его творчество 86
И. Качуровский — "Поэзия Европы" по-советски 108
С. Голлербах — Новаторство и традиция 118

СТИХИ: *И. Чиннов* (58), *В. Перелешин* (78), *С. Парнок* (85), *Е. Васильева* (107), *А. Величковский* (117).

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:
Л. Сердаковский — Невозможная миссия 128
Соловки (публ. Р. Мартынова) 146
Б. Татищев — На рубеже двух миров 176

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:
А. Федосеев — Марксизм — любой дыре затычка 196
Д. Левицкий — О положении русских в независимой Латвии 206
А. Иванов — О традиционной ошибке в оценке встреч Достоевского с Герценом 234

БИБЛИОГРАФИЯ:
В. Перелешин — Китайское стихотворение Фета 253

Printed in the United States of America
by Computoprint Corporation
335 Clifton Ave. Clifton, N.J 07011

Tel. (201) 473-5071

ПУШКИН

СГОВОР

...Когда начали сбираться из Болдина на Москву, — залодырничал он, опустилися горько руки. "Да и бес с ним! — думал он, глядя, как без порядка, охапками, таскали барахло в коляску. — Больше одним сапогом, либо меньше — не все ли едино, пущай об этом у слуг голова болит, а мне опосля карантину по Москве так хоть босиком и то ладно!" Однако ж никого он не понукал, стоял бледный, смотрел на все медленно, будто из окна, боялся: ну, как опять все сорвется, перехватит едва ли не за околицей сразу карантин и... ни подорожной тебе, ни бубенцов дальних, — а давай, заворачивай оглобли назад, к отческому столу, к бумаге, да к чернилам, да к перьям...

— А-а-а! — махнул рукой, запахнул шубу (мерзлось чегой-то с утра), пошел с крыльца... И вдруг не закричал даже, а захрипел, выкатывая побелевшие глаза и жадно, как воду, захлебывая воздух: — Ты что ... твою мать!

Толстозадый растяпа-кучер так и окаменел на том самом месте, где только что, криво повернувшись, хватил в грязь медью еще при Абраме Петровиче окованный сундучок с бумагами, со всеми бумагами! беловиками! черновиками!

— Убью! — не подходи: сам! — и, путаясь от скорого шага в полах шубы, чуть не падая, — к сундучку. "Слава богу! — мимо лужи попал!" — мелькнуло в голове. Ухватился за ручку — тяжело, враз не поднять! Тикающим теплом перехватило горло:

См. кн. "Н. Ж" 139, 140

Copyright by The New Review, N. Y. 1980

"Добро! добро!" Поставил сундучок на ступеньку, сорвал клямку, отбросил крышку, задыхаясь, сунул ладонь лодочкой внутрь... туда, над дно... а, черт, тесно... Белкин... Белкин на дне... Сухо! — Отер лоб, выпрямился.

Чавкая грязью, подошел сутулый староста, помолчал, глядя под ноги, потом пятерней сгреб треух, откинул голову. На испитом красном лице его сидели свежие с искоркой глаза.

— Так ведь, что прикажешь, Ляксандра Сергеич, — староста прокашлялся, — Сена вашего, почитай, за дюжину копен в логу осталося! Чай, снег скоро!

— Сено, сено! — Пушкин отвел шубу на плечи, проследил, куда мостит девка злополучный сундучок. — Сено, говоришь! Куда деть спрашиваешь? Ежели интересуешься, — знаю: есть надобно сено! Не понял?

— Оно, конечно, Ляксандра Сергеич, нам ведомо, что сено на прокорм пущают. Тольки куды его перед тем деть прикажешь? Не на полати же к мужикам класть...

Пушкин, уже было направившийся к коляске, обернулся, улыбка прыгнула по губам с угла на угол.

— Плут ты, Трифонович! Ведь нарочно в последнюю минуту подошел! Ну, что я тебе теперь скажу? Ась? Поступай, как знаешь? Только смотри у меня, старая бестия, вернусь — три шкуры спущу! Не понял?

Староста сухо хмыкнул и затерся в толпу набежавшей к проводам дворни.

Взявшись за дверцу коляски, Александр Сергеевич будто потерялся. Глаза его остановились, лица кругом стоявших мужиков поплыли крупными розовыми пятнами...

— Ну... с Богом! — тихо произнес он. Лошади тронули.

Когда по ухабам с боку на бок пошла заворачивать коляска за угол, сквозь голые под осенью плетни, голо блеснуло желтым деревом барское крыльцо. Пушкин скоренько зашторил слюдяное окошечко, сунулся в угол, нахохлился. "Пусто! Пусто! Нету здесь мамки моей мамушки! Сколько раз бывало говаривал ей, не провожай меня, не провожай, Бога для: себе сердце рвешь и мне дышать нечем... Милая, не слушалась! Как жа, говорит, Сашенька, не провожать-то, коли поплакать надо! Потерпи, дружок, таперя не долго...Да, тогда не долго было, а

нынче и вовсе ничего не осталось...” И поползла со спины зябь, полезли по телу мелкие колкие мурашки. Пушкин с головою ушел в тулуп.

Коляска, между тем, пошла ровнее, слышно было, как бьет правое заднее колесо по кромке обочины, трещал облучком кучер и просеивался внутрь сквозь невидимые, неощущаемые щели мрак, тонкий, как сетка.

Словно в возмездие за два бездумных дня перед отъездом, когда только и делал он, что играл на бильярде в два шара, да валялся с книжкою на диване, пошли перед ним тесниться зримые — хуже не придумаешь — мысли; дьявольским каким-то хороводом несся пенный их круг, то назойливо выставлялось что-то совершенно не нужное, давным-давно до икоты надоевшее; то лезло в глаза что-то доселе невиданное, красное и бесформенное, измаранное желтым, жаркое и безжалостное...

— Да потише ты, — сам не зная зачем, попросил Пушкин кучера. — Потише, чай, не сено везешь, а барина.

Хуже всего было то, что все это он уже наперед знал. Задумав скорый отъезд, — все медлил чего-то, все слонялся без дела по комнатам, вечерами путался по околице, искал кислые желтые листья, жевал их, потом долго отплевывался, бежал пить чай, звал сенных девушек, песен просил у них, песен... Господи! Казалось, конца не будет этому колесу! Чертово вдохновение! Как поставил последнюю точку, — так будто дух вон! Хоть не живи! "Что счастье?" — спросил он вслух. Не знаю, до сих пор не знаю! Как неизъяснимо трепетно и легко было бы сейчас закрыть глаза и открыть их уже не здесь. А где? Не знаю. Ах, не знаешь! А позволительно ли, милостивый государь, спросить, что же знаешь ты? А?.. Да ну тя к черту! Тебе что, Кишинева мало?.. Хм, отчего же мало? Только Кишиневом одним нынче уж не отделаешься, Кишинев далеко, да и щенком совсем ты тогда еще был, помнишь?.. Нет!.. Хм, помнишь!.. Постой, постой, ты о чем?.. Ни о чем, а о тебе!.. Я — это я!.. Да, не больно вразумительно!.. Ну, брат, шалишь! Что я знаю — то знаю, я — первый поэт России, Пушкин я, не понял?.. Первый — ха-ха-ха! Как же можно быть первым в одиночестве? А? Ты был и есть один, ты тот усталый мальчишка на кишиневском базаре, который (помнишь?) перед изъеденной морщинами цыганкой и

ерничал, а все-таки просил: нагадай мне счастья! Ни денег не надо, ни славы — счастья, хоть на грошик... Помнишь?.. Ну, так что?.. Ничего! Она и сказала тебе просто: ты, мол, барин деревенской, вольной, тебе, барин, по одной половице ходить надо, по своей, как оступишься, — считай, пропал!

— Вот еще вздор! — Пушкин зло, наотмашь, хватил кулаком по колену...

"Разумеется, вздор! По одной, видишь ли, половице ходить надобно! И хожу! Всю мою жизнь, видит Бог, таскаюсь по этой половице! А кто из нас по двум идет? Где он? Покажите мне такого, подойду — руки перецелую!.. Пальяс! — Пушкин испуганно оглянулся. — Не перецелую, конечно! Ну, да к черту это! А в самом деле, кто я? Поэт? Ну, это уж ладно! Поэт мне пока один известен, тот чьих стихов никто не читал, — Орфей, а вот я кто? Помещик? Вот уж дудки! Мещанин? Это с шестисотлетней родословной-то! Хорош мещанин! Странно однако! Мещанин во дворянстве?.. Дворянин на мещанстве? Тьфу, пропасть! Эдак и с ума недолго сойти... Недолго!

— Что? Кто здесь?

Но по-прежнему скрипел на облучке кучер и жалобно, будто перед смертью, взвизгивало левое заднее колесо...

"Нет, я сам думаю! Один!"

Мысли его плавно, словно на мгновение только голова закружилась, повернуло и коротко, вспышкою увидел он сутолку и грязь кишеневского базара, нещадное обнаженное солнце и старуху-цыганку, была она в красной шелковой юбке... блестящей... блестящей...

"Нет, точно, занятно! По одной половице ходи! Что она тогда в уме держала, старая стерва?.. "Правдив и свободен их вещий язык..." — вдруг откуда-то со стороны нечаянные, незваные всплыли строки. Александр Сергеевич всей грудью, всем телом затрясся, захохотал, хватил в ладони, забывшись где он и что, вскочил, больно ударился головой... Коляска стала.

— Трогай, братец, трогай — это я сам с собою воюю!

"Нет, до чего складно все получается! А? Голова кругом идет! Самого себя своими же стихами объяснять вздумал! Молодец! Губа не дура! Цыганка — что? Она и соврет — дорого не возьмет! Им лжа на роду написана. Опять же, баба она!

Кассандра чертова! А как я мучился тогда! Боже правый! И никому ни полслова! Молчал, как удавленный! А после даже ссылке в Михайловское обрадовался, думал раз в деревню — значит верно: барин я деревенский, вольный и нечего мне по балам шататься! Сем-ка, поживу я анахоретом! Заведу себе охоту псовую-псковую, кухню поставлю на французскую ногу, буду себе с соседями в картишки поигрывать, буду выблядков своих тешить да распекать. А там, глядишь, между делом и стишок перепадет! Накропаешь, перебелишь да и в сундук, да и в сундук, — пущай наследники позлятся, когда ринутся по закромам золотишко искать — ан дудки! — все бумажки да бумажищи! Накося, выкуси! — разбазарь! То-то, брат! И проклянут они тогда меня... ах!.. до восьмидесятого колена! Это уж как пить дать!

Он свободно, всласть, потянулся и закрыл глаза. Сейчас бы верхом, так чтоб встречный ветер вдрызг, чтоб жарким осенним заморозком перехватило грудь, чтоб сбросить, где ни попадя, тяжесть тела и беззащитным одиноким сердцем — вперед, вперед... Так ведь нет! Туда-сюда, сюда-туда, омерзительно, как потная колыска, тянет коляска... Ха! Колыска — коляска. Да ведь вы — братья! Добро! Добро! И написалось много! Нет, славно поработалось, легко и славно! Отменные приметы, такое мне нынче чтой-то в редкость... А теперь и в Москву! Господь — судья! Чего-нибудь тисну в журнал, чего-нибудь так разбежится... Ах ты, черт возьми, совсем запамятовал! Царь-то мне нынче и сват, и брат, и цензор... Да, с таким интимом и до греха недолго! Овидий, чай, тоже не дурак был и с Августом, вроде, на короткую ногу, а вишь, где помереть Бог судил! У черта на рогах! Нет, от этой августейшей близости можно в такую даль загреметь — в сто лет не выберешься! Учен уж! А напрасно все-таки они меня из Михайловского тогда выволокли, право, напрасно! Я будто и свыкаться начал! Так на тебе! Пользы мне от этого на грош, а бед...

И уж дальше не понял Александр Сергеевич откуда только, четкие до рези под веками, глянули на него раскосые, как два ангельских крыла очи...

"...очарован... огончарован... ошельмован, наконец" — и разом прикусил язык, потому что шестнадцатилетняя девочка про-

зрачными, — сквозь них видно было, — пальчиками, стараясь не смотреть по сторонам и поминутно роняя на плечо от виска спиралью свернутый локон, подняла с колен веер, ахнула и, — Боже мой, как! — отказала: — Ах, извините, но маман не позволяет мне более танцевать! Я очень сожалею... я очень сожалею..."

"Да, отказала тогда! Но и позже, когда все-таки отдала свою руку мне — тоже отказала! Тоже!"

2

К по обыкновению позднему чаю горничная перестелила скатерть. На ломком полотне гладью был нашит самовар, от него квадратиками бежал, путаясь, узор, и ломалось в нем кривое осеннее солнце. Наталия Ивановна сунула на квадратик пальчик, поскользила-поскользила, — поджала губки, а обвисли уж губки, сваяли, и кликнула Машку:

— Перестелить! Хочу, чтоб гладкая....

Ладно, затеяли все сызнова, в полчаса сладили....

— Боже мой, сервиз не тот! — жалобным голоском пропела Наталия Ивановна, когда расставлены уже были приборы.

Азя порозовела.

Наталия Ивановна, сидевшая до того робко комочком, выпрямилась, выпростала из широких рукавов капота пухлые, до голубизны белые руки — стала в два раза больше.

— Коко, девочка моя, — ни на кого не глядя попросила она. Принеси из диванной мне подушечку, знаешь, ту голубенькую...

— Хорошо, мама, — и, мигнув сестре, боком в дверь, — та за ней, а в это время из прихожей полез туша-тушей швейцар Матвей, может под хмельком слегка, а может, так просто, от ветру сизый. В красной ручище своей держал он узенькую полоску бумаги белой и першил горлом.

Наталия Ивановна подобралась: — Что стал!

— Так вить тама... унизу, — он почему-то ткнул пальцем в потолок, — ждать изволят...

— ???

— И-и-и... — Матвей покрутил головой, набрал в грудь побольше воздуха и, вдруг неожиданно для самого себя,

выговорил: — Пушкин!

Улыбнулась Наталия Ивановна:

— Непременно проси, тотчас же проси его, голубчик! Ведь, как славно будет, ежели заместо калоши, как давеча, он сам сядет чай пить!*

Матвей ухмыльнулся:

— Так вить ужо тут!

Александр Сергеевич на секунду только замешкал, когда с порога прямо увидел накрытый к чаю стол и во главе его — Наталию Ивановну. "По-французски или по-русски?" с любопытством подумал он, чувствуя кончик языка зубами, и подошел к хозяйке дома.

— Хоть и не модно нынче — однако ж, позвольте! — он осторожно тронул сухими губами ее влажную, постелью пахнущую, руку.

— Я — видите — одна! — тотчас же заворковала Наталия Ивановна, оправляя сползшую набок грудь. — Девочки мои оставили меня, разбежались резвушки... садись, батюшка!.. стара стала, где уж мне! И то скажу, — она доверительно тронула Пушкина за рукав, — что творится-то нынче! Вот Катерина Ивановна давеча писала... но между нами!.. Тсс! Батюшка... Ну, как доехать изволили? Чай трясло...

Пушкин встал, склонил голову.

Напротив него, в дверном проеме Азя и Коко, казалось не обращая ни малейшего внимания на гостя, дурачились с любимой маменькиной подушечкой; каждая тащила ее на себя, и не забываясь ни на мгновение, сестры грациозно очень бранили друг друга: "Я!" — "Нет, я!"

— Вы только посмотрите на них! — вставила свое Наталия Ивановна.

— Сударыня... сударыня... — Александр Сергеевич по кругу обошел их, остановился и, не зная, что делать, медленно улыбнулся: — Две грации...

---

*Со слов брата Наталии Николаевны С. Н. Гончарова Бартенев пишет так: "Было сентябрьское утро, все дети встали и сидели в столовой за чаем. Вдруг стук в коридоре, возня в передней и в столовую влетает калоша... За калошей — Пушкин, только что приехавший с Кавказа..."

— Таша спит. — В темных глазах Ази что-то мелькнуло и погасло: — Хотите чаю?

— С удовольствием! Наталия Ивановна пристально глянула на средненькую свою: — Александрина Николаевна ошиблась! Таша одевается.

3

И она действительно одевалась, и действительно была убрана постель, и действительно в девичей повернуться негде было из-за крепдешина цветом в сырое мясо, из-за зеленого шелку, из-за лент и чепцов, из-за тугого запаха духов, из-за того, что проснулась нынче поутру Таша удивительно свежей и чистой, так, будто и не спала вовсе, а всю ночь насквозь плыла по нежной глади теплых майских вод и все было мимо ей, мимо, вокруг ни души, и даже маман — сама маман! — оставалась все время где-то с краю, вдалеке...

Как-то не хотелось ей нынче обыденного, утреннего, думалось, вот переберу еще раз гардероб и непременно окажется все иным; новым сильным цветом нальются давно знакомые ленты и обожжет капот звенящей белизной. Все было светло для Таши. Она помурлыкала-помурлыкала над туалетом — и потерялась: не углядела, как то ли к чаю, то ли еще куда разбежались сестры, пропала девка-служанка и желтым полуденным налилось оконце. Все держала она в зубах шпильки, но не ладила прическу, а тягучими, как в воде, взмахами, роняла гребень в косу и улыбалась — зеркалу, не себе...

Неожиданно, но желанно позвал ее кто-то из столовой. Она даже не разобрала мужчина или женщина — просто голос.

"Ага! — сказала она сама себе, а вслух ответила: — Сию минуту". И скорехонько — два-три движения, казалось, только качнула головой — окончила прическу.

У порога она замешкалась, дверь никак не поддавалась, видимо, что-то заклинило. Она изо всех сил потянула ее на себя, еще — нет, стоит как вкопанная. С досады порозовела Таша, топнула ножкой.

С другой стороны, из столовой, гулко ударили о паркет каблуки. Кто-то (Чужой наверное! — мелькнуло у ней) быстро подошел к двери, сильно, так что затрещало, нажал ручку и,

отбросив дверь настежь, поклонился.

— Вы? — Таша вскинула брови: "Боже, какой угрюмый!"

— Как видите, нет!

Таша наморщила лобик, глаза ее на мгновение заискрились, сверкнули... и остановились.

— Натали, — неожиданно низким голосом взяла Наталия Ивановна, смутилась этим необыкновенно, поперхнулась, остро глянула на Пушкина: — Натали, девочка моя, садись чай пить, пока не простыл.

"Чай, чай! — медленно думала Таша, глядя, как ломалась в ее чашку вишневая струя. — Чай! Сбежать бы отсюда! Зачем они это все?! И чай, и Пушкин... А утро мое..." Ей стало почти до слез жалко себя, показалось, что не из своей комнаты пришла она сюда, а откуда-то из другого мира, из далекого...

Скушай что-нибудь, доченька!

— Не хочу!

— Ну, не обижай свою маму, девочка, у тебя нынче цвет лица какой-то нездоровый!

— Не хочу и не буду!

— Вот такая она всегда! — Наталия Ивановна вздохнула, повернулась к Пушкину: Капризница! А как своевольна!

— Поставьте ее в угол! — Александр Сергеевич, кажется, улыбнулся.

А, что, батюшка, авось и одумается!

— Маман!

— Что "маман"? Александр Сергеевич дело говорит! С такими, как ты, иначе нельзя!

— Маман, я уйду!

— Вот — пожалуйста, ей говоришь, а она...

Пушкин встал: — Позвольте, Наталия Ивановна, я проведу Наталию Николаевну в оранжерею. Мне думается единственно, чего ей не хватает здесь, так это воздуху!

— А поступайте, батюшка мой, как вам будет угодно! Разве она дочь мне? — Наталия Ивановна дождалась, когда они дошли до двери и в спину им крикнула: — Только, чур, недолго!

Александр Сергеевич, пропуская Ташу вперед, кивнул.

4

— Чтой-то, душа моя, оранжерея у вас уж больно на баньку похожа, прямо в пот кидает!

— Это у вас с дороги! Пустите! — Таша несильно, но настойчиво тянула из руки Пушкина свою, узкую, холодную.

— Ну, положим, не только с дороги! — Пушкин сел нога на ногу, вскинул на Ташу глаза, быстро улыбнулся, пришурился: Сядь-ка и ты, — хоть немного побудем одного роста!

— Я постою!

— А я посижу. Слушай, мраморная-то твоя матушка, по-моему, зубки давеча точила. А?

Таша разом вспыхнула. Профиль ее (стояла она у окна) осветился изнутри, ожил.

— Вольно вам, — она запнулась, вольно... не уважать меня — это несчастие мое и судьба, но маменьку, — человека лучше которого я не знаю, — оставьте. Богом вас заклинаю!

— Ну, полно, уж и шутки пошутить нельзя! Прости, душа моя, это я так... к слову. Да и показалось мне, — он нахмурился, осторожно, будто нечаянно глянул на Ташу. — Показалось мне, что надоела она всем вам троим хуже горькой редьки! А?

— Оставьте этот тон, прошу вас!

— А? Али ошибся? Али ослеп? Азя-то чуть маменька слово глаза в пол и ни гу-гу, хоть железом жги! Спроста ли это?

— Александрина дурная дочь.

— Что так?

Таша оживилась:

— Третьего дня мы с Коко гадали ей. Выпал бубновый валет. Я возьми да и скажи: быть, мол, тебе за маменькой еще лет десять — она этой масти терпеть не может...

— Ну и...

— Азя раздосадовалась ужасно! Карты порвала. Мне, говорит, до маменькиных блажей дела нет!.. Уж и перепугались мы с Коко...

— Вот те на! — Пушкин расхохотался, вскочил со стула, ударил в лодоши: — Ай да девки! Ай да герои!

Таша словно не видела и не слышала его. Лицо ее было беспокойно, но глаза блуждали так, будто было у них что-то отрадное и тайное, но не здесь — далеко.

— Правда, правда! Мы тогда послали девку в кладовку... за вареньем, а она принесла, дуреха, малину на меду в бочонке. Стали мы ее открывать да так и вывоpотили на постель! Что было! Хорошо, хоть маман не прознала!

— Ха-ха-ха! — Александр Сергеевич до кашля зашелся смехом, чуть не падая со стула, достал носовой платок, отер добрую счастливую слезу и хитренько так, будто цеплял на леску махонький крючочек, полюбопытствовал:

— Ин, сказать Наталии Ивановне?

Таша, с широко открытыми глазами, застыла.

— Нет, — прерывающимся голосом, через паузу, сказала она, — не надо! — и, наконец, догадавшись: — Это смешно, да?

— Ничуть! — у него захватило дыхание. "Слишком уж все просто!" — успел подумать он и, не замечая ее по-прежнему холодных рук, обнял Натали. Отстраняясь, та гнулась робко, но сильно, что-то шептала округлым близким ртом, на какую-то долю секунды трепетно и спокойно застыла, но тотчас же, будто над разрыв-травою ворожа, повела мягкими своими руками и очутилась, тихая, в противоположном углу оранжереи. Видно было, как синим огоньком вспыхивает у нее на шее жилка, и еще шуршала на плечах тоненькая прозрачная накидка, ползла на пол.

Неуклюже, будто первый раз в жизни, Пушкин улыбнулся: Однако не слишком ии здесь воздуху!

— Я привыкла, — ответила Таша ровным голосом.

— А мне чтой-то неймется! — и, заметив сквозь стеклянную дверь уверенную тень горничной, Александр Сергеевич громко добавил: — Пойдемте, душа моя, мочи нет, как душно!

5

А в гостиной уже поджидала Александра Сергеевича Наталия Ивановна. Пока гуляли молодые в оранжерее, принесли ей нехитрое рукоделие: шелк цвета массака да бисер, и вот она дурачилась с крохотными бусинками, прикусив язычок, цепляла их на длинную нитку, зажимала в ладони, резко дергала, ссыпала в горсть... И так заигралась, что будто и не заметила даже, как, выстукивая каблучками, скользнула от двери к окну Таша, как, щурясь, держа у губ палец, не то вошел, не то

спрыгнул в комнату Пушкин. Александр Сергеевич тонкую и бледную руку свою растопырил "букою", на цыпочках, оскаля зубы, — к Таше, та — и постоять непротив и взвизгнуть готова застыла...

Встрепенулась Наталия Ивановна:

А, что, батюшка, — ласково, перебирая бусинки, спросила она у Александра Сергеевича. — Как тебе, шалунья моя?

— Шалит! — ответствовал тот и преуморительно (Таша прыснула-таки) дернул головою.

У маменьки стекляшки ее в горсти дрогнули:

— Наталия Николаевна, попрошу я вас к сестрицам выйти, чаю они соскучились уж!

— Воля ваша, маменька!

Помолчала и другим голосом, стареньким дребезжащим к Александру Сергеевичу:

— Присядь, батюшка, потешь меня старую, полюбезничай!

— Да чтой-то не хочется... сидеть, Наталия Ивановна, я уж как-нито стоя, добро?

— Добро, батюшка, добро!

Пушкин, как давеча, ладонь в ладонь, оперся локтями на спинку кресла, нахмурился. "А, что говорить-то?" — он искоса глянул на старуху. Та сидела, мирная, с улыбкой на губах, катала по подолу бусинки. Александру Сергеевичу захотелось собрать всю эту дрянь и выкинуть...

— Наталия Ивановна, — тут голос у него чуть-чуть перехватило, он кашлянул. — Наталия Ивановна!

— А, батюшка? О чем беспокоиться изволишь?

— Я окончательно и бесповоротно решил нынче: женюсь! Слова ваши и поступки мои пред тем хочу считать не бывшими. Я имел достаточно сроку подумать. И, действительно, дня не было и ночи не было с тех пор, как уехал я из Москвы, чтоб не являлась в памяти моей Наталия Николаевна. Зная наши усобицы, не желая возобновлять их, положил я забыть ее, однако сердце мое требовало еще встречи... пускай последней... Намедни, увидев Наталию Николаевну после долгой разлуки, нашел я и в ней, и в себе... и в нас перемены к лучшему... Теперь я хочу удостовериться только, что предложение мое некогда

вами так благосклонно принятое, остается действенным и по сей час!

— И верно, батюшка, складно сказано! Однако ж, не обессудь выслушать, что и я, старая, по сему мыслю!

— Весь внимание!

Наталия Ивановна поморщилась:

— Да не егози ты, ради Христа, так, сядь вот сюда, к окошку! Вот-вот! О чем, бишь, я... Да! Нет, не враг я детям своим, глаза ее мигом наполнились слезами, брови искривились и — странно — простодушное лицо ее, до того доброе и незатейливое, как луковица, разом вытянулось, очерствело и будто железною шелухой покрылось: — Видит Бог, счастье их для меня — все! Но, государь мой, — Пушкин закусил губу. — Кто вы? Кто?

— Так вы не знаете?

— Вот крест, не знаю! Неужели вы полагаете, что мне, матери, достаточно слухов?

— Как же тогда объяснить можно согласие ваше?

— Э-э-э, батюшка, куда хватили! Чай, не вчера это было, а я... что ж греха таить, всегда была простодушною!

Пухлые, полуоткрытые губы Пушкина посинели, запрыгали:

— И для вас, и для всех я всегда был только тем, кем являюсь на самом деле! И настоятельно прошу вас, сударыня, коли вам пришла охота выбранить кого-либо, — прикажите позвать для того вашего повара!

Коли вам угодно так говорить с бедной старой женщиной, почти вдовой, — Бог вам судья! Но, я уверена, девочки мои, сыновья не оставят меня в несчастии, чтоб вы про них ни говорили, чтоб ни думали!

— Наталия Ивановна, ну, прошу вас, оставимте это! Не будьте ребенком! Ведь не злодей же я в самом деле!

Наталия Ивановна быстро глянула на него и мягко, почти уже радушным голосом, попросила: — Уйдите, сударь! Я была о вас лучшего мнения!

— Нет, постойте, сударыня, извольте выслушать! Не за тем я был в отъезде, не за тем я тщился забыть все, чтобы вздорными своими пустяками только вы могли отказать мне от дома вашего! Не понимаю совершенно, — быстро, словно в

догонку за кем-то заходил он по комнате. — Нет, в толк этого никак взять не могу! Что с вами стряслось, чего вам неймется? А? — Он издали, клонясь набок к свету, попытался в лицо заглянуть Наталии Ивановне. — Что вам еще наболтали про меня? Зачем вы верите каждому шалопаю только не мне?! Что вам это — услада, спасение от скуки? А? Да вы посмотрите на меня, посмотрите сами! Или глаза ваши уже ослепли от долгого безделия? — Потупясь мечтательно сидела Наталия Ивановна, губы ее беззвучно шевелились. Пушкин подошел ближе и тихо, словно сомневался еще, попросил: — Не надобно унижать меня, сударыня, я ведь обид своих не прощаю... Или, — руки его напряглись, — или уж откажите напрямик, отымите благословление ваше, все отымите! Переживу! Видит Бог, переживу, но от балагана — увольте!

— Аааа! — Наталия Ивановна уютно перекрестила рот, кликнула: — Аграфена!

— Что, матушка?

— Подь, милая, на кухню да пошевели их там хорошенько! Что они, право слово, заснули что ли? Обедать уж пора!

Пушкин медленно, разводя по ходу руками, пошел к двери. Став на порог, оглянулся. Наталия Ивановна осторожненько, помогая себе востреньким язычком, тянула на нитку бусинку... Еще одну... Еще... Александр Сергеевич мелким шагом — вон. Слышно было из передней как споткнулся он обо что-то.

6

С нежданной той сентябрьской ночи, когда специально для того государем посланный офицер, дав Александру Сергеевичу на сборы полчаса, увез его с собой в Москву, — минуло, слава Богу, уже четыре года. Тогда он, помнится, и думать ни о чем не поспевал, да и не хотелось нисколько, во всю дорогу от Пскова до Москвы, может, с десяток слов связал не больше. Было ему ни грустно, ни весело, стороною где-то тикало время и будущего своего он не ждал, но и не боялся. "Будет надежд!" — ровно думалось ему, однако, далее натура свое взяла: и в Кремле, в приемном уже покое, враз захолонуло сердце, неловко щупая на скулах почти недельную щетину, погас Александр Сергеевич, громоздкая пустота стеснила душу, перехватило горло,

показалось — земля из-под ног уходит. "Как у тех... у пяти!" — мелькнуло в голове, но бледный еще, он тотчас же улыбнулся, когда позвали его, и за флигель-адъютантом — к государю...

Николай Павлович удивил и даже порадовал Пушкина. Когда говорил он, самодержец всероссийский, с поэтом, была в тоне его какая-то равновеликость подкупающая, будто не чиновника 10 класса Александра Сергеевича, сына Пушкина, принимал он, а облеченного всеми предикатами главу государства, с которым лестно и нужно связь держать.

"Ведь не глуп! думал позже Пушкин, деталями припоминая аудиенцию. — Для русского царя так, пожалуй, даже и умен!"

Не понравились Александру Сергеевичу только глаза императора, — посторонние какие-то, будто вовсе и знать не желают, о чем их обладатель беспокоится: пошутить изволит — серьезничают; насупится — зрачки так и заиграют, так и заискрятся! Наблюдать их было неловко, — казалось, невольно споспешествуешь какому-то исподтишка затеянному умыслу. "Вздор это! — быстро решил он тогда, ибо иным жило сердце его после августейшего приема. — Свободен, свободен, свободен я, как Бог свят, свободен и все доступно, все — возможно..."

... и еше что-то хотел припомнить Александр Сергеевич, выйдя после нескладного своего объяснения с Наталией Ивановной на угол Скарятинского, — но не мог! Далее все путалось в голове, скользило какими-то ярко-серыми лицами, недоумением, бальным вощеным паркетом, сквозило неизменно вежливыми улыбками Бенкендорфа и покалывало до слез пленительным голоском Софьи Федоровны...

"Да, свободен! — думал он, шагая вброд по лужам. — Свободен, черт возьми, свободен не печататься, не любить, не жить!" Москва, пестрая и грязная, в робком декабрьском снежке, тошнотою подкатывала к горлу. "Все! — неистово и горячо, будто не думал, а своими собственными руками с корнем выворачивал Пушкин. Все! Не судьба!" и дальше по Большой Никитской, без дороги, на своих двоих — только бы вперед, вперед шел он, размахивая тростью, что-то вслух приборматывая. Редкие праздные прохожие с любопытством и нахально сторонились его. Какой-то — весь, как засаленный

куль тряпья, вполпьяна — старичишка пристал попрошайничать. Бежал следом, тянул руку, гнусавил и вдруг, ни с того ни с сего, раскатился дробным, как горох, смехом.

— Ты что? — Пушкин обернулся. — С ума спятил? Прихихикивая, старичишка проворно нашарил за пазухой ладанку и на ладони грязной ткнул ее Александру Сергеевичу.

— Вишь? — спросил он, скаля десны. — Богородица! Матерь-заступница!

— Ну?!

— Не дашь на косушку — опозорю пречистую!

Пушкин блеснул глазами, присел... и расхохотался, звонко, прерывисто. Переждав для приличия немного, старичишка тоже забулькал горлом на одной ноте: хе-хе-хе! С минуту оба странною парою корчились посреди улицы. Александр Сергеевич слова не мог вымолвить: все заходился и заходился да отмахивался тростью.

— Герой! — наконец, отдышавшись промолвил он и, не считая, сунул страждущему какую-то мелочь.

— Из остатних, что ни есть, силов мог бы! — доверительно заверил старичишка и — откуда прыть взялась — разом, будто перелетел на другую сторону улицы, к кабаку.

"Да, — Александр Сергеевич покачал головой, сдвинул на затылок цилиндр. — Занятно! Впервые, кажись, со мной такое приключилось! Надо же! Опозорю... пречистую! Молодчага! Однако ж, ежели разобраться, то немного и врет ярыжка! Кого же, как не Пречистых позорить нам?! А? Сунься-ка, попробуй, положим, на того же Булгарина краску нагнать! Куда там! Легче в гроб лечь! То-то, брат!" — он улыбнулся и огляделся: "Где это я? Ах да, все еще у стен так и не взятой мной крепости! Ну, будет на сегодня! Пора и честь знать! Пересплю, передумаю, а там, что Бог даст! Со свежими силами всегда складнее получается!"

— Эй, извозчик!

Куда прикажете?

Давай, голубчик, в "Англию". Чай, знаешь дорогу?

Как не знать!

Ну и с Богом! Покамест суть да дело, мы с тобой, глядишь, и за границей побываем!

— Гы-гы-гы!

По дороге в гостиницу Александр Сергеевич дремал. Ему не спало с сердца, не полегчало, он не забыл простодушно заковыристые словечки Наталии Ивановны, ее бисер и улыбочки, зевки и заботу, — нет. Просто настроение его, каким-то самому ему неизвестным образом переменилось. Та часть души, что давеча болела и мучилась, не исчезла, но будто в спячку впала, притихла, лежала где-то глубоко и нежно оберегала свою тоску и горечь. Пушкин хорошо знал, чего ждет она — радости. Закрыв глаза и мягко покачиваясь, он безмятежно думал о том долгожданном и светлом часе своего счастья, когда боль вернется к нему. Непременно вернется.

7

Утро над Москвой взошло на следующий день пасмурное и низкое. Все чего-то брезжилось в небе, брезжилось; тучи то на клочки рвались, то застывали густой дымчатой пеленой. Иногда даже начинало казаться, что вот-вот потянет с запада ветром, освежеет все кругом и высветлится, — но напрасно, часу в одиннадцатом зарядил-таки дождь и, как из погреба, потянуло от Кремля на сене настоенной сыростью, заскакали по лужам пузыри.

Пушкин проснулся поздно. Было ему отчего-то покойно и, может быть, даже весело. Обмяв подушку, подтащил он к изголовью коротконогий столик с бюваром и трубкою. Измостился на постели боком так, чтобы локоть правой руки упирался в колено, прикинул на глаз лист бумаги, неровный рыхлый, обмакнул куцое перышко в чернило... и забыл, что вертелось у него с вечера в голове. А ведь была какая-то пружинистая, четкая строка... "Та-та-та... — попробывал он поймать ее на слух, нет. Тьфу, пропасть!" С досады пустил слюны в чубук, зашипело и забулькало там, прижгло горечью язык... Он отбросил трубку, достал свежий лист, размером поменьше и на нем смаху пустил несколько строк — письмо к Плетневу. Перечитав, удивился: "Не то, не то!" но переправлять не стал, а просто решил обождать с отсылкой. "Не идет у меня что-то здесь, — думал он, покусывая щекотавшее губу перо. — То ли Москва не по мне, то ли я не по Москве! К черту!" Встал. В длинной, до пят рубахе подошел к окну. "Нет,

смотреть не на что!" — прошептал он буквально через секунду и кликнул полового. Тот в красной рубахе, с лицом, побитым оспою, явился, как из пушки, — мгновенно: — Чего изволите?

— А видал ли ты, братец, когда-либо море? — щурясь спросил Александр Сергеевич.

— Завсегда вижу! — шустро нашелся опытный малый.

— Ну, тогда достань мне корыто да такое, чтоб оно только на чуточку было помене моря! Добро?

— Сей минут!

Корыто, действительно, объема внушительного было сыскано моментально. Пушкин подождал, пока половой натаскает в него студеной, из колодезя прямо воды и, выставив малого за дверь, полез купаться. С час, наверно, он фыркал, отдувался, захлебывался, выкрикивал что-то потешное и тер себя с таким истовым остервенением, что казалось того и гляди, брызнут из-под горячих ладоней искры.

"А хорошо все-таки, несмотря ни на что, хорошо!"

Одевался Александр Сергеевич сам, без помощи слуги.

На выходе уже, у самой конторки хозяина, уже зная, что молодцеватый усач-швейцар именно ему с поклоном оттягивает дверь, Пушкин вдруг стал, как вкопанный. — Из соседнего, наверно, офицерского номера смеялась женщина; ходуном ходила вся — от шпилек в высокой прическе до каблучков; заливалась нутром, темно и гулко, сквозь одуревший от мая полночный лес; ни от чьего-либо острого словца смеялась, — смеялась от себя только, от натуры своей. И влажен, как гроздь еще снимаемого с лозы винограда, был этот смех...

— Ты бы, братец, хоть упреждал что ли, когда ходить-то тут можно! — переведя дух, выговаривал у двери Пушкин швейцару, роясь в кармане за мелочью.

— Мамзель! — беря на чай, радостно объяснил швейцар. — Почитай, кажинный день ее сюды привозят!

— Хм! — Александр Сергеевич пожал плечами и вышел. На улице он взял извозчика и приказал ему ехать в Большую Никитскую. "Нынче должно все сладится! — думал он, спокойным взглядом следя серые московские улицы. — Нутром это чую!"

8

... И не ошибся Александр Сергеевич. Был на сей раз обласкан он в дому Гончаровых. Наталию Ивановну будто подменили: смотрела ласково, говорила задушевно, вопросики подносила мягонькие, сразу видно не от любопытства, а от любезности. Под конец она так разошлась, что даже о приданом пару скользких словечек ввернула, но быстро опомнилась и перевела беседу на Рождество.

Покойно себя чувствуя, Пушкин больше отмалчивался; сидел, пощипывая бакенбарды, — ждал Ташу.

Наталия Ивановна и тут блеснула тактом, — сказала, что хворает Натали и предложила домашнего с клюковкой квасу.

— Нет, уж увольте! Благодарствую! — отказался Пушкин и стал прощаться.

— В любое время заходите, — чуть не до дверей провожала его Наталия Ивановна. — Ждать будем!

— Ужо, ужо!

"Ну вот, можно и свадьбу играть! — думал Александр Сергеевич, шагая по Большой Никитской вверх и покусывая время от времени излобье трости: — Стоило ли, право, огород городить?! А?"

9

Ввечеру того же дня похолодало. Небо вконец измотанное злым дождем обвисло, тяжело легло на звонницы Замоскворечья; повалил снег крупными хлопьями.

Пушкин все маялся у себе в номере. Неумолимая призрачная грусть снедала сердце. Хуже всего было то, что и не думалось ему даже. Стояла в голове вязкая густая пустота и вялая мысль бессильна была одолеть ее и пробиться к какому-нибудь видению, поступку, слову. Бессмысленно он уже было совсем решил удариться в карты, да нехотя, как-то боком, вспомнил желтые пустые круги лиц над зеленым сукном и гадливо поморщился... "Нет, ни за что!" Тут же подскочила еще мысль, он снова отмахнулся: "Павел Воинович* добряк и умница, — а я нынче ни тот и ни другой!"

* Друг Пушкина — москвич П. В. Нащокин.

Расслабленно, всем телом, Александр Сергеевич приник в кресло, набил почти негнущимися пальцами трубку, потянулся в камин за угольком, — жар ударил в лицо, затрещали волосы, запахло паленым... "Вот не везет!"

— Кажись, звать изволили? — неожиданно возник на пороге половой.

— Пошел вон, сию же минуту! — Александр Сергеевич даже трубку на пол выронил. Полового как ветром сдуло.

Пушкину стало страшно. Он исподтишка, словно боясь разбить что-то, тронул себя за щеку. "Ну, добро, полового, шестерку, прогнал, а ежели бы это женка зашла? А? — Ха! И женку бы выгнал!" — перебил его кто-то веселым разухабистым тоном. Александр Сергеевич подозрительно подошел к двери, выглянул в коридор. Ни души!

"Нет, так далее нельзя! — он в остервенении кругом заходил по комнате, пнул в стену ногой: — Тесно! Ветру надобно, ветру!" Кое-как одевшись и прихватив на всякий случай любимый свой походный пистолет, Александр Сергеевич бросился на улицу.

И осклизлый пронзительный ветер тотчас же налетел на него из-за угла, разворотил полы плаща, заставил пригнуться; чтобы не упасть, Пушкин ухватился за стену, на лицо его скользнула тихая улыбка.

"Ну, теперь трость забыл! — минутою позже выругался он, но возвращаться не стал, а быстро, будто была у него не терпящая отлагательств цель, зашагал к Тверской. Перейдя бульвар заколебался: вправо... влево и — видно, все равно было — тронулся наискосок, не глядя по сторонам, походкою скорою, но безразличною. На каком-то углу поленился лужу обходить, — свернул в переулок. Через полчаса он уже не знал, в какой части города находится; путаный заячий след лежал за спиною, — впереди было пусто и темно. Прохожих навстречу почти не попадалось. Александр Сергеевич даже телом своим не понимал, что он идет куда-то и лишь изредка охлопывал себя по плечам: плащ, намокнув, стал путать шаг. Иногда Пушкину казалось, что никуда он и не выходил из своего номера, а просто, свободно вытянув ноги, дремлет у камина и от потрескивающих сырых поленьев влажное тепло отдается в поясницу...

По левую руку от Александра Сергеевича осторожненько

блеснул огонек. Он приостановился. Ветер доносил обрывки слов, хлопанье двери. "Верно, трактир какой-нибудь!" — решил Пушкин и свернул к высокому темному крыльцу.

— Чего надоть-та? — высунулась на стук его остриженная в скобку головенка.

— Как и всем! — Александр Сергеевич улыбнулся.

— Чичас!

Тяжко обивая по дороге сапоги, Пушкин минул узенькие сенцы и из-за стойки прямо вывернул в прокопченное, скудно освещенное помещение. Сам сиделец бросился встречать нечаянного барина. Он цыкнул на мальчишку, отпиравшего двери, а Александру Сергеевичу весело, без угодливости, однако, сказал:

— Вы уж на мальца, Христа ради, не гневайтесь — несмышленыш!

Пушкин привычно сбросил ему на руки тяжелый плащ и, спросив чаю с ромом, пошел к свободному столику.

Посетителей в эту пору было уже мало. В самом темном углу сидело, шепотом переругиваясь, несколько извозчиков; рядом с ними какой-то молодец сладко спал, подложив под шеку, для уюта, войлочную шляпу. Под неимоверно чадившею плошкою жалась к стене простоволосая девица в потертом, несомненно с чужого плеча, бархатном платье и отороченной шелком душегрее. Напротив нее, словно исполняя тяжелую повинность, тянул с блюдечка чай нестарый еще детина в горохового цвета шинельке, потный и красивый. Странным Александру Сергеевичу показалось то, что ладони у детины перемазаны чернилом.

"Уж не сочинитель ли?" — усмехнулся он сам себе.

Чай, принесенный проворным мальчишкою, оказался на диво густым и душистым. Пушкин капнул в стакан на полпальца рому и, в блаженной истоме, закрыв глаза, стал медленно тянуть в себя пряную щекочущую жидкость. Сквозь веки видел он нежное и розовое, душа его притихла, казалось, мягко свернулась клубочком. В паршивом трактиришке, где-то на окраине Москвы, чувствовал он себя недосягаемым, как на корабле. Город и знакомые! Невеста, в конце концов! Отлежали нынче от Александра Сергеевича далее, чем Америка. Он думал,

что ни с кем более не знаком, ни с кем не связан дружбою, делами, любовью...

Меж тем, детина в гороховой шинельке, отставив надоевший ему чай и, искоса поглядывая на придремавшего будто барина, ловко ахнул на стол большую лубяную коробку. К углам ее, обращенным к стойке, он приладил легкую складную рамку и шустро натянул на нее ветхий ситцевый полог. Получилась крохотная сцена, за которою, однако, детина ухитрился не только сам спрятаться, но и спутницу свою скрыть.

Посетители трактира зашевелились; помирившись уже видимо, вылезли из темного своего угла извозчики; стали, рты распахнув, половые-мальчишки; слышно было, как посапывает за стойкой хозяин.

Ситец поколебался минуту и со скрипом разъехался, открыв зрителям тугого тряпичного карлу с громадным сизым носом. Надменно выпятив брюхо, карла огляделся по сторонам и зарокотол глухим утробным басом:

Честные господа!
Пожалуйте сюда!
Коли кто не боится
Глядеть, как буду биться
Я с мертвой головой!
Вали сюда, не стой!

Извозчики густо захихикали. Пушкин встряхнулся; поначалу было захлопал глазами, но быстро войдя в толк, освоился и захохотал. Карла грозно глянул на него:

Извольте не смеяться!
Меня тут все боятся!

— Ну, не буду! — громко пообещал Александр Сергеевич, на что карла женским голосом сказал: — Мерси, сударь!

Все схватились за бока. "Во, дает!" — как зачарованный, произнес доселе мирно спавший на своей шапке молодец.

Александр Сергеевич даже смутился несколько. "Черт знает что! — подумал он, — Уж не Руслан ли это?!"

А в правом углу сцены уже торчала лопоухая щекастая голова в блестящем колпаке; усы у ней шевелились. "Мне сладко спать!" —запищала она, когда под дружный смех зрителей,

зажав в ватных ручонках своих обыкновенную столовую вилку, двинулся к ней давешний карла. Вдруг, не выпуская вилки, он схватился за голову:

"А где ж мой конь?" За кулисою кто-то заржал, и перед карлою появился, будто из-под земли, трехногий конек с длинным мочальным хвостом. Карла немедля ухватил его за хвост и начал осторожно подталкивать на безмятежно посапывающую голову. Та, казалось, ничего не замечая, спала. Карла изловчился и ткнул ее вилкой в нос. Голова сморщилась. "*Я* дюже крепкий малый!" — по-бабьи взвизгнула она и, подпрыгнув, чихнула. Конек тотчас же упал и повалил собою карлу. Освободившись, карла возвел очи горе и завопил:

О, ты, любезная Людмила!
О, ты, котору так немило
Судьба отъяла у меня,
Приди помочь поднять коня!

Видно было, как по ниточке сверху, скользнула дебелая девица в голубом сарафане. На плече у ней сидел крохотный старикашка с длинной черной бородой. Легко, одной рукой, девица поставила на ноги конька. В ответ тот радостно заржал: "Мерси, мамзель!" Галантно расшаркавшись перед своей возлюбленной, карла разогнался и, что было силы, ткнул голову вилкой. Что-то громко хлопнуло в воздухе и голова опала. Из-под колпака показался столовый же нож с костяной рукояткой. Карла отбросил в сторону вилку, схватил нож и обернулся к Людмиле. Старикашка на ее плече завизжал и исчез. Карла повернулся к зрителям:

Я самым смелым нынче был! — закричал он, потрясая ножом, —
Свою любезную отбил!
Теперя с женою и мечом
Мне все на свете нипочем!

Людмила нежно прильнула к его колыхающемуся от счастья брюху. Занавес содвинулся.

Неловкой рукой Пушкин налил себе остывшего чаю. "Ну, что ж — этого и должно было ожидать, — думал он почти с ненавистью глядя в разгоряченные лица давешних зрителей. —

Чего с этих-то взять, ежели сам государь-батюшка из двух слов только третье разумеет! Вишь, "Бориса Годунова ему переделай в роман наподобие Вальтер Скотта! В докладную записку, черт подери!" Озлившись, Александр Сергеевич сам не заметил, как смахнул со стола чайный стакан.

— Барину не понравилось? — откуда-то сверху спросил его женский голос.

— Что? — вскинул он глаза. Перед ним стояла подруга кукольника с цилиндром в руках, позвякивала на донышке цилиндра медь. Пушкин развеселился:

— Вот это мило! — сказал он, доставая скомканную ассигнацию. — А я полагал, что такую шляпу только бумагою можно набивать, иначе форму потеряет.

Комедиантка грустно улыбнулась:

— Это уж, как Бог даст!

— Ну, я не Бог... А впрочем... — Александр Сергеевич тонко глянул на нее. Девушка была даже не дурна. По-детски пухлые губки, чуть подпорченное румянами личико, круглое и доброе, в глазах — зелень весеннего кленового листа... Отведя взор, Пушкин медленно произнес: — Когда-то я знавал Семенову и Сосницкую, Колосову и Истомину, а вот вас — Господь свидетель — чтой-то не припомню! Верно, не встречал?

— Верно! — просто согласилась девушка и, порозовев, присела: — Прасковья Федорова, дочь Мартынова.

Параша, стало?

— Коли вам угодно...

— Хм, ну, вот что, душа моя, скажи там своему малому... да, кто он тебе?

— Братик! — еще сильнее покраснела она.

"Шалишь, голубушка!" — мелькнуло ему, но Александр Сергеевич прервал сам себя: — Так вот, передай, — он попридержал на мгновение голос, — братику своему, чтоб он тройку немедля сыскал! Со мной поедете! Добро? он улыбнулся.

— Хорошо! — согласилась Параша. — А куда?

— Уж я знаю! Шампанское пьешь?

Параша неожиданно ярко и легко улыбнулась:

— Ага!

— Ну, то-то!

Тройка сыскалась мигом. Наскучив спертым трактирным духом, Пушкин вышел первым. Следом за ним, оставив Парашу смотреть немудрящее их добро, тотчас же скользнул "братик". На крыльце он робко тронул Александра Сергеевича за рукав.

— Тебе чего?

— Барин! — Здоровенный малый вдруг неуклюже бухнулся на колени. — Христом-Богом прошу вас, не трожьте дите! Неразумная она, барин! Ее ведь пряником подманить можно! Я, — в голосе его звякнула слеза, — единственно лишь на сердце ваше надеюсь! Барин!

— Нету у меня здесь сердца, любезный, я с ним по трактирам не хожу! — будто уронил что-то, сказал Александр Сергеевич. — А ну, дай пройти!

— Э-э-эх, барин...

... Поместился "братик" на облучке. Парашу Александр Сергеевич ловко подсадил в возок, уселся сам рядом, кучеру весело крикнул:

— К "Яру" гони!

Понеслась тройка.

10

Ни разномастная суета и пленительность цыганского хора, ни заздравные оклики знакомцев, ни отливающее горячечным потом — желтое на зеленом — золото на столах у картежников, — ничто не влекло в эту ночь Александра Сергеевича. Едва взойдя в залу, подозвал он распорядителя и приказал подать ужин в отдельный кабинет. "— А этого, — Пушкин указал на детину в шинельке, — сведите на кухню! Пущай ему там чаю подадут, али еще чего..."

— Ну, вот, душа моя, — почти дома! — Александр Сергеевич на пол сбросил надоевший плащ: — Позволь...

Но Параша уклонилась и оставила душегрею на плечах.

— Я страсть зазябнуть боюсь! — смешливо ответила она недоумевающему взгляду Пушкина.

Ну, хоть присядь!

— Ага!

Пока накрывали на стол, Александр Сергеевич отошел к окну, холодные пальцы свои на подоконник бросил, как на клавиатуру, — дрожь унялась. "Слава Богу!" — вслух произнес он и засмеялся. Сейчас ему ничего не хотелось. Все помыслы, желания исчезли, в награду оставив праздничный звонкий покой. На вершине этого настроения Пушкин чувствовал себя только поэтом. Как никогда раньше, он понимал в этот миг всю тщету и ненужность бумаги, перьев, слова, звука. "Все это до смешного неуклюже и напыщенно, — прикидывал он, — и делит, супротив воли, жизнь на действительность и вымысел. На деле же все вовсе не так, и есть лишь целое, единственное, одно, без границ! Дай Бог только почуять это, и уразуметь, что непотребно нам различать творения Господни от человеческих! — Улыбаясь, он горделиво огляделся: — Как, положим, здесь: диван — элегия в овидиевом вкусе, стол — ода в нашу честь, пуфики — триолеты, жардиньерки... о, черт возьми, в жардиньерках есть что-то от Парни!"

— Одни? — спросил он, наконец.

Параша приложила пальчик к губам: — Т-с-с-с! Вон голова в углу, — она едва удержалась, чтоб не прыснуть, — подслушивает!

Действительно, ни весть зачем поставленная за диван, аляповатая, медная с фаянсом, лампа, в неверном свете канделябров дрожала и поблескивала какою-то совершенно дикою массою.

— Вот мы ее ужо! — Пушкин на цыпочках подкрался к чудовищу, пнул его сапогом; жалобно крякнув, лампа развалилась.

Параша выбежала на середину комнаты, захлопала в ладоши, засмеялась: — Как славно!

Александр Сергеевич пустил пробку в потолок, налил два бокала:

— Твое здоровье!

Параша гибко, мизинчиком, царапнула сверкающий покров пены на шампанском: — Как фата! — выпила почти единым духом, поперхнулась, наморщила лобик, закашлялась...

— Шибко?

— Ага!

Пушкин взял ее влажную от вина руку, поцеловал.

Ой, нельзя!

Что так!

Я — крепостная! — поверх улыбки насупилась она.

— ?!

— Ага! — и не вынесла-таки мрачной своей мины — расхохоталась. — У самой себя в крепости!

— Ну, тогда у самой себя и на оброк просись!

...Позже она все лепетала что-то, как дитя, прятала в ладонях лицо, щипалась, заливалась беспричинным смехом, показывала, как пьяный француз спорит с немцем, выкрикивала куплеты...

— Сколько ж тебе лет? — нимало этим не заботясь, прервал ее Александр Сергеевич. Был он вне себя от счастья и лишь душную сладостную темноту комнаты ощущал.

— Два-на-десять! три-на-десять! пять-на-десять...

Она соскочила на пол.

Хочешь покажу, как ведмедь на барабане играет?

— Не знаю! — смеялся Пушкин.

— Смотри тогда! — прямо на наготу свою натянула она вывернутую мехом наружу душегрею и, разом отяжелев в плечах, преуморительно откидывая пятки, зашлепала к столу. Там она схватила ведерко из-под шампанского, куда-то в сыр вытряхнула из него лед и гулко заколотила в донышко, выкрикивая на голос ярмарочного зазывалы:

Мой любимый барабан
Нынче пьян, нынче пьян!

— Бр-р-р-р! ...Зябко, однако! — и, отшвырнув ведерко, — на диван: — Тебя как зовут-то? — но ответить не дала, а похвастала: — Меня сам князь Водолеев к себе звал! Говорит, — она забубнила в нос почти мужским голосом, — не токмо владычицею сердца моего будешь, но также и кухмистерской на паях с моим камердинером овладеешь... Это от того, что готовлю я страсть как вкусно!

— Нет такого князя! — припомнилось почему-то Александру Сергеевичу.

— Разве? Ну, и не надо — велика важность! А, знаешь? Подари мне... подари мне, — она по-турецки села в ногах у Пушкина, подняла личико к потолку: — Вот! Трубку с янта-а-а-

рным чубуком. Ладно?

— Зачем тебе?

Гибко, одним движением, она приникла к груди его: — Не знаю! Может, захочется... покурить...

11

Странно: в розовое откуда-то сверху начала просачиваться зелень. Стекала она медленно, пушистою едкою струйкой, потом пошла быстрее зачастила каплями: чак! чак! чак! "Зачем это?" — подумал он, но понять не сумел и проснулся. Со стола бежала прерывистая ниточка воды, била в с ночи на полу брошенное ведерко. "Ах, вон оно что!" Александр Сергеевич потянулся, огляделся и, как обухом по голове, вдруг понял: пусто! В давно уже освещенной дневным светом комнате, ему показалось, что он ослеп. Неуверенно, чуть не падая на пол, он стал шарить вкруг себя. — Никого!

— Не может быть! — он не слышал своего голоса. — Нет! Ты здесь! А? Параша!

— Ага!

— Здесь?!

— Я спряталась!

Как был, нагишом, Пушкин соскочил с дивана и оцепенел, не соображая, где же искать. "Я — здесь! — шевелились раздвинутые шторы; Я — здесь! — поблескивала развороченными частями своими циклопическая лампа в углу. Я — тут! — кричала скатерть на столе, жеманно приспустив до земли витые кисти...

— Ах, ты черт...

С новенького "вольтеровского" кресла у камина поднялась ему навстречу невообразимая куча тряпья: жилетка — поверх любимого черного сюртука; в жгут перекрученная душегрея — заместо юбки; на плечах — плащом, полузабытое уже Александром Сергеевичем, бархатное платье...

— Задушу!

— Ага!

...Завтракать сели они в обеденное время.

— А, знаешь, душа моя, поедем-ка мы ко мне. Чтой-то эта

кабацкая благодать стала надоедать!

Параша глаз не сводила с окна.

— Ты что?

— Жалко! Я чаяла, солнышко будет, — ан, уж и стемнело!

— Господь с тобой! — Пушкин отвернулся: перехватило горло.

В экипаже Параша и вовсе присмирела, все жалась в угол, чертила пальчиком на плече Александра Сергеевича.

— Боюсь я, — шептала она, будто сама себе, — страшно мне, коли вот, как нынче: ждешь чего-то, ждешь, — да и мимо. Или еще: выходишь со свету — темно! Намедни из номеров шла, я — в дверь, а солнце по глазам! Я, значит, ногу на порог — и обземь! Спасибо братик...

— Да, а где он? Я о нем и запамятовал!

Голос ее дрогнул: — Не знаю!

Из-за навалившего за ночь и за день и еще неубранного снега, подвернуть к самому подъезду гостиницы извозчик не сумел. Пушкин, чертыхнувшись, расплатился, помог сойти Параше. Та, сильно зазябнув, поблескивала только глазами да шмыгала носом. Смеркалось.

— Потерпи маленько, душа моя, — попросил Александр Сергеевич, поплотнее запахивая плащ. — Вон дверь-то!

Тут с противоположной стороны улицы, — махом через сугробы, — метнулась к ним длинная тень в распахнутой шинельке:

— Ну, барин, теперича молись — убью!

Взвизгнув, Параша отпрыгнула в сторону и, завязнув в снегу, упала. Пушкин пригнулся и, еще не ослепленный яростью, а скорее удивленный, успел вспомнить давешний, казалось совсем близкий, вечер и Парашиного "братика" перед собой на коленях... Цилиндр полетел в снег. Не рассчитав своего удара, детина проскочил вперед. Александр Сергеевич коротко — лишь повел плечом — скинул плащ и, когда тот развернулся, встретил его — так некогда в Одессе бил Николя Раевский — ударом обеих рук разом: правой — по подбородку, левой — в живот. В детине что-то екнуло: он переломился пополам и осел. И тут почти такое же розовое, как намедни, просыпаясь, видел он, застило Пушкину глаза. Он не помнил, как кошкою к нему на

грудь прыгнула Параша, как с криками подбежали какие-то мужики, как глухо бил по снегу сапогами, пытаясь встать, упавший. Вырвав из-под жилета пистолет, Александр Сергеевич несколько раз ударил им "братика" по голове, а потом, за грудки подняв совершенно уже обмякшее тело, изо всей силы хватил им о фонарный столб; посыпались сверху стекла...

— Александр Сергеевич! Александр Сергеевич!

— Пустите меня! — Выкручивал он руки подоспевшим из гостиницы офицерам. — Убью каналью! Убью сукина сына! Ты! — он вдруг заметил Парашу, отиравшую душегреей своей разбитое лицо "братика" — Ты? Не смей! Не подходи! — и обмяк, в выкатившихся глазах зажглась боль. — Господа, где мой цилиндр? — тихо спросил он. — Благодарю вас... Простите великодушно... Я... Я... Да! Пустите же меня, черт вас возьми! Параша, родная моя! — Он опустился на колени, схватил ее за руку...

— Не хочу! Не смей! — с неожиданной силой вырвалась та. — Злодей! Злодей! — призрачным, каким-то рвущимся голоском выкрикивала она: — Глаза б мои на тебя не глядели, мазурик! Ты все у него хотел забрать, все! А я... О! О! О! — подавившись слезами она легко, будто распахнула, в клочья разнесла на груди ветхий бархат и, гологрудая, простоволосая, насмерть коченеющими пальцами впилась в высокий воротник пушкинского сюртука: — Вот, она я! Жри! Подавись!

— Параша, Параша, милая моя, постой, погоди, — не помня себя, чувствуя только ее обжигающее дыхание, торопился Пушкин. — Пойми ты, я же не хотел! Не хотел! ну, вздор это! Я... Я... Ну, Параша! Родная, смотри! Я тоже... могу, — он наотмашь хватил себя в лоб кулаком. — Видишь — кровь!

— Нет! Нет! — с упоением выкрикивала она. — Ничего мне не надо! Все ты врешь! Это его кровь! Его, лиходей! Его! Пусти меня, идол проклятый! Бусурман! — на губах ее появилась пена, глаза закатились... Какой-то офицер бросил в лицо ей горсть снегу. — А? — словно просыпаясь, спросила она и, увидев над собой белое, как платок, лицо Пушкина улыбнулась: — Ты тут, косатушко мой! Черненький! — она обняла его за плечи. — Ой! Зябко мне, зябко! Закрой меня скорей, закрой... Не так... собой... Черненький... Как звать-то запамятовала! Глупа я... я... — почти

прошептала она и потеряла сознание.

— Господа, я всенепременнейше прошу оставить нас! Это ни до кого не касается! — Кивнул Александр Сергеевич в сторону и, подхватив Парашу на руки, понес ее в гостиницу. Следом за ними поскакал половой с плащом и цилиндром. В номере Александр Сергеевич бережно уложил Парашу на неразобранную постель, укрыл пледом... В дверь постучали.

— Да!

Позволите-с? — на пороге стоял квартальный.

— Чему обязан?

— Я, собственно, едино из искреннего желания вникнуть осмелился обеспокоить вас. Так как, натурально, в приключившемся потерпевшей стороной являетесь вы-с...

— Я?.. Ах, да! Это вы, верно, насчет того малого?

— Должен-с заметить...

— Не к чему! Отпустите его с глаз долой — да и весь сказ! Он свое получил!

— А вот я бы на вашем-с месте! — квартальный поднял шишковатый кулак. — Э-э-эх!

— Будьте любезны выйти, милостивый государь мой, и передайте там внизу, чтоб воды мне сюда принесли, холодной! Мерзавец!

— Все ругаешься? — до носу укутавшись пледом Параша уже сидела по-турецки на постели.

— Ах, душа моя, сил у меня нет на эти русские власти! Непременно у нас блюстителем либо подлец, либо — что уж совсем беспросветно — дурак... Да ты лежи, лежи! Ну-ка, живо! Ишь, резвушка!

— Ага! Ты-то целый?

— Как новенький! — Пушкин подошел к ней, полулег рядом, положил голову ей на колени: — Прости меня! Сорвался я! Право, ничего не помню!

— Ага, и я не помню!.. А он... он где? — вдруг забеспокоилась Параша, хотела встать и не смогла.

— Лежи, лежи! Я велел отпустить его!

— Славно как! Только ты уж теперь никуда не уходи! Останься со мной, хорошо? — она, сжав его руку, расплакалась, — я, одна я виноватая! Ведь и не ведаешь ты, он для меня — все!

Он меня вот такой взял, из Калуги, я там слепенькую Христа ради водила... Кормил меня... в куклы свои проклятые играть выучил... Чуешь? — она улыбнулась мокрыми глазами. — Я все отлынивала... сбегала даже! Сбегу — он разыщет, я опять в бега — он сызнова за мной... Разов с десяток так было... Потом устала — некуда бежать! Да, читать меня выучил по псалтырю... стишкам всяким там... А вскорости и снасильничал! Давай, говорит, покажу, как аист детей носит, туда да обратно, туда да обратно! Ха, а я это все уже и без него знала! Велика наука! Да ты не слушай, коли не по нраву! Только все едино — любопытно! Ведь так? Ха, да ты не мни себе, чего зря, — он не худой! Он мне все простит, точно говорю! Только... только такое, как нынче впервой со мной! Ты не русский? Нет? А то я русских не люблю, страсть! То бьют, то плачутся! Он не такой! Он не русский! Может, из жидов даже! Ага! А я у него одна, больше у его нигде никого нет! Вот крест! — гордо, нараспев произнесла она и засмеялась: — А ты... ой, не могу, моченьки нет! На кружку блаженненького позарился, голого раздеть захотел... Барин!

— Замолчи!

— Не кричи ужо! Пужанная! — она огляделась. — О, как ненавижу я его! Кажись убила бы! Зимой-то по трактирам вечера долгие-долгие, вот сижу я себе за чаем, а сама так и грежу, все мнится мне: ножом бы тебя, черта зеленого, чтоб в руках мокро стало... Ой, чигой-то я? Где я! Где? Черненький мой, воды дай, водицы из ковшика... холодненькой... водички...

— А, черт, так и не принес никто!

Александр Сергеевич выскочил в коридор — никого, бегом спустился вниз — пусто! "Ах, ты, мать честная, прямо как вымерло все!" Он сам первой попавшейся посудиной зачерпнул водицы — и к себе. И едва поднявшись по лестнице, онемел: дверь его номера стояла настежь, заглядывая через порог ползли по полу какие-то бумаги... Пушкин вошел в комнату. На постели — скомканный плед, окно — открыто. Александр Сергеевич бережно поставил на стол воду, медленно подошел к окну, далеко вперед вывалился на подоконник. С невысокого второго этажа видна была ему в снегу и сумерках опустевшая вечерняя улица, изредка свежо поскрипывали подрезами торопливые сани,

еще реже мелькали прохожие...” — Параша! — шепотом попросил он и приложил палец к губам. И лишь в треске затворяемого окна — или это только почудилось ему — услышал он, как выдохнул кто-то: — Ага!

Не раздеваясь Пушкин лег на постель; слезы душили его.

12

Лишь под утро, когда густеть начало дряблое московское небо, приснился Александру Сергеевичу сквозь слезы, как сквозь облака, далекий маленький человечек. Лежал этот человечек на боку, подтянув колени к подбородку, был кудряв без меры, смугл и толстогуб. Показался он Пушкину немного знакомым, но сквозь слезы свои никак Александр Сергеевич понять не мог, отчего же плачет столь горько далекий тот человечек.

Так, не поняв, и проснулся он; и в сердце своем запер далекого ночного страдальца; и не сказал о нем никому ни слова; и даже стихом его никогда не коснулся.

13

...И с того дня не мог Александр Сергеевич ни ждать: сызмальства чудилось ему рождество мохнатым и белым, а тут... прямо руки опускаются! Каждый божий день восходит над Москвой тяжелое вишневое солнце, и студеным декабрьским огнем полыхает в нем первопрестольная, течет с куполов церквей луковичная позолота, засыпана Тверская острыми обломками частых звонких бликов, словно из серебра откованная стоит Большая Никитская, и бьют в набат ее сугробы и от шороха, и от шага, — и так просто, — от вздоха! Мочи нет!

Среди знакомцев своих, занятых в бестолковые эти дни составлением меню, поисками музыкантов, закупками вин да конфет, подарками, перезакладами на растущие расходы недвижимости, туалетами, Александр Сергеевич чувствовал себя праздным, и сердце его не прощало ему этого. Со злою радостью наблюдало оно, как равнодушно отбирал Пушкин бирюзу для Таши, и, казалось, советовало: ”Да хоть булыжников в коробке пошли, — мне без разницы!” Александр Сергеевич злился ужасно, но ничего поделать с собою не умел. ”Надобно подождать, — твер-

дил он про себя. Подождать!" "Чего ждать-то?" — спрашивали его иногда, словно о чем-то догадываясь, друзья. Пушкин тогда с живейшим участием принимал сторону вопрошающего, смеялся, размахивал руками... но не больше: крохотное словечко "не знаю" не шло с языка.

Однажды, когда был он в театре с Ташею и Наталией Ивановной, попритчилась ему Параша. Давали какую-то дребедень в тот вечер. Долго по сцене слонялся гемороидального вида король в коротеньких кожаных штанишках и дешевом камзоле. Вокруг него извивалась никому не нужная интрига. К третьему акту, дабы восторжествовала наконец-то добродетель, поперли из-за кулис гвардейцы. Король разразился неуклюжим наставительным стишком. Один из гвардейцев — слишком он был для юноши томен и хрупок — ухмыльнулся. Товарищ потихоньку ткнул его деревянной шпагой. "Ага!" — на весь театр отвечал провинившийся. Александр Сергеевич поднялся и, не сказав ни слова, вышел из ложи вон.

Проще жить ему стало после этого. Ожидание неизвестности оставило его. Теперь он знал одно только — свадьба. Семейная жизнь рисовалась ему в воображении чем-то всеобъемлющим и вечным. Он ждал ее, как ждут всенощной, незыблемо и беспрекословно. Вот отгорят свое оплывающие свечи, вот жарко истово отмолится, волнуемая пением певчих, слоистым духом ладана, пронзительными ликами угодников и заступников на иконостасе, толпа, — все повалят вон к скоромному, к жизни, — и только тогда в опустевшем храме можно будет подняться с колен, вздохнуть и начать жить, отгородясь от мира, от его сермяжной и венценосной власти, настроением прошедшего праздника, утаив его лишь для себя, да для жены, да для детей... "Твоя от твоих, к тебе приносяще, от всех и за вся".

Наталия Ивановна, видимо, заведомо не спросясь у Таши, звала Пушкина на Новый год к себе. "Нет, рано еще!" — чуть было не сказал прямо в ее такие смиренные, такие радушные глаза Александр Сергеевич и, сославшись на нездоровье, откланялся.

Новый же 1831 год неожиданно для себя самого решил он встречать у Нащокина. Добрейший Павел Воинович ради такого случая постарался отменно. Холостяцкого пошиба квартирка его

и без того всегда бесшабашная с утра тридцать первого и вовсе стала походить на трактир. В гостиной, в столовой, в диванной, в буфетной и даже в спальне громоздились застеленные столы, сновала наемная прислуга, гул стоял и топот, актеры ссорились с гусарами, низко, альтом, взвизгивали, впрочем, ко всему безразличные цыганки, томно, по-французски почти, ахали юные чиновники. Плавали из комнаты в комнату густые полосы трубного дыма, кой-где уже откупоривались бутылки. Пушкину от заботы вездесущей и внимания было неловко. Любое желание его предупреждалось, а не удовлетворялось; места уступались ему, как по сговору, непременно самые лучшие, однако куда бы он ни сел, — приходилось тесниться, на любой взгляд тотчас же загоралось несколько пар восторженных глаз, улыбка мгновенно превращалась в дружный, со всех сторон, хохот, слово — едва ли не в пословицу... Александр Сергеевич все старался залезть куда-нибудь в угол, когда кто-то предложил пить его здоровье. Захлопали пробки, зашипело шампанское...

— Господа! — Пушкин понял, что отнекиваться бесполезно и встал. — Други мои! По сердцу говоря, я бы погодил пускать в тост это самое здоровье мое...

— Пьем! Пьем! — не расслышали вокруг.

— Не веришь что ли? — забеспокоился обок с ним стоявший Нащокин.

— В здоровье? — Александр Сергеевич прищурился на бокал. — Отчего же? — в здоровье верю. А вот, что м о е оно, Бог весть!

— Постой, постой! Ты что-то не то!

— Аааа! — Пушкин вяло отмахнулся. — Пей лучше... Нешто не знаешь, — все под Богом ходим!

"Стареть я, наверное, начал!" думал Александр Сергеевич, осторожно глотая колкое вино. Он никак в толк взять не мог, почему праздник этот называют встречей Нового года. "Чего нового-то, окромя жилетов! Даже на портки не всем новизны хватило, задери их черт!" Он отошел в сторону, за цыган, беспечно ладивших свои гитары и скрипки, и закрыл глаза. "Не чаю я ничего, — успокаивал он себя. — Все мне известно, все!" Ему показалось, что с последним словом Таша где-то далеко улыбнулась. "Косенькая моя! Радость!"

14

После крещенских морозов обмякла первопрестольная; повалил с неба серый снег, подул с запада серый ветер — превратилась Москва из белокаменной в серокаменную.

Как и всегда в такие дни Адександру Сергеевичу немоглось; хворь не хворь, а будто холодной смолы в жилы налили — почесаться и то лень! Он почти не выходил из своего номера; часами, лежа на диване, листал новенькие волюмы "Годунова" да чистил трубки, — не писалось.

В воскресенье ополудни принес к нему половой почту.

— Добро, положи на стол, — Пушкин потянулся за халатом. Вскрывая сей серенький же конверт оцарапался он. "А, черт!" С досады криво рванул облатку, с треском выворотил на себя тугой бумажный лист, разом, обеими глазами, как на весу держа, объял черный столбец почерка. Так... так... в славном граде Петровом... на тридцать третьем году жизни... преставился... преставился? Ан... Антон Антонович Дельвиг! Более поэт, нежели барон... человек нездешнего юного сердца и... близоруких кротких глаз! Прочел и, кажется, в первую минуту не сообразил даже что к чему, — улыбнулся. Иное совсем мысленно привиделось ему: тяжелый в движениях Антоныч осторожненько пробирается сквозь клубы банного пара, у груди, ровно дитя, шайка, приборматывает чегой-то...

— Что? — вслух переспросил Александр Сергеевич, хотя был он в номере своем один-одинешенек. По какому-то пережитому или, может, только виденному впечатлению хотел добавить еще чуть ли не криком: "Да, быть того не может! Не верю!" — но, как острый, горло режущий ком, проглотил пустые слова эти и сел. "А, может, сразу, как Дельвиг, лечь навзничь, закрыть глаза и... Что "и"? — блестящая, как иголка скользнула мысль; он поморщился, снова схватил письмо. — Ну да, так и писано, ровно все дураки, али бабы: гнилою горячкою! Опочил... Ах, милый мой... милый... милый! Что же так-то, а? Разве сильнее тебя она, эта горячка? А-а-а! Причем тут горячка?! Не в горячке дело... Вздор это! Ты жил, бедный мой барон, жил — оттого и помер... От жизни! Все от нее мрут! Это уж потом лекари разбираются, где колера морбус, а где запор... Боже, как

неколебима, однако, твоя подлунная: хошь не хошь — живи, хошь не хошь — помирай! Не партикулярен ты нисколько, творец небесный! Ать-два — жил-помер, ать-два — жил-помер!... Нет, все равно не страшно, даже нынче в преддверии... А бывало... Помнишь, Дельвиг, в лицее еще, первой-то зимой, как завидывал ты мне, что я младше тебя годом. Ты считал тогда, что такою же мерою я тебя и переживу! Помнишь?.. А, может?.. Нет, вздор, пустое! Я долго еще буду жить! Слышишь, милый мой, долго! Ничего, ничего поскучай там... ну, хоть ради меня... и прошу! Подожди, слышишь, подожди! Вас там много, есть с кем и покалякать и поплакать! Нас здесь, куда как меньше! И в меньшинстве этом мы по большинству — все сволочь! Так что ты не торопи меня, Бога для! Ну что тебе, право, стоит? Я не на год тебя переживу... Добро? Молчишь? Не хочешь? — Он осторожно, точно висело что-то хрупкое на ресницах, моргнул. — Милый мой, я так и не знаю, что хуже: провожать али уезжать... Останешься — тоска тебя гложет, сам уедешь — тож все пусто! Где, где он дом наш?.. И я не ведаю... Так просто и непреложно все, что не ведаю! И не подскажет никто! Тебя вот, толстяка, уж и нет! Кончился! Ничто — ты! Нигде тебя нет! Будто и не родился никогда! Понимаешь? От камня и то по воде круги пойдут, всхлип хоть будет! А от тебя али меня — ничего... Думаешь, стихи там, песни останутся? Ну добро, коли так, добро! Только нам-то что с того? А? Все, что писано тобой, мной настолько наше, что уж и самостоятельное хождение может иметь, совсем, как побирушки! Понимаешь? Стихи — дети наши! Нам в них жизни нет! Коли, положим, сын твой где-нито под весну — так, на траве прямо, — девку обрюхатит, ты почуешь это? А? Ток свежей крови его согреет тебя? А?.. Нет, нет и нет? Ну, вот теперь и на стихи свои также глянь! — Они и без тебя проживут! То что ты помер их и не коснется! Им, проклятым, еще слаже, наверное, станет... А ты?.. А я? Эх, Дельвиг, Дельвиг! Почитай, уж тридцать годов, как я по земле маюсь, а никогда, ни на волос не почуял в себе ничего чужого, чтобы право мне давало на переселение душ надеяться! Все мое! До кровиночки! До запятой! А раз мое, стало, и потеряю я его безвозвратно... Владеть ведь только чужим можно! Уж я знаю! Куда ни кинь — все на том стоит, тем живет... Только тебя вот

нету! Не дал мне Господь при жизни с тобой об этом подумать! Вот и замкнул ты слух свой — не от меня одного — от всех, добрый мой Дельвиг! Ушел для поминок, для памяти! А я, почитай, один остаюсь... ровно в ссылке! Вот: юн был — в одиночке держали, постарел — в одиночество заключают... Куда как славно! Из двух слов только нынче и живут: может быть! Они точно для меня придуманы! Пишу что-либо — может быть.. женюсь — может быть... помереть захочется, тоже — может быть! А? А, Дельвиг? Нет, не хандрю я! Ты это напрасно! Та-а-ак... чувствуя сквозняк, Александр Сергеевич неуютно подобрал под себя ноги, сел в кресло по-турецки. — Так я... Холодно мне, брат, зябко, а я жить хочу, собираюсь, во всяком случае! А? Может быть, думаешь? А? Может быть? Ты слышишь меня? Слышишь? Молчишь! Ну, добро, я привык, я и молчание, хоть и не люблю, а понимаю... Однако ж, как мала эта проклятая гостиничная клетка! Дышать и то тесно! От стены до стены — полвздоха!.. Эй, кто-нибудь там, свечей, свечей!"

15

Ни одного движения своего Павел Воинович Нашокин ухитрялся не доводить до конца! Приготовит, положим, руку волосы на затылке огладить, пальцы растопырит, ладонь на себя выворотит, понесет кисть к плечу, даже шевельнет ею, даже головой, предчувствуя прикосновение, поведет... да и позабудет! Скользнет на губы его круглая уютная улыбка, расплывется по словам, по щекам; засеменит Павел Воинович коротенькими шажками своими от стола к пианино, затеет показывать гамбургские ("Уверяю вас, все выиграть могут-с!) карты; учнет насмешничать и потчевать разносолами... да вдруг и остановится на месте как вкопанный, хлопнет себя в лоб той самой рукой, с помощью которой так долго готовился почесаться, расхохочется, спросит у каждого, кто рядом окажется: "А что, брат! Видал!", поплотней засунет напроказивший кулак в карман; уж другой рукой, свежей, нацелится на тугой, ровно маслом смазанный грибок, и — глядишь — через секунду-другую тащит ко рту нивесть откуда взявшийся биллиардный шар; тащит и недоумевает; недоумевает, но тащит... Непременно был бы потешен Павел Воинович этими

привычками своими для всех, кабы не грели всегда лицо его сизые глаза, посаженные неловко и открыто. Он, казалось, одними ими и жил!

...Пушкина Павел Воинович углядел еще из сеней через буфетную. На мгновение он застыл, потерялся, но шустро пришел в себя, ухватил со стола графин с водою, подержал его на отлете, выворотил себе под ноги, кликнул слугу, наверное, затем только, чтоб тотчас же и опередить его, расхохотался и, наконец, довольный донельзя, с головою пропал в кудрявом воротнике необъятной пушкинской шубы, — сник.

Как ни привык к другу своему Александр Сергеевич, а так и опешил малость. "Ну же, ну же! — бормотал он, пытаясь повести руками. — Паня, голубчик!.. Постой, Бога ради! Полно!.. Еремка, сыми с меня барина... и шубу... Фу-у-у..."

Вислоухий увалень Еремка, малый молодой, но толстый, только мычал чего-то, не зная, с какой стороны подойти.

— Сашура! Я... — Павел Воинович, едва с ног не опрокинув Еремку, пустился в буфетную. — Я, — кричал он оттуда, невидимый, — знал! Все доподлинно знал... Чуял еще с утречка! Сашура, смотри-кось! А?

— Да я через стену-то видеть не умею! — уже разоблачившись, смеялся в ответ ему Пушкин. — Право слово!

— А, нашел незадачу! Вот! — с грохотом откуда-то из стены выволок Павел Воинович на подносе горку отборных, будто выточенных яблок. — Моченые, Сашура... Антоновка! — Если бы не случайно к месту пришедшийся Еремка, Нащокин непременно обронил бы их. — Насилу достал у одной хрычевки! Пальчики оближешь!

— Да, изрядно! — Пушкин гибко минул склизкое пятно на полу, ненароком будто, — но самое ядреное, — взял яблоко и — на лежанку; сел подтянул под себя ноги в мягких домашних сапогах, хрустнул:

— Один?

Павел Воинович только рукой махнул: — И не спрашивай!

Потемнел лицом, опустился в кресло. — Кабы женат был, —через паузу вымолвил он, — ну, тогда — и ладно, а то... Одним словом, ни Богу свечка, ни черту кочерга! Вот ты, плут, — он, как намедни, светло улыбнулся, — все черкешенок поешь,

посмотри, хоть на меня! Это ж не баба, а аспид!

— Любил ведь!

— А кто ж их не любит? Для того и сделаны! Но, к черту это! Ты-то как?

Сам знаешь — женюсь!

Хочется? — прикрыл Нашокин один глаз рукою.

... и надобно!

Так уже похуже! Неладное что-либо чуешь?

— Нет, — тихо сказал Александр Сергеевич. Осторожненько сложил в ладонь яблочные семячки, прикрыл их другой ладонью, потряс ими над ухом. — Слышишь?

Павел Воинович расхохотался.

— И я — нет! А ты спрашиваешь: предчувствия? Они тогда лишь говорят, когда решенье далеко... А так... Что ж! Пожил я немало, всякого навидался... Потому и толкую: надобно! Надоело мне все по чужим клеткам маяться, в свою захотелось! И такую хочу смастерить, чтоб уж ни гу-гу! Каждый запор самолично выверю!

— Ой ли?

Точно, точно! Приелись чужие тенета! Довольно! Из себя строить буду! Вот, — из костей, из жил! Намертво! Чтоб уж и ломать нечем было! Знаешь, я последние годы все от одного не мог отделаться: будто не живу вовсе, а за подсадною уткой гоняюсь! Понимаешь: вот — рядом, вот — близко, у носа почти, хвать — ан, и пусто, хвать — ан, и самому по сусалам! Господи! Ну, обиды, самолюбие уязвленное — вздор! Это перемочь, проглотить всегда можно! Другое сердце ест — уходит все! Не жизнь даже, не стихи, — нет, иное что-то! Уходит, как песок меж пальцев, и все тут! Не ловец, видимо, Александр Сергеевич, не добытчик! Ну и женюсь вот! Оттого же наверное! Чтоб хоть что-нибудь да удержать...

— Не завидую я тебе!

— Я сам себе не завидую! Оно и правда — сердце, как застуженное колено ломит, — боюсь!

Может... может, бросить тогда?

— Бросал уж! Не бросается!

— Стало-таки, любишь?

Пушкин принагнулся с лежанки, сделал Павлу Воиновичу

"буку": — А кто ж их не любит? — по-нашокински присапывая спросил он. — Для того и сделаны!

Павел Воинович прытко дернулся ответить ему тем же, да вдруг осекся, руки повисли в воздухе, попросил тихо: — Оставь, Сашура! Не красная я девица, — я тебя и так вижу!

— И то... — Александр Сергеевич низко опустил голову. — Старею я, брат... — он резко отпрянул в сторону побелевшим лицом, глаза сузились: — Дельвига намедни видел...

У Нашокина дрогнули губы.

...звал меня!

А ты?

Я?.. проснулся...

Ничего... не сказал...

Неет, а что?

Ну, слава Богу! А то поверье есть такое, коли покойник приснится и звать тебя учнет, — не признавайся, молчи как не узнаешь, он и отстанет... ну, вроде, забудет!

Верно?

Еще бы, — выдохнул Павел Воинович.

Хорошо бы, а то я мнителен, что баба: ухвата боюсь!

Нну, страшней ухвата ничего нет! — улыбнуться попытался Нашокин.

— Как сказать! — Видно было, что Александру Сергеевичу до дрожи зябко, он подышал на пальцы, огляделся. — Только уж чересчур тихо кругом... да и во мне то ж! А в тиши, сам знаешь, черти водятся!

— Упыри и вурдалаки! Нежить всякая! Ах, ты старый хрен! — загорячился Павел Воинович, отдувая щечки. — Стихотвор, мать честная! Глас Божий! Тьфу! Вот сам-то раскинь мозгами, голова еловая! Приходит ко мне этакая образина, кровь с молоком, здоровенный, скажу я тебе, малый, жила на жиле, ну прямо не подобие Божие, а мебель какая-то, прости Господи! И начинает, помаленечку эдак, чтоб не вдруг в раж войти, а потянуть удовольствие: вот — покойник, вот, те голубчик, — черт, вот — еще пятое да десятое! Тьфу! Да, ты припомни, за что тебя Александр Лысый-то в Михайловское упек! Прямо, ума не приложу! Сам ты, батенька, черт! Самый что ни есть натуральный! И не говори мне ничего, и слушать не хочу, — замахал он

руками на пушкинскую улыбку, — уж знаю я тебя немало! Все одно и то же! Ну, ровно дитя несмышленое! Глядеть досада берет... Оёёёй! Ой! Ёй! Ёй! Ёй, не боюсь! Ох, пусти, Бога для, ёй, не боюсь, не боюсь... щекотки! Ёёёёй! Уря! — Уже с пола докрикивал Нащокин, что есть силы отбрыкиваясь от наседавшего на него Александра Сергеевича. Пушкин же, хохоча во все горло, поддавал и поддавал жару: — А, вот! — неистовствовал он, — вот, сюда! Вот еще! Еще! Вот, узнаешь, как кузькину мать зовут! Вот! Вот!" "Ёёёй! Не могу! Ох, помираю! — вздрыгивал Павел Воинович ножками. — — Ох, батюшки-матушки! Ох, бес арапский душу вымает! Ой... Ёй! У-у-у!"

— Ольгушка! — вдруг всплыл над ними темный женский голос. — Ольгушка! Поди сюда, яхонтовая! Поди сюда, золотко мое ненаглядное! Посмотри, чего сокол твой, твой ясный вытворяет! Ольгушка!

Первым опамятовал Пушкин. "Таня! Танюша!" — бросился он на шею высокой, не старой еще, цыганке с длинными тонкими руками.

— Александр Сергеич! Миленькай ты мой! Вот, не признала! Опять, думаю, Павел Воинович с актеришками своими погаными дурака валяет! — говорила та, жарко целуя Пушкина в лоб и щеки. — Дай-кось гляну хоть, — она чуть отстранилась в сторону, сощурилась...

— Уж и милуетесь? — спросила на шум поспешившая, Ольга Андреевна, тоже цыганка, многолетняя спутница Нащокина, которую звал он обычно, как Бог на душу положит: то сударушкой, то наложницей, а то и вовсе неудобопроизносимо, — всякое бывало... — Быстрые вы мои!

— Исхудал-то как! — будто и не слышала ее Таня. — Точно листик осиновый! Бедненькай! Ссох весь! Прикипело, чай, сердечко!

— Ну, завели! — выкарабкался наконец из-под кресла Павел Воинович. — Кому что, — а курице просо!

— А уж и помолчал бы ты, жаланный мой, — обернулась к нему Таня и, всплеснув руками, расхохоталась. — Домовой! Ох, Бог ты мой, — лох! Нечистый! Ольгушка, сведи Павлушу нос утереть!

— Черти глазастые! — приводил себя в порядок Нашокин.

Все б вам петь да плясать, да зубы скалить...

Пушкин опять с ногами забрался на лежанку.

— "А и вправду, спела бы ты мне, Таня, — переиначил по-своему он причитания Павла Воиновича. — Давненько уж не слыхивал я вашей сестры!"

— А и где гитара? — как-то легко и грустно согласилась Таня. — Ольгушка, не в сказку, а в ласку, принеси.

— Они меня Сашура, и в грош не ставят! — не унимался Павел Воинович, меряя комнату коротенькими своими шажками. — Право, был бы пнем, так более б внимания уделяли! Соберутся вот, как нынче, вдвоем-втроем и пошло, и поехало: все ром да романи, пшавела — чавела! Тьфу!

— Не лайся, драгоценный мой! — скорее по привычке, чем по нужде прервала его Таня. Она покойно сидела в кресле у стола и в сухих, без блеску, глазах ее, как сквозь полночь рассвет, просвечивала бездонная желтая горечь. Казалось, там глубоко, на самом дне глазниц что-то тлеет. " Чего спеть-то?" — хрипло спросила она, беря медом отливающую гитару.

— Не знаю я, — пожал плечами Александр Сергеевич. Он еще улыбался, он еще тяжело дышал после возни с Нащокиным, после встречи с Танюшей, после того, как перевернуто было его изначальное настроение. — Ведь сама знаешь, — женюсь! Ну, вот к этому и спой... Не знаю... Хоть и "Малярку".

Нет, ясный мой, уж не "Малярку".

— Держись, Сашура, удерет она тебе сейчас штуку, — встрял Павел Воинович, про себя чему-то ухмыляясь и пока перестраивала Таня лады, пока журчали вразнобой струны, пока усыхала она медленно над расплавленным на ее коленях туловом гитары, по которому ходуном ходил свет близких свечей, — вовсю пустился поясить: едва ли не вприсядку прошелся вкруг лежанки, на руки подхватил тугую и тонкую Ольгу Андреевну, молодецки — в два пальца — свистнул. А уж и не слыхал его Александр Сергеевич, горячо стало ему, почуял он окрест себя тяжелый июльский вечер, насупленные багровые облака видел он вдалеке; теснили желанную дорогу купно растущие дубы; вязли ноги в густой, по щиколотку, пыли и никак было не дойти до — вот рукой подать — стоящей тройки; а кони гнули шеи, рвали удила... Ах, боже мой, зачем это женщина все

отговаривается, все по-детски так противится?.. Не мои это кони, не мои — нанятые, и сам я — сторонний! "Погодите, только погодите, Бога ради! — побелевшими губами просил Пушкин. — Вот припустит дождь... вот свежее станет... свободнее... вот..." И, кажется, первым понял, что точно: пошел дождь, что от напряжения видеть глаза заломило, что расплылась в кресле напротив Танюша с гитарой, что ничего не увидишь, коли застят взгляд твой слезы, а сердце — настежь...

— Спасибо! — вслух, кажется, сказал он.

Нащокин сидел на полу, уткнувшись лицом в колени Ольги Андреевны, плечи его были как-то ненатурально приподняты и скошены набок, из волос на затылке, блестели цыганские перстни: гладила его Ольгушка, все гладила, гладила...

— А я и сама это чуяла, ни к кому сказала Танюша. — Беру аккорд, а горло толчками так и перехватывает.. будто сердце бьется... ну, я на голос его, на голос... Вот и... Прости уж ты меня, Александр Сергеевич, не развеселила я тебя нынче! У самой лада нет!

Нет, постой, Сашура, постой! вскочил Павел Воинович, хотя молча, глядя прямо перед собой, сидел на лежанке Пушкин. — Постой, брат! А? Как она-то! Я, признаться, не ожидал! Ай да, Танька! Вот тебе и "чавела"! — он хлопал мокрыми красными глазами и беззащитно улыбался. Давненько меня так не забирало! Да, уж на что я любитель, а и то... Э-э-эх! Но сколько поэзии истинной в мелодии? А? Небось обратил внимание? Прямо так и хлещет из души, так и хлещет! Это, брат, скажу я тебе, уж и не песня! Это... это, как небо что ли, как дождь! Не от нас зависит! Скажи, Ольгушка! Ведь правда? Вот, где вашему брату-сочинителю можно в волю разойтись! Только пиши давай! Все, как на ладони, в натуральном виде и блещет, что твой самородок! А то ковыряют чего-то, ковыряют... Ты что?!

Каким-то чужим, доселе не слышанным голосом, поначалу ровно и медленно, а далее все шибче и шибче, будто насмерть пустившись под гору, смеялся Александр Сергеевич, не сводя с друга своего внимательных строгих глаз.

— Ты чего это! — совсем потерялся Нащокин. — Что с тобой?

— Нашел невидаль! — сквозь монотонный смех свой отвечал ему Пушкин. — Поэзия! Да ее, душа моя, кругом, хоть пруд пруди, навалом! Под любым кусточком, в каждой канаве, в шах, в улыбке ли, в чердаке! И в петиметре она, и в мужицких онучах! То-то, голубчик! Вот только, чтоб узрели ее вы, поэту надобно жить подле, или, на худой конец, хоть ей! А так, что говорить... Пошли-ка, Паня, лучше за шампанским: таки женюсь я...

В белое то февральское утро принес Никитушка Козлов барину своему, неодетому еще Александру Сергеевичу, белое письмо; подал; стал в дверях.

— От кого? — нахмурился Пушкин.

— От их, — развел Никитушка руками, — от Гончаровых! И шепотом, почти про себя, добавил: — Срамота!

— Что?!

— Срамота, говорю, прости Господи! — охотно повторил лихой на язык Никитушка. — Нешто так делается у господ-то? Письмо барину жалаешь послать, — так найди человека, чтоб снес честь по чести! А то... Тьфу! Прислали! Смотреть тошно! По-иноземному сказать — чистый Венус выходит, а по-нашему так в-ооо-т такая баба...

— Ну, ладно! Ладно! Разговорился! — Александр Сергеевич вскрыл конверт, прочел. Показалось белыми чернилами писано, так ускользал из-под глаз текст. Только одно цветное слово запомнилось: деньги! Просмотрел сызнова лист: о деньгах как раз ни звука, — все дело в карете! Нет, видите ли, у них экипажа! Не могут, бедненькие, до церкви добраться! Как на необитаемом острове сидят у себя на Никитской! На Полотняном Заводе подлец-дедушка тысячи на дворовых девчонок проматывает, а тут — внучке замуж выходить, так хоть извозчика нанимай! Добро! Добро! А, может, все это... Нет, слишком умно! Сразу бы отказали, не стали до свадьбы тянуть: таки огласка! Фу-у-у! Но, однако, как душно!

— Может, воды прикажешь! — подскочил Никитушка. — Вишь, как уходили, треклятые, барина! В пору не женить, а соборовать!

— Спасибо, голубчик, не надобно... Ты, лучше... Сходи, милый, — я не знаю? — к Вяземскому... к Павлу Воиновичу...

Денег, скажи, денег, али карету... Хоть что-нибудь! Уж они сделают! Да поскорей, Никитушка, не тяни, голубчик! Поспешай!

— Единым духом, батюшка! Одна нога тут, другая ... там! И мигом!

"Нет, шалишь! — женюсь! Пешком через весь город к аналою поведу, — а женюсь! У всей Москвы денег взаймы наберу, — а женюсь! Барахло свое на Вшивый рынок снесу, — женюсь! Вы меня, Наталия Ивановна, еще дешево цените! Женюсь!"

17

В ночь под свадьбу Азя, Таша и Коко залезли на одну постель. Долго делили одеяло. Азе крупной в бедрах, сухой и жаркой, все не хватало укрыться.

— Ну, вот, толстая, — дула губки Таша то же, как и Азя, попавшая на край. — Дует мне!

Тебя назавтра муж согреет, — смеялась Азя, — приголубит, к сердцу прижмет! Скажет: ах, ты льдышечка моя тоненькая, веточка вербная, и кто ж это тебя, маленькая моя, выстудил, кто тебя, миленькая, вымморозил? А ты молчком лежи, будто и не слышишь! Пускай пожалеет! А скажешь, — я тебя съем! Я тебя... — и она, перескочив через комочком меж ними лежавшую Коко, бросилась душить, целовать, обнимать, греть сестру.

Та вдруг расплакалась.

— Ташунчик, что с тобой? — отпустила ее Азя.

— Ни-ни-ничего! Ничегошеньки! — давилась, сжав у губ кулачки, Таша.

— Что ты? Господь с тобой! Радоваться надобно, а не плакать! — забеспокоилась и Коко. — Полно, глупенькая! Оставь мучить глазки! Не хорошо ведь, коли к венцу зареванная пойдешь! Что люди скажут!

— Откуда я знаю, — выдохнула Таша, — ч-ч-что люди скажут? Пустите меня! — она растолкала сестер, легла ничком, еше пуще, взахлеб, зарыдала. — Не понимаете вы, ничегошеньки не понимаете! — невнятно сквозь всхлипывания и подушку несся

ее голос. — Приголубит! К сердцу прижмет! Как же!.. Он... он задумчивый весь! Да, задумчивый! Задумчивый...

Сестры гладили ее по вздрагивающим плечам, целовали, уговаривали.

— Не хочу! — бубнила Таша. — Он — задумчивый! Он со мной говорит, а сам ровно ничего и не видит... Ни-ни-ничегошеньки! Как есть — ничего! А лицо желтое и в пупырышках... Бакенбарды противные... Он меня не любит... ему бы только доказать, что жених он... Он... он... Не хочу я за него!

— Ну, вот уж глупости болтаешь! — строго заговорила Азя, мостясь сесть на постели так, чтоб и сестры были укрыты и сама не зябла. — Чистые глупости! Александр Сергеевич — поэт! К государю близок! Ты подумай, это ведь честь не тебе одной, — всем нам, всей семье! Понимаешь, глупенькая?

— Не хочу! — отбивалась Таша. — Сами за него и идите!

— Упрямица! — обиделась Коко.

— Блажит просто! — спокойно поправила ее Азя. — Дурачится!

— И не дурачусь вовсе! — вскочила, сбросив на пол одеяло, Таша. Сестры взвизгнули. — Вы знаете, что о нем Мари рассказывала? Знаете? Ну, и нечего меня учить тогда!

А чего рассказывала-то? — полюбопытствовала Коко.

— Что? Что? Он нас на бумажку записывает! Вот что!

— Кого нас? — разом спросили и Коко, и Азя.

— Ай, ну, как можно быть такими беспонятными? Нас? — и дам, и... — она на мгновение запнулась, — и девиц!

— Вздор какой-то! — задумчиво, нараспев, произнесла Азя. — Сплетни! На какую еще бумажку? В стихи что ли? Так на то он и поэт!

— Да, не в стихи вовсе! — загорячилась Таша. — Не в стихи! На простую бумажку! На обычную! Ну, вроде, как реестр какой! Счет, что ли? Не знаю, право! Только у него их там, говорят, до сотни!

— Не верю я! — тем же задумчивым напевным голосом сказала Азя. — Пустое это! Из передней слухи!

Таша сжала кулачки: — Нет, говорю вам, — нет!

— А кто передал-то? — опять полюбопытствовала Коко.

— Да я ж сказала — Мари!

— Ну, Мари для красного словца не пожалеет и отца!

— Ай, нет же, нет! Ну, милые вы мои, хорошие! — Таша обняла сестер. — Честное слово, Мари правду сказала! Ей Толстой-американец об этом намекал, все обиняками да обиняками! Вот она и догадалась!

Ай, нет же, нет! Ну, милые вы мои, хорошие!

Тоже враль! — не согласилась Азя. — Нашла кому верить! Толстому! Да он отродясь правды и в глаза не видывал, забыл уж с чем едят!

Ты думаешь? спросила Таша, глядя широко открытыми глазами куда-то в темноту.

— Не только думаю, — готова поклясться!

— Может, так оно и есть! — как-то легко, всей душой, кажется, согласилась Таша. — Дал бы Бог!

— Послушай, а ежели это даже и не так? — будто продолжая что-то ей давно знакомое, начала Азя: — Что ж из этого?

— Не надо! Перестань! — прервала ее Коко.

— Нет, постой, не мешай! — повела рукой Азя. — Ну, и что из этого? Я спрашиваю, что? Вот ерунду нашли для спора! Он же — мужчина! И, опять же, поэт! Он жил, понимаешь меня Ташенька! Ему уж не двадцать лет! Ездил, где непоподя... В Одессе там... или в Кишиневе... А ты хочешь, чтоб тебе его с крылышками да в серебряной бумаге, как пасхального херувимчика, принесли! Конечно, — нет! Разумеется, у него были любовницы! Это все и без Толстого знают! Да с какой стати тебе-то этим печаловаться! От этого тебе только и лучше, слышишь Ташенька, лучше! Уж он-то теперь, коли решил жениться, все бросит! Правда, правда! Чем еще его наша сестра прельстить может? Ты об этом-то подумай!

Таша молчала, тихо посапывая в подушку.

— Безнравственная ты, Азя! — осуждающе, но робко сказала Коко.

— Я? Нисколько! Я просто думаю! Действительно! Он ведь после прежней своей жизни не надышится теперь на женушку свою, на Ташунчика нашего! Всем ей угождать будет! Вот, попомните мои слова! И тебе, Таша, с ним понравится! Сама увидишь! Потерпи только, маленькая моя! Он тебя лучше моего

утешит! Уж сумеет! Слышишь меня, Таша? Ташунчик! Ташенька!

— Т-с-с-с! — прижала пальчик к губам Коко. — Спит она! Заговорила ты ее, Скюдери доморощенная!

— Спит разве? — с тонкою, незаметною почти обидой в голосе не поверила Азя. — А, и правда! Смотри-ка ты! Здорова девка, однако! Ей назавтра к венцу, — а она, хоть бы что, посапывает только!

— Спи и ты, — попросила Коко, — поздно уж!

Азя лениво и сладко потянулась: — Покойной ноченьки, вековуша! — и легла на спину. Однако сон не скоро пришел к ней. Еше долго лежала она с открытыми глазами, что-то про себя пришептывая. Все ей казалось, не кончен еще их далеко за полночь предсвадебный разговор, все мнились ей возражения, упреки, прекословия. Она сопротивлялась изо всех сил и только до конца вылежавшись, победив, смогла уснуть, но зато уж до самого утра спала мирно, привольно. Радостными в ту ночь были сны ее.

Таше тоже притчилась всякая всячина. Долее других преследовала плывущая по голому осеннему саду свеча. Робок, но упорен был ее остренький кривой огонек, потрескивал и дрожал. Странно, не грел он нисколько (брала его Таша в ладони), но и не гас, — теплился, теплился. Неожиданно стороною где-то — Таша даже не видала его, а только знала о нем — скользнул в полоборота высокий, из себя ладный очень мужчина. Огонек ахнул и погас; свеча пропала: Таша проснулась, — улыбнулась. "Невеста я!" — тотчас же подумалось ей.

18

Казалось, — вот только что хлопнула за Никитушкой Козловым дверь; полез в окна снизу откуда-то, из подворотни точно, крупный, лохматый снег; заломило в висках голову: загрезилось в мыслях неловкое что-то о пустяках (оделся он за это время и выбрился сам), а уж — смотри ты! — приехали Вяземский с сыном да Потемкина: пора, стало быть, и за невестой отправляться, пора к венцу: истекают сроки, догоняют часы с минутами — пора!

Смущенно как-то встречал Александр Сергеевич

посаженных родителей своих, все думалось ему: быстротечно время али медлительно... Оттого он косвенно, сам ничего не понимая, пошутил с Потемкиной, наспех обнял Петра Андреевича, сына его, иконофором пожалованного Павлушу, по носу мазнул, бросился к дверям: "С Богом что ли!" Вяземский кивнул.

На улице ждали их двое саней. В одни поместилась Потемкина с Павлушей, в другие — Пушкин с Вяземским.

— Единым духом чтоб! — лениво приказал кучеру князь, и понесла поземка московские улицы за спину, запрыгали вслед им сугробы, зарябило в глазах.

Александр Сергеевич цилиндр свой снял, надел его на колено.

— Послушай-ка, княже! — в сторону глядя, вдруг спросил он. — Как по-твоему, отчего это любовницу иметь и безнравственно и дурно, а, положим, служить каким-то прихвостнем в коллегии иностранных дел, али в том же третьем отделении, — и подражания достойно, и почетно, и — главное — отечеству необходимо, а?

— Как говоришь? — ровно и не слыхал он ничего, переспросил Вяземский. Удобно, как один он только умел, сидел Петр Андреевич обок с Пушкиным и, казалось, даже на ухабах не трясло его нисколько. Ковырял князь огрызком гусиного пера в ухе, жмурился, аппетитно отпадал на сторону; под пенсне синие с дымком глаза его как сыр в масле плавали: — Как? Как?

— Да, наверное, вздор это! Ни к тому слову пришлось! Однако ж, я вот все думаю, до чего мы, русские, более способны: на печи с бабами лежать; али, подобрав портки да бороды окорнав, за Европою бегать; в департаментах служить, как Пестель, конституции выдумывать? Скажи, а то, право же, в одиночку трудно кумекается? А?

— Что? — сочным басом своим опять удивился Вяземский и тут же заколыхался так, что едва в канаву не опрокинулись их легкие наемные сани: — Что? С бабами возжаться, али конституции выдумывать?! Как! Ну, Пушкин! Ну, хват! Молодец, поздравляю: наконец-то ты и в мыслях своих к венцу приближаться начал! Теперь уж до женитьбы твоей точно один шаг остался! Ма-а-аленький такой шаг! Шажок!

— Прав ты, княже! — вздохнул Пушкин, нахлобучил цилиндр по самые брови, поежился. — Прав! Я и вправду к этому вышел, когда о будущем своем и так и эдак прикидывать стал. Знаешь, туда бросишь, сюда бросишь, — ан, смотришь, противуположности казалось бы, — а ведь все невдали друг от дружки! Все в одно, в целое стремятся... Прав ты...

— Ты просто все перепутал! — серьезно перебил его Вяземский. — Меж любовницами и департаментами, конечно же, ни на йоту общего нет! Ежели только ты не удумаешь любовниц в служебном помещении принимать! — он снова, как давеча, заколыхался. — Нет, голубчик, Богу — богово, а кесарю — кесарево! Так и тут: одно относится до общественной жизни государства, другое — до твоей личной! Нет! Нет!

— Я тоже так раньше думал. В том-то и грех, что "да"! Ладно, оставим департаменты в стороне. Ну их к ляду, все там дрянь, бумажки одни — не дела! Но, положи, хоть так: вот сгорели допустим в миг один двадцать министерств расейских! Да ведь, ежели тебе об этом твой знакомец не донесет на ушко, так сам ты и в двадцать лет этого не поймешь! И все так, — не один ты! Понимаешь! Это уже характеристика! Теперь — другое! Так ли уж хороши наши сердечные, совсем вроде бы домашние дела? Посмотри в себя, князь! Это ведь ты в прошлом годе из-за деревеньки в двадцать две души со всей родней своей перегрызся! Подожди! Знаю, что скажешь: не ты, мол, тут виноват — департаменты канителили! Только ли? А ежели и так, то где ты сам, милый мой, служишь?

Служил!

— Неважно! Я же всего-навсего, как ты сам выразился, о твоей личной жизни говорил! Ну, ровна она? Легка? Приятственна? Суверенна? А? Далеки любовницы от третьего отделения? Жены от государя?

Опав как-то грустно, молчал Петр Андреевич.

— То-то, брат! Я об этом не зря голову ломал, все до истоков домогался! Интересно мне, зачем это столь разные по первому взгляду вещи у нас равно близки между собой? Причем, заметь, у нас только! И лишь давеча, на том, может быть, углу, — он криво махнул рукой, — понял: ничего у нас нет! Ни личной жизни! Ни государства! Есть нечто третье, мешалка какая-то!

Разве не видно, сверху нас шельмуют, едва ли не прямо кулаком в зубы, а мы, в свою очередь, от щедрот своих, им рабской угодливости подваливаем, да еще и хорохоримся: берите, мол, не жалко, мы этого добра, на брюхе ползаючи, бессчетно накопили! Разное, говоришь! невольно попав на тон вяземского сочного баса, спрашивал Александр Сергеевич. — Ничуть! Поди разберись, где в этой мякине холоп, где дворянин столбовой, а где и сам царь-батюшка! Отсюда и получается, что все едино нам, что пироги печь, что Кавказ колонизировать, что недвижимость с женой делить али накоплять! Нет, брат, ничего обособленного здесь нет! Это миропорядок наш! Система!

— Да ну, тебя к черту! — тихо попросил Вяземский. — Гляди, приехали уж!

— Вижу!

19

Венчались Александр Сергеевич Пушкин и Наталия Николаевна Гончарова в боковом приделе: недостроена еще была церковь Большого Вознесения, что у Никитских ворот. Чудно, с глубоко щемящей сердце мукой, пели спешно для того Наталией Ивановной приглашенные чудовские певчие. Народ теснился в храме и на паперти. Легкий, кружил и почти не падал на землю снежок.

Александр Сергеевич повеселел сердцем, когда шел к аналою: все дрожало и сверкало перед глазами его, сладким дымком пьянили паникадила, по-домашнему нечиновно и кротко шуршал облачением своим батюшка. Натали плыла рядом, неземными и чистыми были глаза ее.

Когда стали меняться кольцами, на мгновение замешкал Александр Сергеевич, дрогнули — точно подтолкнул кто — руки: выкатилось кольцо на пол; побелев, поднял его Пушкин, машинально совершенно вскинул к глазам — показалось, налипло что-то на золото — обдул и, чистое, — вздел на сухой холодный пальчик Натали. Та стояла недвижимо. "Может, и не приметила вовсе! — секунду разве что понадеялся Александр Сергеевич, но сейчас же понял: нет, все видели! все знают! Опять заломило в висках, опять странное что-то вошло в грудь, в голову, опять время не то вперед поскакало, не то на месте

остановилось! "Сколько же это еще будет продолжаться?" — никак не мог сообразить он и ходил вкруг аналоя, чего-то повторял вслед за батюшкой, внимательно слушал певчих, кланялся, кого-то целовал, кому-то жал руки, даже на кого-то обиделся, даже рассмешил кого-то...

— Да, а который нынче час? — уже на улице спросил он у Нащокина и тотчас же начисто позабыл ответ. Снег шел. Пора было разъезжаться.

— Ну, теперь веселиться будем, женка! — говорил Пушкин, пособляя Натали подняться в сани. — Час такой пришел: без веселия — никуда!

Г. Сомов

ПОЖЕРТВОВАНИЯ "НОВОМУ ЖУРНАЛУ"

После пожертвований, опубликованных в кн. 140, в издательский фонд "Н.Ж." поступили пожертвования по 50 долл. от Г. и В. Чириковых и от проф. А. и К. Шлиппе. Всего — 7.742 доллара. Приносим всем жертвователям самую сердечную благодарность. *Редакция.*

*

Не нарушает тишины
Закат китайско-желтоватый
И ветки голубой сосны,
Бескрылые, полукрылаты.

На синем запечатлены
Две неподвижные ракиты
И тень сапфирная волны
Лежит у лодки позабытой.

И слабым пламенем горят
Вершины снежные на юге.
(Здесь две дороги: на Царьград
И на Багдад). Как бы в испуге

Всё ждет. Ни чаек, ни цикад.
Синеют горные отроги.
И слышно, как молчит закат,
Как бы задумавшись о Боге.

Игорь Чиннов

*

Дамоклов меч над прокрустовым ложем,
Дамоклов меч,
И нам говорят, мы должны и можем
На ложе лечь.

А слева Сцилла, а справа Харибда —
Я не Одиссей!
В пучине морской трирема погибла
С добычей всей!

В зловещей воде стоглавая Гидра,
Но ты не Геракл.
Что тебе сказал премудрый и хитрый
В Дельфах оракул?

Выбросив в море нить Ариадны,
В черный прилив,
На гору тянешь камень громадный,
Тезей — Сизиф:

Всё перетрут (работай скорее!)
Терпенье и труд
И даже веревку у Вас на шее
Они перетрут.

Игорь Чиннов

СОН

ГЛАВА 12

В ту весну, когда в Большом доме появилась первая толпа растерянных, испуганных людей с узлами, ящиками, с завернутыми в газетную бумагу свертками, Тинни и Люба переехали в Старый дом, пустовавший со смерти деда. Они не возражали, не жаловались на неудобства, но от участия в работе Роберта уклонились.

Тинни была занята — надо было привести дом в порядок. Не было газа и электричества, плита в кухне согревалась углем, как пятьдесят лет назад при бабушке. Надо было куда-то убрать тяжелые шкафы и кресла, перевезти из Большого дома ковры и картины. А прежде всего решить, красить ли стены или оставить старинные, добротные обои.

— Я знаю, что не модно, — жаловалась она Любе, — но мне жалко.

— Делай что хочешь, мне все равно.

Люба уходила к реке и долго сидела у старой пристани, глядя на мелкую серую зыбь, уходившую к океану.

Открылись почки, оделись деревья прозрачным кружевом, зазеленели листья, белые цветы дерена, как снегом, опрыснули лес.

На поляне за гаражом началась новая жизнь. Проехал тяжелый трактор, привезли на грузовике обернутые рогожами молодые деревья. Люба с съехавшим с головы платком мелькала то здесь то там с тачкой, с лопатой, с мешочками семян. За обедом она сидела, как зачарованная, ничего не видя и не слыша.

Мы печатаем третий отрывок из романа "Сон" О. Маслей. Два отрывка см. кн. 134 и 139 "Н.Ж.". *РЕД.*

— Зачем тебе всё это делать? Смотри как ты устала! Скажи Роберту, он кого-нибудь пришлет. Довольно уж ты поработала в своей жизни. Я помню как ты жаловалась.

— Я жаловалась!?

— Ну, раньше, после революции...

Я никогда не жаловалась. Я рассказывала как хорошо было.

Бабушка тоже любила, здесь перед домом были клумбы. Это ничего, но доить коров, чистить курятники... ведь ужасная вонь!

— Ты ничего не понимаешь. Навоз хорошо пахнет.

Спорить не имело смысла — у Любы на всё были ответы.

— Надо сказать Роберту, чтоб починили дорогу, я пошла в Большой дом и чуть не упала.

— Покроют асфальтом и всё испортят.

— Роберт прикажет, чтоб сделали как следует.

— У нас ...

— Да, я знаю, у вас дороги грунтовые, но теперь скоро приведут в порядок.

— Во-первых, не все, но это не важно. Я помню: широкая дорога, обсажена ветлами, поля кругом, небо. Ко мне приезжали летом подруги, и мы ходили странствовать верст тридцать — сорок. Иногда, мой брат с нами. Одна девочка всегда уставала, опухали ноги. Помню, мы ночевали в школе, и сторожиха учила ее стегать ноги крапивой, говорила богомольцы так делают.

— Какие богомольцы?

— Ну, пилигримы... Они ходили в святые места — в Киев, еще куда-нибудь, даже иногда в Иерусалим. Давали обещание, если кто-нибудь болен, или другое горе...

— Пешком? Но ведь это очень далеко. Разве не было поездов?

— Всё дело чтоб пешком, брали на дорогу мешок сухарей.

— Так нельзя же одни сухари ... И надо платить в гостинице...

— Их пускали ночевать, все по очереди. И кормили. Вечером остановятся в какой-нибудь деревне и староста их отведет. Не только богомольцы, некоторые собирали на погорелое место или чтоб церковь построить.

— Но как можно! Ведь это опасно пустить неизвестного человека. Воображаю сколько было несчастий!

Никогда не слыхала.

— Все равно. Слава Богу, что тебе удалось вырваться. Наша страна самая лучшая в мире!

— В каком смысле?

— Во всех смыслах. Я была в Европе, разве можно сравнить! Это все признают! Никогда и нигде не достигали такого высокого уровня.

— В смысле богатства? Разве это важно?

— Конечно важно. Разве ты не помнишь, что вы чувствовали, когда всё потеряли?

— Ничего не чувствовали. Потеряли и потеряли. Моя мать никогда не вспоминала. Во всяком случае, никто в окно не прыгал, как здесь.

— Да, но ты не можешь отрицать, что каждый человек хочет иметь дом и автомобиль. И, конечно, деньги про черный день.

— Не вижу, чтоб это делало людей счастливыми. Недавно в автобусе в городе меня просто поразило — ни одного веселого, счастливого лица. Все озабочены, все о чем-то беспокоются.

— Ну, и что ж? Все заняты, стараются чего-то добиться, сделать свою жизнь лучше.

ГЛАВА 13

Когда между двумя заседаниями Форест заглянул на минутку домой и увидел в гостиной незнакомого молодого человека, он не узнал своего сына.

— Ко мне? — спросил он, задерживая шаги. — К сожалению, я сейчас уезжаю. Почему вы не позвонили? — и остановился с открытым ртом. — Тэдди! Неужели ты? Боже, как ты изменился! Когда ты приехал? Мама знает?

— Она пошла тебе звонить. Ты тоже изменился, пополнел. Как твоя Колония?

— Прекрасно, всё прекрасно. Почему ты не дал знать? Дело в том, что у меня заседание. Но я скоро вернусь...

Вернулся он к вечеру и уже из передней услыхал громкие голоса. Все были в сборе, все говорили, перебивая друг друга. Тинни спрашивала об Американской миссии в Китае — правда ли, что их держали несколько месяцев под стражей? Корнфилд хотел

знать о таинственной смерти через проклятие в Южной Африке, Дана допытывалась, кто ему больше нравятся — японки, китаянки или корейки.

Может, ты стал магометанином? Помнишь, Билли Арнолдс? Он тоже где-то там был и принял магометанство, говорит, у него три жены. Я думаю врет. Бетси рассказывала, молится пять раз в день и всё время моет руки. Он привез ей чудный бурнус...

Вальтер не спрашивал, он рассказывал — в Лондоне у Кристи был аукцион, американский антиквар купил Тициана за полтора миллиона и тут же, на месте продал за два.

Тэдди сидел рядом с матерью, держал ее руку и улыбался.

Первая неделя прошла в суматохе, непрерывно звонил телефон, кто-то приезжал и уезжал. Странные, непривычного вида люди, то ли иностранцы, то ли американцы, потерявшие человеческий облик, непринужденно располагались в гостиной.

Приезжала Дана и увозила брата к себе. Тинни уговаривала его купить костюм и приличную обувь. Он смотрел на свои потрепанные башмаки и смеялся.

— Тинни, душка, у меня же одна пара ног, зачем мне другие?

Наконец, Форесту удалось остаться с сыном наедине.

— Что ж ты думаешь теперь делать?

Тэдди вскинул голову.

— Делать? Пока ничего.

— То есть как ничего? Ты и так потерял столько времени.

— Я не считаю, что потерял. Прежде чем начинать, надо знать, *что* делать.

— Как же ты будешь знать, сидя сложа руки! Мы учимся на ошибках — своих и чужих.

— Может учимся, как делать, но не что. Вон у Вальтера ясная цель — нажить как можно больше. Иногда он делает ошибки, но цель остается.

— Цель одна — помочь людям, сделать их лучше, счастливей...

— А откуда мы знаем, что для них лучше, в чем их счастье? То, что дает счастье одному, не имеет смысла для другого. Мы взяли на себя миссию заботиться обо всем мире и даже не стараемся понять их психологию, не знаем их языка, истории, обычаев.

— Если где-нибудь в Африке тысячи людей умирают с голода...

— Ты имеешь в виду материальную помощь? Но даже это, даже это, мы не умеем организовать — посылаем не то, к чему они привыкли, а то, что у нас завалялось, им не нужно. Ты читал? В Африке пропали тысячи тонн из-за отсутствия дорог!

— Конечно мы делаем иногда ошибки, все могут ошибаться. Но то, что мы выполнили через Объединенные Нации и через собственные организации было поразительным фактом гуманности. Помогают и другие, но никто не помогает и союзникам и врагам, кроме нас.

— Лицемерие! Помощь бедным братьям, а на деле коммерция. Надо сбывать свои товары!

— Что ж в этом дурного?

— Зачем же врать? Все это громкие слова, чтоб тронуть чувствительные сердца — вот, мол, какие мы добрые, посмотрите на бедных дикарей, умирающих с голода! Неужели мы не поможем им?

— Я не вижу ничего постыдного в том, что мы ищем новые рынки. Все индустриальные страны делают то же самое. Мы не можем развиваться дальше, если не будет сбыта. Отсталые страны не могут служить рынками, мы даем им возможность использовать их естественные богатства.

— Они жили и без нас!

— Как жили? Голодали, не умели использовать то, что дала им природа. Правительства наживались, о населении не заботились. Мы должны им показать лучшую систему управления, разумную и справедливую. Наша демократия выше всех других. Даже если они не благодарны сейчас...

— Никто не бывает благодарен за благодеяния. Благодарность и любовь не покупаются. И в чем ты, собственно, видишь превосходство нашей системы?

— Как в чем? Выборное правительство, ответственное перед народом.

— А ты читал — оказывается 65% населения в последних выборах не участвовало?

— Но они имели право.

— Кто-то написал в редакцию "Таймс", что вся система не

годится. Кандидаты пожимают руки, целуют детей, раздают сигары, получают деньги от разных фирм, надеющихся на будущие льготы. Кого выбирать? Предположим вы знаете хорошего человека — без предвыборной агитации, без денег, кто будет поддерживать? Так что наш пример не убедителен. Ты думаешь нас уважают? Нас презирают со всеми нашими долларами.

— И берут! Ты знаешь, какая часть нашего бюджета ...

— Я знаю одно — всё, что делают западные государства в Азии и в Африке, делается из расчета. Я был в Корее, в Вьетнаме, я встречал людей, не верхушку, которая говорит по-французски и подражает европейцам, а простой народ. Ты думаешь, крестьяне интересуются политикой? Они хотят мира, крышу над головой и чашку риса. Это мы здесь думаем, что поддерживаем правительство в борьбе против коммунизма, в Азии считают, что мы боремся против национальной независимости. Всем им надоело вмешательство в их жизнь. Они хотят жить по-своему. То, что мы сделали в Японии ... Ты думаешь, они когда-нибудь забудут?

— К сожалению, это было необходимо. Правительство долго колебалось... Только чтоб прекратить кровопролитие ... Все это чувствовали!

— Прекратить такой ценой! Да всё, всё... Ты знаешь, как они себя держат, эти добродетельные иностранцы? Смотрят на всех сверху вниз, живут годами, ничего не знают, ничего не видят. Только вывешивают вывески, как в Китае: собакам и китайцам вход запрещается. Или в Южной Африке негры не могут зайти в банк, в гостиницу, в поезд. В их собственной стране!

— А кто строил эти парки и банки? Неужели иностранцы не имеют права спокойно жить?

— Ну и пусть живут у себя! Чего они лезут?

— Что ж, по-твоему, нужно?

— Нужна дружба, настоящая дружба, не из расчета.

— Но дружба должна быть обоюдной.

— Она не может быть обоюдной, когда все знают, что мы готовимся к войне. К войне, которая разрушит мир.

— Ты думаешь, другие не готовятся?

— Они должны защищаться.

— Так же как и мы.

— Но они не хотят войны, у них нет другого выхода. Азиат-

ские государства, за исключением, может быть, Японии, не участвуют в борьбе за гегемонию, они еще не забыли оккупацию. Америка не страдала так, как другие страны.

— Бывают времена, когда приходится защищать не только свои дома, но нечто более ценное — принципы, религию, цивилизацию.

Тэдди махнул рукой. Разговор кончился ничем.

ГЛАВА 14

Фореста назначили в Комиссию по иммиграции и национальностям. После частых отлучек он возвращался домой усталый, раздраженный политикой Вашингтона, огромными ассигновками на оборону.

— Ты забываешь, что я сказал, — останавливал его Корнфилд. — Никаких волнений! Америка достаточно богата, мы можем позволить себе любые траты.

— Дело в принципе! Одни кричат об опасности с Востока, другие уверяют, что никакой опасности нет. Пора понять — правоту нельзя доказать кулаками.

— Оттого что ты будешь волноваться, ничто не изменится. Разумный компромисс в политике необходим. Укрепление границ естественная предосторожность.

— А как провести черту между нападением и обороной? Куда ты относишь заготовку бомб?

Тэдди вернулся в колледж. Товарищи, с которыми он начинал, уже кончили. Рядом сидели зеленые, недавно со школьной скамьи, мальчишки. Отвлеченные проблемы их не интересовали, они говорили о воинской повинности, о девчонках, о зачетах. Тэдди был мрачен, критиковал университетские порядки.

— Сколько тебе осталось до окончания? — спрашивал Форест.

Тэдди пожимал плечами.

— Они уверяют, я бросил перед экзаменами. Какая разница? Оставалось не больше двух недель, классов не было, только зачеты. Я могу сдать в любое время. Всю систему надо изменить. Разве университет дает знания? Или хотя бы желание знать? Только дипломы — вот и все. Как можно больше дипломов,

Америка не должна отставать! Профессора — тоже часть системы, должны пропустить какой-то процент. А знают что-нибудь или не знают — не важно. Даже лучше, если не знают, всякое углубление отнимает время! Повторяй слово в слово, что сказал учитель, и получишь хорошую отметку. Одного товарища провалили потому, что он осмелился выразить свое мнение. А кого принимают! Некоторые первокурсники не умеют грамотно писать. Теперь у нас специальный курс английского языка, не для иностранцев, для своих американцев, кончивших среднюю школу.

— Специальный курс не помешает, — неохотно возразил Форест.

— В других странах читать и писать учатся в детстве. Ты видел отчет обследования городских школ?

— Это в Нью Йорке. Не забывай, население здесь наполовину пришлое.

— Конечно. А кроме того, сами обследователи не далеко ушли. Мне рассказывали — спрашивают мальчика, как его зовут. Молчит. Сколько тебе лет? Не отвечает. И вывод: не знает своего имени и возраста. А пришло им в голову, что он плохо понимает английский язык, что выговор чужой, что он боится незнакомых людей и вся культура белых ему чужда и непонятна? А потом какой-нибудь умник напишет книгу о расах, не способных к развитию.

— Всё это постепенно сгладится.

— Как сгладится? Положение серьезней, чем ты думаешь. Старые идеи отжили, положение изменилось. Конституция потеряла связь с реальностью. Хорошо было двести лет назад говорить о равенстве. Пора открыть глаза — национальности не сливаются, притворство ни к чему не ведет. Ты бывал в Харлеме?

— Они всегда так жили, надо считаться с фактами. Конечно, мы виноваты, но мы стараемся исправить. Рано или поздно все придет в порядок. Но мы опять отвлеклись! Ты взрослый человек, пора тебе заняться делом. Я хочу, чтоб ты ближе подошел к нашей работе. Не далеко время, когда тебе придется меня заменить. Через год я пошлю тебя в Европу. Постепенно ты станешь во главе нашего дела:

— Я? — Тэдди в изумлении открыл глаза. — Но меня это совершенно не интересует.

— Ты хочешь сказать, что моя работа бесполезная трата времени?

— Я не верю в благотворительность. Американский подход — крохи со стола богачей. Все ваши иллюзии скоро лопнут!

— Что ты имеешь в виду?

— Вы упрямо не хотите видеть то, что вам не нравится, вы хотите переделать всех людей по-своему, навязать им свои правила, свои обычаи, законы, свою религию.

— Но наша религия лучше!

— Для кого? Люди жили сотни лет, у них своя история, своя религия. Недавно в каком-то журнале была картинка — новое помещение для тигров в Зоологическом саду. Пруд, чистая, прозрачная вода, кругом белая стена и два тигра ходят, опустив головы. И надпись: счастливые тигры радуются новой квартире, построенной для них городом. Благотворительность с самыми лучшими намерениями.

— Может тебе неизвестно, — медленно и тяжело произнес Форест, — что для меня это не благотворительность, это дело всей моей жизни.

— Твоей жизни! Почему ж ты не хочешь, чтоб я нашел дело моей жизни?

Карандаш в руке Фореста стучал мелкой дробью. С усилием он сжал пальцы, но дрожь не прекратилась. Сердце билось, билось и замирало, будто он летел с горы. На секунду время остановилось, но сердце опомнилось и застучало опять.

— Если... если ... вы считаете, что отцы бездельники и лицемеры, то какое право вы имеете жить на их счет?

Тэдди дернул плечом и усмехнулся.

— Деньги принадлежат всем, об этом не стоит беспокоиться.

В ноябре Тэдди познакомился с двумя товарищами, переведенными из другого университета. Жизнь резко изменилась, теперь у него были друзья, с которыми можно было говорить, которые смотрели на все такими же глазами, как он, но в отличие от него они не только возмущались, но что-то делали. Вместе они организовали Общество Возрождения, и Тэдди был поражен числом студентов, пожелавших присоединиться. Не только молодежь, но и некоторые инструктора стали приходить на собрания.

СОН

ГЛАВА 15

Ранней весной, в необычное время среди дня приехала Дана с мужем. Не раздеваясь, в белой шубке и капоре, она остановилась посреди комнаты, переводя глаза с одного на другого.

— Дэдди, — сказала она, надувая губки, — ты хочешь быть дедушкой?

Тинни выронила вязание и всплеснула руками. Вальтер с довольным видом выступил вперед.

— Теперь уж наверное! Мы прямо от доктора. Не хотели раньше говорить, чтоб не разочаровывать.

Форест отвел глаза — победоносный вид голландца был невыносим. Розовое лицо дочери было так чисто, так невинно, казалось, она была ребенком, подвергнутым насилию.

Несколько месяцев он жил в тревоге, ждал несчастья. Бедная, слабенькая Дана не перенесет.

В ветряный ноябрьский день, забыв все дела, он ждал в приемной частной лечебницы, садился, вскакивал, надоедал всем вопросами. Ван Абеле спокойно посасывал трубку, уходил завтракать, обедать. Задерживая дыхание, Форест прислушивался к гулким звукам, телефонным звонкам, автомобильным гудкам. Вот быстро вошел доктор с черным чемоданчиком.

— В операционной, — сказала сиделка. — Спешно.

Форест вскочил. Его удерживали, успокаивали.

Потом было лицо Даны, бледное, с припухшими губами.

— Больше никогда! Никогда! Можешь себе представить, у меня близнецы! Это ужасно!

Постепенно новое, странное чувство вошло в его жизнь. Дана была гордостью и счастьем, сын болью разочарования, к маленьким, беленьким крошкам он чувствовал сладкую жалость. Ему казалось, никто их не любит, не обращает на них достаточно внимания.

От Вальтера нельзя было и ждать глубоких чувств. Он вдруг заинтересовался искусством, сделался почетным членом музея, получал из Лондона каталоги крупных антикваров, ездил на аукционы.

— Это целая наука, — объяснял он Форесту, — недостаточно знать имя художника, вы должны понимать все особенности. Даже

специалисты ошибаются. У нас в Музее две картины считали оригиналами и вдруг оказалось — копии. Надо знать технику живописи, качество рисунка. А возьмите подписи! Все знают Рембрандта, знают, как он подписывался, а сколько ошибок делали и будут делать. Тут все имеет значение — слой краски, удар кисти ... Но при внимании и при осторожности можно сделать хорошие деньги. Самое верное вкладывать в искусство, только искусство вечно! Помните, как лопались банки в тридцатых годах...

Дана расцвела, стала похожа на итальянскую Мадонну, ей было не до детей, она жадно ловила радости, которые давала ей жизнь. С увлечением она ездила с мужем по аукционам. Картины ее не интересовали, но было много прекрасных вещей. В удачные дни Вальтер покупал ей ковры и китайские вазы.

Дети встречали Фореста радостным визгом. Они обнимали его ноги, карабкались к нему на колени. Они не походили ни на Дану, ни на Вальтера, отсутствие миловидности в их бледных лицах увеличивало его нежную привязанность. Ему казалось, они принадлежали ему, его долг был о них заботиться.

После ежегодного визита к доктору он заехал в контору Фокса и сделал дополнительную приписку к своему духовному завещанию.

ГЛАВА 16

Важные события отвлекли Фореста от домашних дел. В мире происходило небывалое, веками установленный порядок рассыпался, как карточный домик. Азия старалась стряхнуть гегемонию иностранцев, в Южной Америке одно за другим сменялись правительства, в Африке возникали новые ненадежные государства.

Внутри страны было неспокойно — стычки между черными и белыми не прекращались, тюрьмы были переполнены, заключенные требовали гуманного отношения, уважения к их человеческим правам. По университетам прокатилась волна беспорядков. Женщины добивались уравнения в правах, по улицам ходили процессии депутаток, съехавшихся из всех штатов. С юга прибывали толпы бедняков, привлеченных правительственной

поддержкой. Газеты печатали небывалые суммы, выплачиваемые недостаточному населению. Правительство кричало о дефиците, о необходимости новых налогов. Солидный, зажиточный средний класс, на который главным образом падали налоги, возмущался несправедливостью — почему они должны содержать лентяев, зачем открываются всё новые учреждения, платят огромные жалованья и не могут прекратить растрат, не могут разумно организовать.

Иммиграция не прекращалась. Голод, страх, политические и религиозные преследования гнали людей со всех концов света. Комиссия по приему иммигрантов заседала непрерывно. Сидя в удобных креслах, сытые, хорошо одетые люди решали судьбу другого низшего сорта людей.

— Но что мы можем сделать? — говорили члены Комиссии. — Они там наверху решают, кого пустить, а мы должны придумывать, как это устроить, куда девать ...

— Закон двадцать четвертого года устарел. Вы знаете, сколько квот пропало даром? Англия использовала меньше половины, а в Восточной и Южной Европе надо ждать визу всю жизнь! В Греции на 96 тысяч прошений 300 квот.

— Насколько я помню, квоты были установлены по числу предыдущих иммигрантов ...

— Но это было после Первой войны. Иммиграция менялась в зависимости от разных причин — ирландцы после картофельного голода, немцы после революции 1848 года, французы и англичане из-за религиозных преследований ...

— В конце концов, мы сами иммигранты.

— Согласно историкам даже индейцы...

— Но все-таки, что мы будем делать с этими азиатами? Мы не можем забывать о своих интересах. Это вам не голландцы из Индонезии — у тех мастерство, они умеют работать, у них есть некоторые средства для начала.

— Вспомните, что сказал Джеферсон: неужели мы откажем несчастным в гостеприимстве?

— Это прекрасно, но не забывайте, что тогда Америка нуждалась в людях! Мы не хотим повторять печальный опыт с китайцами. Безработица растет с каждым годом.

— Сколько их? Кто-нибудь знает?

— Это только часть, стычки не прекращаются, люди бегут.

В Гонконге ждут китайцы, спасшиеся от "культурной революции". В Конгресс подано несколько тысяч индивидуальных прошений. Одна девица работает здесь в университете, постоянной визы не имеет, родилась на Филиппинах, ехать в Китай не хочет, Гонконг не принимает ...

— А теперь еще Куба! Что с ними делать? Везде революции, а мы должны расплачиваться. Вы слыхали, кто-то бросил бомбу в пуэрториканский клуб? Много убитых ...

— Они не иммигранты, они наши собственные граждане.

— Вернемся назад! Что они из себя представляют, эти азиаты?

— Люди без языка, без самых примитивных навыков, физически недоразвитые, неспособные к тяжелой работе...

— Почему не отправить их в пустые, незаселенные места — Вермонт, Мэйн?

— Вы забываете, они привыкли к теплу, они перемрут там, как мухи.

— Что ж, вы хотите пригласить их сюда, в Вашингтон? И так уж мы превратились в одно из меньшинств.

— Ага! Значит, вы против меньшинств!?

— Я не против, но я не хочу сам быть меньшинством. Моя дочь поместила детей в публичную школу, оказалось они были там единственными белыми!

— Может, м-р Форест примет, хотя бы временно?

— Несколько тысяч?! Вы шутите! Колония переполнена. Не говоря уж о том, что это вызовет неминуемые осложнения.

— Насколько я помню, одним из условий ассигновок было отсутствие дискриминации.

— Это не дискриминация, мы приняли большую группу пуэрториканцев. Были поляки, чехи, венгры — все они рассеялись, устремились в города. Русские осели, не хотят двигаться, может, у них меньше энергии, инициативы.

Его перебил раздражительный депутат из Монтаны.

— Не пора ли открыть глаза! Плавильный котел, в котором ничто не расплавляется! Национальные и религиозные группы сохраняют свои особенности.

— Не важно, не важно ... Одно, два поколения и все сольются.

— Не одно и не два. Некоторые группы существуют сотни лет

и даже растут.

Спокойный, молчаливый сосед Фореста скрипнул стулом и поднял руку.

— Разрешите мне? Я меннонит, в детстве, вернее подростком, я ненавидел своих родителей, стыдился, что они не похожи на других, их отсталости, их обычаев. Мне казалось, товарищи меня презирают, смеются надо мной. Я мечтал уехать, сделаться таким, как все люди. Позднее сознание неполноценности переродилось в вызов, во мне развилась гордость вместо стыда. Я слушал рассказы о том, как нас преследовали на старой родине, потому что мы были лучше, чище, а мы остались тверды и верны заветам Бога. Я думаю подобные чувства держат и других.

— Поскольку это не касается основных законов ...

— А как относительно воинской повинности, не говоря уже о...

— Господа, разве это важно? Отдельные люди сохраняют свои особенности, это даже помогает общей работе. Так же могут и отдельные группы...

— Всё это предрассудки — люди одинаковы, везде есть хорошие и плохие.

— Если одинаковы, почему у нас предубеждение против Южной Европы? Откуда идея о превосходстве северян?

— Во-первых, религия, католицизм, влияние Рима...

— Всё это в прошлом, мы рады принять всех. Добрые дела вознаграждаются — мы поможем им, они будут вкладывать свой труд в нашу культуру.

— Мы опять отвлеклись, так мы никогда не кончим. Что-то надо придумать с этими азиатами. М-р Форест, вы человек энергичный, может, вы что-нибудь знаете?

— Подумаю, но не обещаю.

В начале декабря он уехал искать пристанище для новых американцев. Чем дальше отъезжал он от Нью Йорка, тем заметней делалась разница. Мировые события доходили сюда в смягченной форме. Люди читали местные газеты, жили местными интересами.

Но и сюда уже проникал дух восточного побережья. Энергичные нью-йоркские дельцы скупали за бесценок земли. Длинные автомобили попадались на каждом шагу. Пришельцев

узнавали по быстрой походке, по бегающим, осторожным взглядам. Кое-где шла стройка великолепных — сталь и стекло — фабрик.

Местные жители смотрели недоверчиво, читали расклеенные объявления о наборе рабочих, качали головами и, подумав, шли записываться.

ГЛАВА 17

Форест вернулся в Нью Йорк накануне Рождества. Весь город был в огнях, голубой свет падал каскадами с высоты небоскребов. На всех лицах были улыбки, на груди у женщин розетки.

Целый год шла подготовка к празднику, в полутемных мастерских строчили тысячи одинаковых платьев, пришивали хвосты плюшевым зверям, художники обдумывали выставки для витрин, инженеры изобретали новые игрушки.

Уже с октября толпы женщин наводняли улицы, перебегали из одной лавки в другую, возвращались домой в переполненных автобусах, измученные, обвешанные покупками. Выручки магазинов достигали фантастических размеров, почтовые отделения продавали марок за один месяц больше, чем за остальной год.

Спешите! Спешите! — торопили газеты. — Осталось двадцать дней, пятнадцать, десять ...

Автомобиль еле двигался, шофер сворачивал то вправо, то влево. Форест сидел, наклонившись вперед, нетерпеливо смотрел по сторонам. На углу 67-й электрический ангел благословлял движение с высоты. На узкой полоске газона перед его домом опять появились фигуры Богоматери с Младенцем, волхвов и фантастических зверей. Всё было как должно быть — мир и благоволение на земле.

Между тяжелыми шторами мигали электрические огни елки. Он поднялся на ступеньки с ключом наготове. Уже в передней пахнуло особым густым воздухом, полным запаха хвои, золотого блеска и рождественского печения.

Его встретили громкими приветствиями, доктор и Вальтер пытались что-то петь, две маленькие девочки в пышных бантах, сидевшие под елкой среди коробок с подарками, вскочили ему навстречу, Дана подставила нежную, благоухающую щеку. Она

сидела на полу около Тинни.

— Посмотри, какая она прелесть! — сказала Тинни поздоровавшись. — Никто не поверит, что у нее большие дети!

Дана смеялась довольная.

— Мама никогда не говорит ничего приятного, только критикует.

Любы в комнате не было, он нашел ее наверху, она сидела согнувшись, опустив голову на руку.

— Ах, это ты! Я думала ... Когда ты приехал? Я не слыхала.

— Я боялся не успею, такое движение... Все благополучно? А Тэд? Разве он не приехал?

— Он обещал. Придется немножко подождать. Ты очень голоден?

— Нет, нет, я пойду переоденусь.

— Дети, должно быть, устали, там такой шум, я лучше возьму их наверх.

Девочки стояли, взявшись за руки, прислушивались к голосам внизу.

— Ну, хотите посмотреть картинки? Эту книжку я подарила вашей маме, когда она была такая же, как вы. А это любимые сказки Тэдди. Хотите я почитаю?

Одна мотнула головой.

— Мы не любим сказок, — сказала другая.

— Ну, хорошо. Я вам покажу котяток, они недавно родились, еще слепые. Когда подрастут, я вам дам одного или двух.

— Они плохо пахнут.

Странные, чужие дети. На кого они похожи? Даже не на Дану, Дана была живей, веселей. Может, на своих голландских прародителей?

— Хотите идти вниз?

Девочки со всех ног бросились в гостиную на шум голосов, пение, знакомый суррогат телевизора.

Сели обедать, не дождавшись Тэдди. Форест рассказывал о своей поездке, о настроениях провинции. Люба передвигала вилкой куски индейки на тарелке и не слушала. Она первая услыхала шелест шин и вскочила. Извинившись перед гостями, Форест пошел за ней.

— Федя! Федя! Что случилось! Я так волновалась!

— Отец здесь? Он приехал?

Первый раз в жизни сын отодвинул ее в сторону и повернулся навстречу Форесту.

— Подожди! Не кричи! Что случилось? Лучше иди сюда! Говори, в чем дело?

— Я думал никогда не доеду... Безобразие! Возмутительно! Ни в одной цивилизованной стране...

— Но что? Что?

— Обыск, понимаешь!?

— Ну?

— Питер арестован, все возмущены... И ты говоришь, что мы живем в свободной стране! Всё перевернули, забрали вещи и его самого. И даже не желают объяснять! Это называется демократия! Их надо под суд! Они за это поплатятся! Он решительно ни в чем не виноват! Ты должен помочь. Я за него ручаюсь. Позвони этим идиотам — тебе поверят!

— Успокойся и расскажи все сначала!

— Ты же знаешь! Была демонстрация. Во всех университетах, не только у нас. И все было бы мирно, если б не вызвали полицию... Зачем это было нужно? Ну, мы заперли двери, чтоб нам не мешали. Говорили речи, пели... народу было полно. Кто-то надавил окно и разбил стекло. Теперь они говорят, что нарочно, будто бросали бутылки в полицию и кого-то ранили. Все ложь! Они взломали двери и приказали разойтись. Почему? Неужели мы не имеем права обсуждать наши проблемы? Приказали сию минуту очистить здание. Начался бедлам, шум, свист... Они привинтили шланг и стали поливать нас холодной водой!

— По какому поводу демонстрация?

— Ну, вообще для поддержки товарищей. Везде идут демонстрации, не только у нас. Теперь вдруг арестовали Питера. Причем тут он? Никто не организовывал, все стали выходить из общежитий, из аудиторий — никто не говорил, что делать! Они и меня допрашивали. Знаю ли я его настоящее имя. Не все ли равно. Каждый имеет право называться как хочет! Будто он приехал по чужому паспорту... Ну, и что ж? Если не позволили по своему!

— Подожди, не кричи! Дело в том, что сейчас ищут людей, которые приезжают нелегально с целью пропаганды.

— Какой пропаганды? Какой-нибудь фанатик проповедует

никому не нужные идейки... Почему они не арестуют Билли Граам?

— Они имеют в виду идеи ведущие к разрушению существующего порядка.

— А что хорошего в этом порядке?

— Хорошо, мы поговорим. А сейчас переоденься и иди обедать.

— Я не могу обедать, мне надо ехать, мы организуем протест, собираем подписи...

— Ну, и прекрасно. Пообедаешь и поедешь.

— Но ты обещаешь?

— Я подумаю.

Ольга Маслей

СЛОВО В АЛФАВИТЕ

Не верится? Но в русском алфавите,
Написанном без пауз, как одно,
Найдете вы, хоть полчаса ищите,
Всего лишь два словечка: "где" и "но".

"Г-д-е" — где (вы пишете без ятей)?
И можете добавить букву "ж":
"Где родина, да где ж — она?" Изъятий
Из русскости не много ли уже?

Где Петербург и где ж она, Журавна?
Где Лепель мой и где ж она, Чита?
России нет: развеяна, бесславна,
А на плечах — потяжелей креста!

Где (г-д-е), а если без вопроса,
То в нем ответ: где долгая зима,
Где в букварях изданья Наркомпроса
Свет изредка, а постоянно — тьма.

Им хочется сильнее затуманить,
Толкнуть во мрак безмыслия назад.
"Но..." — юноши посмеют загорланить,
И выйдет шум: опять они дерзят!

" — Но... не хотим огульных приговоров!
Но... прошлое в сиянье золотом!
Но... разве бит нагайками Суворов?
Но... Пушкин-то воспитан не кнутом?"

Не первый раз над Русью ночь нависла,
Не первый век туманно и темно.
Лишь азбука хранит остатки смысла:
Укором "где" и возраженьем "но"!

Валерий Перелешин

САМА ПО СЕБЕ

О ПОЭТЕ ЛИДИИ АЛЕКСЕЕВОЙ

У всех своя дорога:
Я выбрала свою.

Л. Алексеева

Есть поэты, которых ни на какую полочку не сунешь, которым никакого ярлыка не нацепишь. Как у Киплинга — "дикий кот, который ходил сам по себе". Такой поэт обычно замкнут, неуступчив, держится в сторонке и ходит своей, особой тропкой, а не проселочной дорогой. Во многом именно такова наша Лидия Алексеева: с гордостью говорю — "наша", — крупный поэт нашего Зарубежья. Четыре книги стихов выпустила она за эти годы, и вот теперь вышла ее книжка — "Избранное": томик, украшенный изящной обложкой работы Сергея Голлербаха, с "александровскими" завитками букв "д", "в" и "з". Книга эта, очевидно задумана как итоговая: взяты наиболее значительные стихи из прежних сборников, и в этот устоявшийся водоем вливается поток новых стихов.

Итоговая? Это невеселое слово. Зачем подводить какую-то черту, — ведь поэт будет еще "продолжаться"! Но уж раз такая мысль была, верно, у самого автора, — ладно, попробуем сказать об итогах.

Итоги для нас ясны: ни на шаг не отступила Алексеева с тех своих поэтических позиций, на которых стояла и смолоду. Не поддалась на легкий соблазн новаторства, не убоялась опасности показаться однообразной и перепевающей одно и то же. С великолепным презрением к литературной моде, к поэтическому

снобизму, — она, как делала, так и делает свое тихое одинокое дело, и оно выступает перед нами все чище, все нетронутее, как лес после дождя. Алексеевой не нужны и не важны ни изыски формы, ни острота и оригинальность тем. У нее свое хозяйство — лесное, травное, звериное, как у Торо в Вальдене. Только она еще свободнее, чем Торо: у того был домик в лесу (а всякая собственность связывает!); а Алексеева странницей проходит мимо всех домиков и всех порогов:

Я — странник запыленный,
Ищу в пути приют,
А мне воды соленой
Напиться подают.

Смеются у порога,
Но я покорно пью:
У всех своя дорога,
Я выбрала свою!

И идет дальше — мимо лесных часовенок тирольских, мимо лесопилок кэтскильских, мимо чужого уюта, спящих чужих котов: помните? Ведь это уже стало классикой:

Я привыкла трястись в дороге,
И не будят тоски во мне
Спящий кот на чужом пороге
И герань на чужом окне.

Но молюсь, как о малом чуде,
Богу милости и тепла,
Чтоб кота не вспугнули люди
И чтоб жарче герань цвела.

...Деревья. Небо. Вода. Мир малых тварей. Мысль о смерти. Боль об ушедших. О какое богатое хозяйство у Алексеевой, и какую глубину задевают ее стихи! С таким хозяйством у нее дела по горло: некогда пускаться в оригинальничанье и эпатированье читателя. Некогда и не к чему.

... И родство с косулей, крокусом и тлей,
Кровное со зверем, травное с землей...
Л. А.

В природу (неловкое это в нашем языке, какое-то скучное слово: жаль, что нет у нас эквивалента чудесного английского wildlife) — в природу Алексеева вросла органически.

Мой стих растет поленницей
На вырубке лесной, —

Пахучей, неотесанной,
Увязнувшей во мхи...
Крест-накрест в ней набросаны
Смолистые стихи...

Алексеева не наблюдает извне: она растворяется в лиственном, древесном, зверином мире, становится то буком, то рябиной; она и молится — "шурша, без слов и мыслей", как "осина легкая". Или кровно горюет всем нутром о погубленных друзьях-деревьях: о срубленной ели—

Словно любимого зверя
Кто-то убил у меня...,

о ясене: но в этом чудесном стихотворении боль смягчена твердым упованием на встречу в ином мире, — поэт говорит срубленному ясеню:

Мой друг, с покорной простотой
Тепло отдавший людям!
Теперь твой дух за той чертой,
Где все мы вместе будем.

Теперь ты в облачном саду,
Где жечь и резать — нечем,
И я иду к тебе, иду
Для неразлучной встречи!

Она, кочуя, побывала и в белке, и в сверчке. "Пожелай себе звериной доли — о душа!" — говорит Алексеева.

Но боль за обижаемых меньших братий — тварей земных —

и гнев на их палача — человека — вырастают в неудержимый плач, и тут тихий голос Алексеевой звучит как колокол:

Пока дышу, пока еще жива
Прости мне, лес! Прости меня, трава!

Хочу упасть на эту землю ниц,
Просить прощенья у зверей и птиц.

Последней жизни обрывая нить,
Прости нам, Боже!
Хоть нельзя простить.

Невольно вспоминаются слова из поэмы Макс. Волошина "Святой Серафим", где преподобный говорит:

Человек над тварями поставлен
И за них ответит перед Богом.
Велика вина его пред зверем,
Пред домашней тварью — особливо.

И я стою в окне
Вагона всех разлук.
Л. А.

Мастер, выбравший себе такую отдельную от всех, неторную тропку — не может не быть одинок. Для стихов-то это хорошо. Отсюда — и глубина творчества Алексеевой. Но не всегда легко нести эту ношу:

Ни к чьему не примыкая стану
И ничьей не покорясь звезде,
Я уже нигде своей не стану,
Дома не найду уже нигде.

Сквозь земные горькие обиды
Чужестранкой призрачной бреду,
Как печальный житель Атлантиды,
Уцелевший на свою беду.

Это одиночество возводит на большую высоту. Но на высоте

всегда холодно. Помните, какие удивительные строки написала Алексеева об одиночестве индивидуального воплощения?

Я спала как серый мрамор в глыбе
Мысль невоплощенная Твоя.
Ты меня резцом из камня выбил,
Для отдельной жизни изваял.

И раскрылось мраморное око
И увидело, что мир во-вне.
Я сотворена. Я одинока.
Я свободна. Что же страшно мне?

Ветер, облака — уже не братья,
И земля — не мой родимый дом...
Не оставь теперь меня, Ваятель,
В первом одиночестве моем!

Это важная грань творчества Алексеевой: путь глубоких внутренних прозрений, восходящий корнями своими к Тютчеву.

Очень сильны у Алексеевой закрепленные в стихах моменты ощущения нескольких пластов подсознания:

... Кто это смотрит на меня?
Кто в зеркале моем?

Не я, о нет — я выше их,
Глядящихся в упор:
Я тот, кто видел и постиг
Немой их разговор.

Смерть. Присутствие смерти за плечами. Зорко смотрит Алексеева, и как бы в беспощадно-резком дневном свете показывает нам эту ледяную вспышку страха.

Всех дел не переделаешь,
Всех писем не напишешь,
Всех книг не перечтешь.
Все ближе стужа белая,
Зимой последней дышишь,
Последний ветер пьешь.

Разве не чудо, что ледяной этот страх рождает вечные стихи то есть вечную красоту — то есть бессмертие? Поистине, по слову великого поэта —

"... мертвому дано рождать
Бушующее жизнью слово!"

Не знаю, удалось ли мне полно и цельно очертить облик поэта — Лидии Алексеевой. Вот она — стоит, по обычаю своему, в стороне от всех, тихо и как будто отчужденно. Но ничего не утаивает: смотрит на мир, на нас — открыто, трезво. Точная, честная с собой: так она видит, так пишет. Голос ее — сдержанный, ровный. Но иногда — взрывом творческого огня разрушается покров трезвости и сдержанности. Таким "взрывом", не частым у Алексеевой, я хочу закончить свой очерк.

Но если я — не раб лукавый?
Но если я не вся умру?
Но если слово жаркой лавой
Прорвет застывшую кору?

О как я радостно верну
Мой дом — мой мир — мое жилище
И поднимусь беспечной нищей
В Твою высокую страну!

Ольга Анстей

*

Вот дом ее. Смущается влюбленный,
Завидя этот величавый гроб.
Здесь к ледяному мрамору колонны
Она безумный прижимает лоб —

И прочь идет, заламывая руки.
Струится плащ со скорбного плеча,
Идет она, тоскливо волоча,
За шагом шаг, ярмо любовной муки.

Остановись. Прислушайся. Молчи!
Трагической уподобляясь музе,
Ты слышишь? — испускает вопль в ночи
Безумная Элеонора Дузе.

*

На запад, на восток всмотрись, внемли,
Об этих днях напишет новый Пимен,
Что ненависти пламень был взаимен
У сих народов моря и земли.

Мы все пройдем, но устоят Кремли
И по церквам не отзвучит прокимен,
И также будет пламенен и дымен
Закат золотоперистый вдали.

И человек иную жизнь наладит,
На лад иной цевницы зазвучат,
И в тихий час старик сберет внучат:
"Вот этим думал победить мой прадед",
Он вымолвит, печально поражен, —
И праздный меч не вынет из ножён.

София Парнок
(Сообщил Валерий Перелешин)

БОЛЕЗНЬ ДОСТОЕВСКОГО И ЕГО ТВОРЧЕСТВО

Известно, что Достоевский был болен эпилепсией (падучей болезнью). Менее известно, когда эта болезнь у него началась, т.к. еще до каторги (во время которой у него начались припадки) он страдал каким-то нервным или психическим заболеванием. Что это была за болезнь — точно не выяснено. Существует мнение, что это было начало эпилептического заболевания, или оно в латентной форме.

Самое главное, однако, для нас, изучающих его творчество, это выяснение того, как его болезнь повлияла на его творчество. Обратимся к материалу его биографии, воспоминаниям современников, письмам и его произведениям, чтобы попытаться ответить на эти вопросы.

Чем был болен писатель за свою жизнь? История болезней начинается с 1837 г., когда он заболел сильным воспалением горла, которое лечили гомеопатическими средствами, не оказавшими никакой пользы, болезнь сама прошла через некоторе время, но у него на всю жизнь остался глубокий, хриплый, глухой голос. Начиная с 1848 г. он всю жизнь страдал от геморроя. В 1874 г. зимой он сильно простудился, выходя из жарко натопленной редакции "Гражданина", почувствовал, приступы удушья. Его лечили сжатым воздухом под колоколом в клинике д-ра Симонова. Постепенно болезнь перешла в эмфизему, от которой он лечился, главным образом, на минеральных водах в Германии во время своих поездок в Бад Эмс в 1874, 1875 - 1876 и 1879. Эта болезнь и свела его в могилу 28 января 1881 г. Один из лечивших его врачей считал, что у него

был туберкулез.

Все эти заболевания отразились на его творчестве в незначительной степени, выводя его из строя на несколько дней, недель, не оказывая никакого более глубокого влияния.

Другое дело, как мы увидим, его эпилепсия, а также то нервное заболевание, о котором он сам говорит уже в молодости и следы которого некоторые исследователи видят даже в его детстве (эпизод с галлюцинацией, описанный им в рассказе "Мужик Марей", когда ему послышалось, как кто-то закричал "волк бежит", и он в страхе побежал из леса и встретил пахавшего в поле мужика Марея). Тот его успокоил, сказав, что волка нет и что ему крик только померещился. Достоевский продолжает в "Дневнике писателя" (1876 г.): "крик был... такой ясный и отчетливый, но такие крики (не об одних волках) мне уже раз или два и прежде мерещились, и я знал про то. Потом, с детства, эти галлюсинации прошли".

Судя по всему, мальчиком он был впечатлительным и нервным; он сам говорил своему другу доктору Яновскому, что у него в детстве бывали "нервные явления". Смерть отца от кровоизлияния в мозг в 1839 г. произвела на сына сильнейшее впечатление и будто бы тогда у него был первый припадок. Но припадок чего? По словам А.С. Суворина, это был припадок падучей. В 1881 он написал: "Нечто страшное, незабываемое", мучащее его случилось с ним в детстве, результатом чего явилась падучая болезнь. Хотя это же утверждали и его дочь Любовь и Орест Миллер, фактически это не доказано и вернее всего, что падучей у него не было во все время, как он учился в Инженерном училище. Никто из его товарищей по училищу или преподавателей об этом не говорили.

Что же у него было? Его друг доктор Ризенкампф, с которым он жил некоторое время в одной квартире, когда служил по военному ведомству, рассказывает в своих воспоминаниях, что Достоевский жаловался ему на то, что он по ночам слышит, как будто кто-то храпит рядом и это мешает ему спать. Он также опасался, что он может заснуть летаргическим сном и часто оставлял записки близким, чтобы, если он умрет ночью, его бы не хоронили раньше трех дней. Он был крайне раздражителен и испытывал необъяснимый страх перед чем-то не-

известным. Его приятель писатель Григорович, рассказал о том, как однажды с Достоевским случился на улице припадок — он потерял сознание после того, как встретил на улице похоронную процессию. После припадков такого рода, говорит Григорович, у его друга наступала депрессия, продолжавшаяся два-три дня.

Другой приятель Достоевского и его врач Яновский, встретил однажды Достоевского на Сенатской площади без шляпы, с расстегнутым сюртуком, поддерживаемого прохожими, закричавшего увидев Яновского: "Вот мой спаситель". В это время у него часто бывали приливы крови к голове, которые он шутя называл "кондрашками". Сердцебиение его бывало нерегулярное и пульс ускоренный, как у очень нервных людей.

После 1845 г. у Достоевского периоды возбуждения и подъема сменяются периодами депрессии; он в письмах жалуется на боязнь сойти с ума, заболеть "горячкой". В апреле 1846 г. он пишет, что был на два шага от смерти, заболев общим раздражением нервной системы, отразившимся на деятельности сердца. Периоды подъема и упадка настроения чередуются в зависимости от литературных успехов и неудач; все это усугубляется лихорадочным темпом литературной работы по ночам, неумеренным курением и неправильным питанием. В Петропавловской крепости, после ареста, его состояние ухудшается, наступают приступы удушья, бессонница, или ночные кошмары, иногда ощущение, что земля колеблется под ногами.

Весьма возможно, что Достоевский был накануне серьезного психического заболевания типа шизофрении. На его счастье, его способность самоанализа (см. его письма к брату Михаилу в 1847 г.) и постоянное самонаблюдение позволили ему свое болезненное состояние "экстерьеризировать" — освободиться от него, изобразив его в таких своих героях как Голядкин, "человек из подполья", мечтатели, как бы передав им свою тенденцию к раздвоению личности.

Некоторые психиатры утверждают, что такого рода симптомы могут быть предвестниками будущей эпилепсии, другие, что это начало какой-то формы психоза, типа галлюцинаторно-бредового.

Нет сомнения, что в Сибири на каторге у Достоевского

начались настоящие припадки эпилепсии; насчет того, что конкретно вызвало первый такой припадок, существуют разногласия: по словам врача тюрьмы Троцкого, в 1851 г., когда Достоевский лежал больной на нарах, в камеру ворвался майор Кривцов, комендант, и наказал его розгами за то, что он не вышел на работу. Тогда случился первый припадок падучей (об этом писал доктор Ризенкампф, приехавший в Омск в 1851 г., брату Ф. М. — Андрею в 1881 г.). По словам одного из солдат, переданных литератором П. К. Мартьяновым, Достоевский лежал на нарах после первого припадка падучей и по этой причине не был подвергнут порке после вмешательства генерала де Граве. Сам Достоевский писал Михаилу, что "каналья" Кривцов преследовал его и угрожал ему телесным наказанием. Наконец, майор Ермаков, врач 7-го Сибирского батальона, в котором служил Достоевский после каторги, писал в официальном рапорте в 1857 г., что он первый раз испытал припадок падучей в 1850 г., продолжавшийся четверть часа, а с 1853 г. припадки повторяются в конце каждого месяца.

Сам писатель в прошении на Высочайшее имя писал, что эпилепсия наступила во время первого года каторги, т.е. в 1850 г. Его друг, врач Яновский считал, что еще в 1847 г. начинаются у Достоевского слабые припадки, перешедшие потом в Сибири в настоящую эпилепсию. Наконец, племянница Ф. М., Е. А. Рыкачева писала, что ей сказала Анна Григорьевна, вдова писателя, что он говорил г-же Абаза, что эпилепсия развилась у него оттого, что, будучи страстного характера, он не мог, опасаясь наказания, удовлетворять свою страсть на каторге и что будто бы из-за этого начал страдать эпилепсией.

Как бы то ни было, но до 1850 г. Достоевский не подозревал, что у него эпилепсия, даже если допустить, что она была тогда в зачаточной форме. Он, однако, знал о ней и описал ее в своем раннем произведении "Хозяйка", выведя Мурина; вероятно для этого он прочитал о течении болезни и ее признаках в тех медицинских книгах, которые брал у доктора Яновского, стараясь выяснить, какого рода его собственные нервные недомогания. Если бы Яновский сказал ему о своих подозрениях, что у него начало падучей, то Достоевский на преминул бы упомянуть о ней в своем показании перед Следственной комис-

сией по делу петрашевцев, когда писал только о "припадках ипохондрии". Он не раз и в других случаях говорил и писал об ипохондрии, которой страдал до 1848 г.: Тотлебену, Врангелю и тому же Яновскому, которому написал, что он страдал душевной болезнью до Сибири, от которой он вполне излечился из-за испытаний процесса, и каторги (письмо от 1872 г.; Врангелю в 1857 г. он написал то же самое).

В ссылке он отдает себе отчет в опасности болезни, хотя приступы ее еще сравнительно редки. В 1856 г. он пишет Врангелю, что хотел бы вернуться в Россию (из Сибири), чтобы полечиться у хороших врачей. Приступы ослабляют его память и способности, и он боится потерять рассудок.

Чрезвычайно трагическим был один припадок Достоевского, на следующую ночь после свадьбы с первой женой Марией Дмитриевной. По пути из Кузнецка, где была свадьба, в Семипалатинск он остановился с женой у П. С. Семенова-Тянь Шанского в Барнауле, и там с ним случился сильнейший припадок, как он писал своему брату Михаилу: "Тут меня постигло несчастье — совсем неожиданно случился со мной припадок эпилепсии, перепугавший до смерти жену, а меня наполнивший грустью и унынием". Она с отвращением и ужасом увидела своего мужа воющим и бьющимся в припадке. "Доктор сказал мне, — продолжает он, — что у меня настоящая падучая и что я в один из этих припадков должен ожидать, что задохнусь от горловой спазмы и умру не иначе, как от этого... Женясь, я совершенно верил докторам, которые уверяли меня, что это просто нервные припадки, которые могут пройти с переменой образа жизни. Если бы я знал, что у меня настоящая падучая, я бы не женился".

Как протекал этот припадок? Мы имеем описание типичного припадка эпилепсии в воспоминаниях его второй жены Анны Григорьевны. Вскоре после свадьбы молодожены были в гостях у сестры А. Г. Когда гости разъехались "Федор Михайлович был чрезвычайно оживлен и что-то рассказывал. Вдруг он прервал на полуслове свою речь, побледнел, привстал с дивана и начал наклоняться в мою сторону. Я с изумлением смотрела на его изменившееся лицо. Но вдруг раздался ужасный, нечеловеческий крик, вернее вопль, и Ф.М-ч начал склоняться вперед...

бесчувственное тело моего мужа сползает с дивана... Мало-помалому судороги прекратились и Ф.М-ч стал приходить в себя; сначала не сознавал, где находится и даже потерял свободу речи: он все хотел что-то сказать, но вместо одного слова произносил другое, понять его было невозможно... Только через полчаса нам удалось поднять его и уложить на диван".

Н. Н. Страхов оставил похожее описание припадка падучей, случившегося в 1863 г.: "Ф.М-ч говорил что-то высокое и радостное... одушевление его достигло высшей точки... вдруг из его рта вышел странный, протяжный и бессмысленный звук, и он без чувств опустился на пол среди комнаты. Припадок на этот раз был не из сильных. Вследствие судорог все тело его только вытягивалось и на углах губ показалась пена. Через полчаса он пришел в себя..."

Н. Н. Страхов сообщил очень важные подробности в своих воспоминаниях о Достоевском. "Припадки случались с ним приблизительно раз в месяц, но иногда, хотя очень редко, были чаще; бывало даже и по два припадка в неделю. За границей, т.е. при большем спокойствии, а также вследствие лучшего климата, случалось, что четыре месяца проходило без припадка. Больной терял память и дня два или три чувствовал себя совершенно разбитым. Душевное состояние его было очень тяжело; он едва справлялся со своей тоской и впечатлительностью... он чувствовал себя каким-то преступником, ему казалось, что над ним тяготеет неведомая вина, великое злодейство. Много раз мне рассказывал Ф.М-ч, что перед припадком у него бывают минуты восторженного состояния". "На несколько мгновений, — говорил он, — я испытываю такое счастье, которое невозможно в обыкновенном состоянии и о котором не имеют понятия другие люди. Я чувствую полную гармонию в себе и во всем мире, и это чувство так сильно и сладко, что за несколько секунд такого блаженства можно отдать десять лет жизни, пожалуй, всю жизнь".

"Впоследствии мне случалось слышать от него, что для излечения от падучей доктора одним из главных условий ставили — прекратить вовсе писание. Сделать этого, разумеется, не было возможности... решиться на жизнь без исполнения того, что он считал своим призванием".

Запомним эти очень важные свидетельства. Более важными, однако, являются собственные записи писателя о его припадках, которые разбросаны в дневниках, письмах. Он подтверждает, что все врачи, которых он консультировал относительно эпилепсии, заявляли, что для выздоровления ему необходимо прекратить литературный труд. Мысль эта, даже не приходила ему в голову, он предпочитал страдать, но не прекращать деятельности, которая составляла для него и смысл жизни и долг его, как человека, писателя и христианина (не зарывать таланта). Можно ли это назвать литературным героизмом? Сам он так не называл и не хвалился той жертвой, которую приносил. А жертва была немалая.

В своих "Записных тетрадях" он писал, что до 1869 г. припадки происходили в среднем через три недели, иногда через шесть, иногда каждые десять дней. В 1869 г. он насчитал несколько припадков, причем заметил, что во время пребывания во Флоренции у него были очень редко припадки, а потом 3 августа, 10-го в Праге, 19-го в Дрездене, 4-го и 14 сентября и очень сильный 30 сентября.

За 1873, 1874, 1875 и за 1879-80 его записи насчитывают много припадков с описаниями некоторых из них и с предположениями о причинах учащения припадков (положение луны, погода, напряженная работа). За весь 1873 г. он насчитал 8 припадков (с апреля по апрель 1874); за весь 1874 г. тоже 8 припадков, из них 5 сильных. В 1875 г. 2 в январе и очень сильный 8 апреля в полнолуние после недели сырой погоды. В 1876 припадки учащаются после апреля (до этого только в январе), 7-го мая, 14-го, в июне 6-го и 13-го, в августе два, по одному в октябре и ноябре. За год, с октября 1879 по октябрь 1880, семь припадков, о последнем 6 ноября он пишет: "Болезненное состояние очень трудно переносилось и продолжалось почти неделю. Чем дальше, тем слабее становится организм к перенесению припадков и тем сильнее их действие".

В своей "Записной тетради" за 1864-5 гг. Достоевский так написал о своей болезни: "Да, я болен падучею болезнью, которую имел несчастье получить 12 лет назад, получил в неприятную эпоху жизни. Болезнь в позор не ставится. Но падучая болезнь не мешает деятельности. Было много даже великих

людей в падучей болезни, из них один даже полмира перевернул по-своему, несмотря на то, что был в падучей болезни..." То же в "Необходимом заявлении".

Мы видим, что он относит начало эпилепсии у него к 1852 г. Великий человек, перевернувший полмира, вероятно, Магомет. Софья Ковалевская передает рассказ Достоевского о его первом припадке эпилепсии на поселении после каторги: "Он томился одиночеством... вдруг неожиданно приехал один его старый товарищ... в ночь перед светлым Христовым воскресеньем они забыли, какая это ночь, разговаривая и пьянея от собственных слов, говорили о литературе, искусстве и философии, коснулись религии. Товарищ был атеист, Достоевский — верующий, оба горячо убежденные, каждый в своем. "Бог есть, есть!" — закричал наконец Достоевский вне себя от возбуждения. В эту самую минуту ударил колокол соседней церкви к светлой Христовой заутрени, воздух весь загудел и заколыхался. "И я почувствовал, — рассказал Ф.М., — что небо сошло на землю и поглотило меня. Я реально постиг Бога и проникся Им. Да, есть Бог! — закричал я! — и не помню больше ничего... Вы все, здоровые люди, и не подозреваете, что такое счастье, то счастье, которое испытываем мы, эпилептики, за секунду перед припадком. Магомет уверяет в своем Коране, что видел рай и был в нем. Все умные дураки убеждены, что он просто лгун и обманщик. Ан нет! Он не лжет! Он действительно бы в раю в припадке падучей, которою страдал, как и я. Не знаю, длится ли это блаженство секунды, или часы, или месяцы, но верьте слову, все радости, которые может дать жизнь, не взял бы я за него". Достоевский проговорил эти слова свойственным ему страстным порывчатым шепотом... нам всем пришла мысль: сейчас будет припадок. Рот его нервно кривился, все лицо передергивалось... Он вдруг оборвал свою речь, провел рукой по лицу и зло улыбнулся: "Не бойтесь, я всегда знаю наперед, когда это приходит".

В своем романе "Идиот" Достоевский устами кн. Мышкина как раз и описывает такое состояние: "В эпилептическом состоянии была одна степень почти перед самым припадком (если только припадок приходил наяву), когда вдруг, среди грусти, душевного мрака, давления, мгновениями как бы

воспламенялся его мозг и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознания почти удесятерялись в эти мгновения, продолжавшиеся как молнии. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной гармоничной радости и надежды".

Перед исследователем болезни Достоевского возникает несколько вопросов: непосредственные причины припадков, состояние экстаза, блаженства или ауры перед припадком и, наконец, в каком отношении к творчеству были эти припадки падучей. Обыкновенно поводом или непосредственной причиной припадков были: возбуждение, вызванное алкоголем (он редко и мало пил), напр. шампанским после свадьбы, половым общением ("неосторожность" в его дневнике), напряжением в литературной работе, (напр., решением переделать весь план романа), резкая перемена погоды, возбуждение спором или какой-нибудь идеей, чувством. Возбуждение от игры почему-то не вызывали припадков, смерть близких (жена, дочь) — тоже.

Мог ли он предчувствовать припадок падучей? Как мы видели он об этом говорил С. Ковалевской. В "Братьях Карамазовых" Смердяков более осторожно говорит об этом: "Падучую нельзя предсказать вперед днем и часом, но предчувствие всегда можно иметь". Предчувствие припадка описано, напр., в романе "Идиот", когда кн. Мышкин бродит по городу в беспокойстве, предчувствуя, что что-то должно случиться; темная туча, темная лестница увеличивают это тягостное чувство. Бесцельная ходьба, один из признаков предстоящего припадка эпилепсии, по мнению врачей, равно как и галлюцинации и чувство "уже виденного" или слышанного, примеров чего немало в романах Достоевского. Иван Иванович из "Униженных и оскорбленных" переживает это гнетущие чувство, когда встречает старика Смита, а также Ордынов в повести "Хозяйка".

Особо следует остановиться на феномене "ауры" или состояния блаженства перед самым припадком. Современная невропатология заинтересовалась явлениями эпилепсии, описанными Достоевским в его произведениях. Начиная с Фрейда, эти явления пытались объяснить психиатры и невропатологи. Теория

Фрейда и ее выводы в отношении писателя теперь отвергаются ("Эдипов комплекс" — желание смерти отца, неосознанное стремление к кровосмешению и т.д.). Современные психиатры и невропатологи отбрасывают, как недоказанные, гипотезы о склонности Достоевского к гомосексуализму, к кровосмешению, о ненависти к отцу. Предположение о насильственной смерти отца и шока, якобы испытанного сыном при известии о нем, достаточно убедительно опровергнуто было Джозефом Франком в его замечательной книге ("The Seeds of Revolt 1821-1849", Prinston. 1976, остановившимся к тому же на переписке Фрейда с Стефаном Цвейгом и отвергающим свидетельство дочери Достоевского Любови.

Большинство современных ученых считали, на основании изучения описаний Достоевским случаев эпилепсии, что он страдал от височной формы болезни, вызванной повреждением височной доли, т. к. в этих случаях якобы бывают видения ауры, восторга экстаза перед наступлением припадка. Таково, напр., мнение проф. Алажаунина в его исследовании 1963 г. (Theophile Alajouanine "Dostoïevski épileptique" в "Le Nouveau Commerce" Vol. 2 1963. p. 125). Он приводит в качестве доказательств расстройства в отношении ощущений, слуха, зрения, речи, бессознательных движений, чувств, наступление восторга перед припадком падучей с конвульсиями, перед припадком поиски чего-то, навязчивые идеи, впечатления уже виденного и слышанного, галлюцинации с кинематографической скоростью, мечтательность с видениями, полубессознательное состояние и т.д. Ученый подчеркивает, что описание Достоевским состояния "ауры" или восторга перед припадком — редкий вклад в науку об эпилепсии и важный для врачей, встречающих именно этот тип болезни.

Самое любопытное, однако, состоит в том, что описания Достоевским явлений падучей вызвало в самое последнее время новый интерес, т.к. выводы проф. Алажуанина теперь оспариваются другим авторитетом медицинской науки проф. Анри Гасто, который, после ознакомления со статьями французского исследователя творчества Достоевского Жака Катто, пришел совсем к другому выводу, чем Алажаунин. В своем сообщении "Непреднамеренный вклад Достоевского в симптоматологию височной эпилепсии"он приходит к выводу,что писатель

страдал не височной органической эпилепсией, следствием повреждения височной доли, а функциональной формой эпилепсии, независимой от повреждения мозга, т.н. первичной. Явления, описанные Достоевским, на которые ссылается Алажуанин, наступали не во время припадка или перед ним, а после него, что противоречит явлению органической эпилепсии. Галлюцинации никогда не упоминались им в связи с припадками. Никакой случай "ауры" или восторга перед припадком не отмечен в записных книжках и письмах. Наоборот, признаки первичной эпилепсии изобилуют у него: предрасположенность к конвульсиям в семье, смерть от конвульсий сына писателя в трехлетнем возрасте, отсутствие невралгических признаков мозгового повреждения, случаи частых припадков во время сна, дрожь перед приступами, вздрагивание и спазмы. Вывод безапелляционен: несмотря на почти 400 случаев, описанных и пережитых писателем, ни один раз не было указаний на фокальный нерво-электрический разряд.

Что же касается "ауры" с экстазом или восторга, описанного Достоевским, то диагноз беспощаден: психическое состояние перед некоторыми очень редкими припадками, — довольно часто встречающийся подъем психической деятельности и настроения, истолкованные гением писателя в виде пароксизма восторга. Как Страхов, так и Анна Григорьевна, самые добросовестные свидетели, не упомянули о таком состоянии. Мы вернемся к этому вопросу, когда будем говорить о творческом преображении явлений эпилепсии в произведениях Достоевского.

Исследования явления "ауры" в форме экстаза или восторга в связи с эпилепсией, Гасто нашел, что в науке не было свидетельств об этом явлении до начала XX века, всегда речь шла о депрессивном и тоскливом состоянии перед припадками падучей (ужаса, неопределенной боязни чего-то, желания смерти). В начале века появились медицинские работы о падучей болезни Достоевского и явлениях "ауры", описанных им, но они рассматривались, как что-то исключительное, свойственное только гению. Наконец, после открытия "висковой" эпилепсии в середине века (работы Гасто, Шавани и Алажуанина) ей приписали ошибочно явления этой "ауры" и экстаза.

Вывод из всего этого проф. Гасто сделал следующий: "Достоевский сделал, не желая этого, вклад в эпилепсологию, указав исследователям — и больным этой болезнью, — что может быть плодотворное сосуществование литературного гения и болезни, без того, чтобы болезнь ослабила или истощила гениальность. Гений ни в какой степени не зависел от эпилепсии".

Что же представляют собой те явления, которые так замечательно описывал Достоевский в своих произведениях? По мнению Гасто, Достоевский придумал такое состояние блаженства и таким образом ввел врачей эпилепсологов в заблуждение. Но как же свидетельство Софии Ковалевской о рассказе его о первом припадке в Сибири? Как отнестись к рассказу Страхова?

Тут мы становимся в тупик. Может быть, наука еще пересмотрит свой приговор и найдены будут точно установленные случаи такого же блаженного состояния, о котором говорил и писал Достоевский?

Во всяком случае, трудно поверить, что все это — выдумка гениального писателя. Вернее это то, что он сам думал, что ошущал, особенно учитывая его религиозный характер. Он испытывал на какой-то момент необычайное возбуждение, которое после припадка он "рационализировал", как состояние блаженства, в противовес тяжелому состоянию после припадка. Недаром же он сослался на Магомета и его видения рая. Магомет мог точно так же "рационализировать" свой религиозный энтузиазм.

Переходим к проблеме творчества Достоевского и его связи с эпилепсией. Сразу же надо сказать, что болезнь ни в какой степени не помогла его гениальному творчеству, а была тяжелым переживанием и препятствием, она выводила его из строя на несколько дней, а то и недель. Гениальность его не от падучей, а несмотря на болезнь.

Страдая с молодости нервными явлениями, он большое внимание во всех своих произведениях уделял нервным и психическим ненормальностям своих героев. Проблема двойничества давно была предметом литературных произведений, но Достоевский изобразил двойника Голядкина совсем по-новому. Это

типичный клинический случай шизофрении, осложненной эротоманией и параноинальным заболеванием. Чувствуя в самом себе склонность к нервному заболеванию, писатель своим творчеством как бы сублимирует свои стремления и, изображая их в преувеличенной степени, создает литературное произведение, которое он очень высоко оценивал. Под всем этим кроется, конечно, реальность: тяжелое материальное положение героя, его несбыточные мечтания и желание принять желаемое за осуществимое.

Были критики и писатели, считавшие, что гениальность Достоевского происходила из-за его болезни — эпилепсии. Таким был, напр., известный немецкий писатель Томас Манн, рассуждавший о гениальности Ницше и Достоевского, испытывавший "мистический ужас" перед лицом "священной" болезни гения или болезни-гения. Он добавлял: "Я не знаю, что думают невропатологи о "священной болезни", по-моему корень ее в половой жизни, динамизм которой выражается в дикой и взрывчатой форме... Его (Достоевского) гений связан теснейшим образом с его болезнью... из-за нее у него его способность психологического проникновения, его знакомство с преступлением, то что в Апокалипсисе называется "сатанинскими глубинами"... Болезнь плодотворна, болезнь создает гения... Его герои потому и больны, что автор сам имеет в себе пороки, неврозы, основанные на эдиповом комплексе... Его творчество — продукт его "священной болезни". Вот до чего могут доходить иногда и большие писатели в своей критике.

При жизни Достоевского его творчество рассматривалось многими критиками и читателями, как продукт больного ума, изображающего душевно больных героев. И Белинский и А. Григорьев критиковали повести его "Двойник" и "Хозяйка" за патологический характер их героев. После появления романа "Бесы" левые критики осудили его за то, что герои его живут на грани сумасшествия и нормальной психологии (Михайловский), по мнению П. Ткачева, во всех своих произведениях Достоевский только и делает, что анализирует ненормальную психологию человека и описывает внутренний мир душевно больных людей; а Буренин писал об его героях, как о куче сумасшедших.

В своих произведениях Достоевский часто воспроизводил

сцены болезней, начиная с больных чахоткой, напр. Мармеладова. В более ранних произведениях встречаются сцены безумия и ненормальности в таких произведениях, как "Двойник", "Господин Прохарчин", "Хозяйка", "Слабое сердце", "Неточка Незванова" и др. Но это было в моде современной ему литературы на Западе, у таких писателей, как Е. Т. Гофманн, Бальзак, Жорж Санд и др. Когда по возвращении из ссылки обнаружилось, что писатель страдает падучей и не боится описывать ее приступы в таких романах, как "Идиот" и "Братья Карамазовы", о болезненности его произведений стали писать еще чаще, а сцены мучительства детей, развращенности таких персонажей, как Валковский, Свидригайлов, Трусоцкий и, наконец, Ставрогин, признающийся в растлении малолетней, то "слава" о ненормальности и половых извращениях самого писателя получила поддержку даже среди людей близко знавших его, таких, как Висковатов и Страхов.

В своем "Дневнике писателя" 1877 г. Достоевский ответил своим критикам так: "О 'слабости' моей к болезненным явлениям воли" я скажу... что мне действительно иногда удавалось в моих романах и повестях, *обличать* иных людей, считающих себя здоровыми, и доказать им, что они больны. Знаете ли вы, что весьма многие люди больны именно своим здоровьем, т.е. непомерной уверенностью в своей нормальности, и тем самым заражены страшным самомнением, бессовестным самолюбованием, доходящим иной раз чуть ли не до убеждения в своей непогрешимости".

И Голядкин, и Прохарчин, и Вася Шумков не достигают своей мечты Прохарчин не решается воспользоваться скопленным богатством и погибает в нищете. Это все — больные люди, кончающие сумасшествием или гибелью. И Ефимов из "Неточки Незвановой" принадлежит к тому же типу. Только герой "Белых ночей" не гибнет из-за мечтательности, потому что вместо дикой мечты он мечтает о красоте и любви, которая ему мелькнула в виде Вареньки и которой он остается верен на всю жизнь; две минуты блаженства спасают его от помешательства, это нормальное человеческое чувство восторжествовало над болезненным воображением. Достоевский, чувствуя болезненные симптомы в самом себе, их превозмог, использовав их в

литературных произведениях первого периода творчества.

Нервное напряжение, стимулируемое болезненными явлениями (кошмары, мучительная мечтательность, чувство качки ночью в постели и др.), заставляли его думать, что его нервы сдают, как он писал брату Михаилу в августе 1849 г., но состоянием нервности он пользовался, чтобы писать: "Тогда всегда пишется лучше и больше", точно так же, как Иван Петрович в "Униженных и оскорбленных". Он говорит Наташе: "У меня вырабатывается, в такую напряженную работу, какое-то особое раздражение нервов; я яснее соображаю, живее и глубже чувствую, и даже слог мне вполне подчиняется, так что в напряженной-то работе и лучше выходит". В другом месте он говорит, как бы от имени самого автора: "Нервы мои расстроены в сильной степени, и как будто слышу последние слова, сказанные мне моим доктором: "Нет, никакое здоровье не выдержит подобных напряжений, потому что это невозможно".

Мы можем, таким образом, прийти к следующему выводу относительно этого периода его творчества: он осилил болезнь и заставил ее служить своему творчеству.

По вопросу о том, насколько будущая эпилепсия нашла свое отражение в произведениях и героях этого периода творчества могут быть разные мнения — падучая описана только в одном произведении — "Хозяйке", где Мурин испытывает сильный припадок падучей. Автор мог познакомиться с явлением этой болезни по медицинским книгам, которые он брал у своих врачей-друзей.

В следующем периоде его жизни и творчества, после каторги, автор использует падучую, изображая припадки ее в своих произведениях, равно как и состояние до и после припадков. Так, в "Униженных и оскорбленных" он описывает три припадка эпилепсии у Нелли, главного персонажа романа, а также предприпадковое состояние другого главного героя и рассказчика Ивана Петровича (меланхолия, ночью состояние мистического ужаса, раздвоение личности). Особенно картинно изображение последнего припадка Нелли: тут и надвигающаяся гроза, наступившая тьма и страшное напряжение последних ее признаний.

"Раздался... удар грома... в комнате стемнело... Нелли была

в чрезвычайном нервном волнении. Мамаша, где моя мамаша? Проговорила она, протягивая свои дрожащие руки к нам, и вдруг страшный, ужасный крик вырвался из ее груди, судорога пробежала по лицу ее, и она в страшном припадке упала на пол".

В "Идиоте" картина припадков используется автором для того, чтобы подчеркнуть драматичность эпизодов, напр., покушение Рогожина на убийство князя, в гостиной у Епанчиных, и т.д. При первой встрече с Епанчиным князь рассказывает о своих припадках: "Если припадки повторялись несколько раз сряду, я впадал в полное отупение, терял совершенно память, а ум, хоть и работал, но логическое течение мысли как бы обрывалось. Больше двух или трех идей последовательно не мог связать сряду... Грусть во мне была нестерпимая..."

"Князь бродил без цели, уединение стало ему невыносимым... вот уже несколько часов он начинал как бы искать чего-то кругом себя... забудет и, вдруг опять оглянется с беспокойством и ищет кругом... ему вспомнилось, что он стоял на тротуаре около одной лавки и разглядывал товар в окне, он думал, не померещилось ли ему, что он стоял пять минут назад перед лавкой, существует ли это лавка?.. Он задумался о том, что в эпилептическом состоянии его была одна степень почти перед самым припадком, когда вдруг среди грусти и душевного мрака... мгновениями как бы воспламенялся его мозг и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его... Ум, сердце как бы озарялись необыкновенным светом; все сомнения, все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармоничной радости и гармонии ...эти проблески были только предчувствием той окончательной секунды, с которой начинался самый припадок. Эта секунда была, конечно, невыносима". И далее он размышляет: "Что же в том, что это — болезнь? Какое до того дело, что это напряжение ненормальное, если самый результат, если минута ощущения, припоминаемая и рассматриваемая уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени гармонией, красотой, дает неслыханное... чувство полноты, примирения и восторженного молитвенного слияния с самым высшим синтезом жизни?"

Достоевский приписывает своему герою собственные мысли

и ощущения или выдумывает состояние героя, возвышающего его над нормальными людьми? Гениальный литературный прием, или подлинная действительность? Князь возвращается в свою гостиницу: "в воротах и без того темных, в эту минуту было очень темно: надвигавшаяся грозовая туча поглотила вечерний свет, туча вдруг разверзлась". Князь вбежал на лестницу... "рука Рогожина поднялась и что-то блеснуло в ней... затем вдруг как бы что-то разверзлось перед ним: необычайный *внутренний* свет озарил его душу. Это мгновение продолжалось, может быть, полсекунды; но он, однако же, ясно и сознательно помнил начало, самый первый звук своего страшного вопля..."

Писатель мастерски использует сцену припадка и создает сильное впечатление: "князь отшатнулся от Рогожина и вдруг упал навзничь, прямо вниз по лестнице, с размаху ударившись затылком о каменную ступень... От конвульсий, биения и судорог тело больного спустилось по ступенькам до самого конца лестницы, целая лужица крови (была) около головы".

Таким образом писатель включает собственные болезненные переживания и ощущения (иногда сгущая и интерпретируя их) в текст литературного произведения — тут реальность и вымысел сливаются и одно дополняет другое в зависимости от требований художественности и идей автора. Где граница между нормальным и болезненным? Можно ли считать, как проф. Алажуанин, что блаженство, якобы испытываемое эпилептиком-гением — дар неба, как в поэмах Иоанна Креста — мистическое озарение, фаворский свет, достижимый постом и молитвой? Не есть ли это обман чувств из-за болезни, головокружение перед обмороком и припадком, истолкованное после припадка как блаженство?

Достоевский во всех своих произведениях и публицистике явно или скрыто тянется к золотому веку добра, любви и света. Кто князь Мышкин, как не отблеск Христа в человеческом обличьи, по мысли автора? В моменты "просветления", описанные Достоевским, в особенности в рассказе Ковалевской, христианский экстаз писателя сливается с его моментом ауры. Заметим, что из всех случаев эпилепсии, описанных в его произведениях, только кн. Мышкина он наделяет этим

сверхъестественным видением, т.е. аурой. Другие же его персонажи, мечтающие или которым снится, мерещится "золотой век", такие, как "смешной человек" из повести того же названия, Версилов из "Подростка", Кириллов и Ставрогин из "Бесов", либо отличаются болезненным характером, либо глубокой верой.

Видения наяву, напр., видение Свидригайловым убитой им жены рационализируется им следующим образом: "Привидения — это, т. ск. клочки и отрывки других миров, их начало. Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть... ну, а чуть заболел... тотчас и начинает сказываться возможность другого мира, и чем больше болен, тем и соприкосновения с другим миром больше... Я согласен, что привидения являются только больным людям, но ведь это только доказывает, что привидения могут являться не иначе, как больным, а не то, что их нет, самих по себе". Тут мастерство Достоевского при использовании болезненности своих героев обнаруживается в полной мере: он стирает грань между земной здешней реальностью и болезненными явлениями психики, необычайно расширяя свою палитру художника и усиливая эффект писателя-исследователя человеческих душ. Центр тяжести переносится с описаний сцен болезни, как в "Идиоте", к раскрытию при помощи болезненных явлений психики глубоких моральных и философских проблем. Болен ли Ставрогин, когда он хватает за нос почтенного члена клуба Гаганова и кусает мочку уха губернатора, признаки ли это приближающейся эпилепсии, или это нагнетание деталей для вырисовки психологичес ки-де монического портрета Ставрогина?

Достоевский творил, писал и до припадков и после припадков падучей, иногда после огромной, трудной работы, обычно ночью у него наступал рано утром припадок, наступление которого он предчувствовал, когда еще, не вполне оправившись от последствий припадка, он принимался за писания и рисковал новым припадком. Не писать он не мог, но его неукротимая энергия, его гениальная способность достигнуть совершенства в сочетании глубокой мысли, исключительной впечатляющей формы и художественного мастерства не только торжествовала над его болезнью, но как бы подхлестывалась болезненным состоянием, придававшим порывистость,

неистовство некоторым пассажам и делали его творчество уникальным.

Его способность находить в себе силы для творчества в самых трудных условиях, после самых ужасных испытаний можно иллюстрировать множеством примеров. Вот что писал он брату из Петропавловской крепости после приговора к каторге и после отмененной смертной казни в 1849 г.: "Брат, я не уныл и не упал духом... Жизнь везде жизнь в нас самих, а не во внешнем... Никогда еще таких обильных и здоровых запасов духовной жизни не кипело во мне, как теперь. Но вынесет ли тело, не знаю. Боже мой! Сколько образов, выжитых, созданных мною вновь погибнет, угаснет в моей голове, или отравой в крови разольется! Да, если нельзя будет писать, я погибну. Нет желчи и злобы в моей душе... Теперь, переменяя жизнь, перерождаюсь в новую форму... Жизнь — дар, жизнь — счастье".

Жизненной силы в нем было столько, столько желания жить и писать, что в ноябре 1880 г. за два месяца до смерти, он писал своему знакомому: "Позвольте мне не сказать Вам "прощайте". Я намерен жить и писать еще лет двадцать". Что это — болезнь или творческое здоровье, спрашивает себя, самый новый исследователь творчества Достоевского, Жак Катто в книге "Литературное творчество Достоевского".

Огромная сила, таившаяся в нем, как бы заострялась приступами болезни, вернее стремлением ее побороть. Это — редкий случай торжества духа над плотью. И этого не надо упускать из вида, когда мы изучаем его произведения и судим о них и о нем.

Н. В. Первушин

РОССИИ

Господь, Господь! Путей России
Открой неведомый конец...
Наш первый храм — был храм Софии,
Твоей Премудрости венец.

Но Дух сошел в темницу плоти
И в ней доселе не потух.
В языческом водовороте
Блуждает оскорбленный дух.

И восхотела стать крылатой
Землею вскормленная плоть,
И младший брат восстал на брата,
Чтоб умереть иль побороть.

И шли века единоборства,
И невозможно сочетать
Земли тяжелое упорство
И роковую благодать.

В двойном кошунственном соблазне
Изнемогали времена.
И вместе с духом — лютой казни
Была земля обречена.

И мы пошли "тропой Батыя",
И нам не позабыть нигде,
Как все места, для нас святые,
Мы желтой предали орде...

Мы душу предали татарам
В незабываемый полон.
И был навек под Светлояром
Твой храм престольный погребен.

И мы — одни в огне и дыме
Неутоляющего зла,
И всё больней, всё нестерпимей
Звучат твои колокола.

Господь, Господь! Наш путь — неправый.
В глазах — любовь, в ладони — нож.
Но облик наш, двойной, лукавый,
Весь до конца лишь Ты поймешь.

Мы любим жадною любовью,
И, надругавшись до конца,
Мы припадаем к изголовью,
Целуя губы мертвеца.

Земной наш облик безобразен
И навсегда неотвратим...
Кто наш заступник — Стенька Разин?
Иль Преподобный Серафим?

Никто из нас себе не верен,
За каждым следует двойник...
Господь, Ты Сам в любви безмерен!
В нас исказился Твой же Лик.

Ты нам послал стезю такую,
Где рядом с бездной — высота,
О вечной радости взыскуя,
Твердят хуления уста.

Перед крестом смятенный Гоголь
Творит кощунственный обет
И жжет в огне, во имя Бога
Любовь и подвиг многих лет.

Мы все у огненной купели,
Мы до конца себя сожжем.
Приди, приди. Мы оскудели,
Скорбя об Имени Твоем.

В Тебе, Тебе спасенье наше.
В последней битве — Ты оплот.
В Твоих руках — святая Чаша,
Да каждый с миром подойдет.

Да освятится это место,
Где попирали дух и плоть...
Россия — скорбная невеста.
Ее возьмет Один Господь.

Освободит от поруганий,
Целуя в грешные уста,
И браком в Галилейской Кане
Ее вернется чистота.

И станут светлыми глубины
Ее завороженных рек,
И ветви горькие рябины,
И на полях — весенний снег.

Преображенные, другие,
Пойдем за ней, не помня зла,
Когда к небесной литургии
Нас призовут колокола.

Е. Васильева, 1922. Екатеринодар.

"ПОЭЗИЯ ЕВРОПЫ" ПО-СОВЕТСКИ*

В 138-й кн. "Нового Журнала" опубликована статья "Соперник ли поэту его переводчик" Альберта Опульского. В статье затронуто много проблем, связанных с работой советского переводчика: разрушение переводчиком ритмоструктуры оригинала, незнание языка, с которого он переводит, несоблюдение стиля, неуважение к тексту, устарелость переводческого метода Жуковского, двоякий подход заказчика к переводимому материалу... Как видим, все это проблемы со знаком "минус". И все они встречаются в образцово-показательной антологии, громко названной "Поэзия Европы", состоящей из пяти книг в желтых суперобложках и с желтым обрезом.

Собственно говоря, это две различные антологии, составленные по двум разным планам и преследующие не вполне тождественные цели. Первые два тома (три книги) дают нам представление о европейской поэзии двух последних столетий. Каждому переводу сопутствует оригинал и, в общей сложности, материал дан на тридцати языках (считая специально изобретенный хорвато-сербский). Некоторых языков все же недостает. Назову баскский, фризский, лужицкий, гаэльский, бретонский, плятдойч, цыганский, идиш (последний есть лишь в третьем томе, как один из языков Советского Союза).

Последний том — это стихи русских и нерусских поэтов (впрочем, также и не поэтов ...) России — хотя там и нет этого

*Поэзия Европы. В трех томах. Москва, "Художественная литература" 1978. Изд-во "Прогресс", 1979.

слова! — и нынешнего Советского Союза. Если поэт нерусский, первое его стихотворение дается в оригинале и в русском переводе (что, очевидно, должно служит предупреждением для "младших братьев": вы, дескать, без русского посредника в западную литературу не суйтесь!). Дальше, в том же третьем томе, даны переводы этих же стихов на английский, немецкий и французский. А так как в двух первых томах язык произведения указан только в оглавлении, а в третьем томе такого указания нет, то читателю не вполне ясно: жил ли поэт в Башкирии или писал по-башкирски? (Так, еврейский поэт Галкин автоматически попал в Российскую Федерацию и стал на старости лет русским поэтом).

Из предисловия мы — не без изумления — узнаем, что советский солдат лишь при поддержке борцов Сопротивления уничтожил железную машину фашизма и освободил народы Европы от тьмы и бесправия. Никаких армий союзников не то вообще не было, не то они, видите ли, сыграли столь незначительную роль в победе над Гитлером, что о них и говорить нечего. После такого предисловия нас уже ничто не должно удивлять на страницах самой антологии.

Но все же нельзя обойти молчанием весьма любопытного подхода к материалу: антология составлена по принципу, который можно назвать *имперским:* это поэзия определенных государств в иноязычных переводах. Подчеркиваю: не земель или областей, не народов, не эпох, не разноплеменных литератур, даже не классов, а именно *государств.*

Обычно в антологиях мировой поэзии материал распределяется либо по временным признакам, либо по языковым. Неважно, в какой стране жил поэт, чей он был подданный, важно лишь, на каком языке он писал. И когда жил.

Например, средневековая поэтесса Мария де Франс принадлежит французской литературе, а не английской, хотя она, как придворная дама Элеоноры Аквитанской, жила и писала в Англии. Армянская поэзия давно стала понятием в мировой литературе, однако никому не приходило в голову делить армянских поэтов на турецких и русских подданных. Итальянская поэзия эпохи Возрождения представляет собою неделимое единство, а между тем Италия того времени была

конгломератом враждующих республик и княжеств. То же можно сказать и о немецкой литературе периода феодальной раздробленности.

Однако составители антологии "Поэзия Европы" изобрели новый принцип классификации поэтов: решающим оказывается не то, на каком языке поэт писал, а то — чей он был подданный (или, во многих случаях, чьим подданным он был бы, если бы жил и писал в наше время). Таким образом, поэты, пишущие, либо писавшие по-французски, сгруппированы в четырех различных рубриках: "Франция", "Бельгия", "Швейцария", "Люксембург". А немецкоязычные в семи: "Германия", "Германская Демократическая Республика", "Австрия", "Швейцария", "Люксембург", "Западный Берлин" (оказывается, есть и такое государство) и, наконец, "Федеративная Республика Германия".

При этом составители антологии совершенно не считаются с историей, изменявшей границы одних государств, создававшей другие и стиравшей с карты третьи.

Так, "Австрия" в девятнадцатом и двадцатом веках — это, последовательно, "Австрия", "Австро-Венгрия" (куда входили, между прочим, северные области Италии, Словения, Хорватия, Чехия, Словакия, Галиция, Буковина, часть Польши), снова Австрия, затем — прочерк, пустое место, когда эта страна была только частью немецкого "Райха", и еще раз Австрия...

Совершенным абсурдом звучит название "Югославия" для южнославянской поэзии прошлого столетия. Среди поэтов, которых задним числом составители антологии поместили в несуществовавшую тогда Югославию, находим словенца Прешерна, подданного Австрии; Негоша, князя независимой Черногории; Мажуранича, хорватского *бана* в Австро-Венгрии; Йовановича-Змая, из независимого Сербского королевства. Составители, очевидно, подошли к вопросу диалектически: причислить Гёте к поэтам Германской Демократической Республики они все-таки не решились. А вот поселить нескольких поэтов в Югославию, которой при них еще не было, — это можно!

Из трех томов антологии самый удачный, пожалуй, первый: чем дальше в прошлое, тем менее действенны политические тенденции, обуславливающие во многих случаях подбор авторов

и их произведений.

Подборка итальянской поэзии XIX века начинается с "Хозяин вправе звать меня дерьмом..." Это из сонета Карло Порты, писавшего, впрочем, не на литературном итальянском, а на миланском диалекте. Из немецких романтиков мы недосчитались доброго десятка. Отсутствуют: фон Арним, Боденштедт, Брентано, Фаллерслебен, де ля Мотт Фуке, Эмануэль Гейбель, Фридрих Геббель, Йоганн Гердер, Вильгельм Мюллер, Людвиг Тик, Фридрих Рюккерт. Из поэтов более позднего времени нет Моргенштерна, Лилиенкрона, Арно Гольца...

Не повезло в антологии и французским парнасцам: крупнейших из них мы напрасно бы искали на ее страницах. Нет Эредиа, Ростана, Франсуа Коппе, Катюля Мендеса, Армана Сюлли-Прюдома. А ведь их столько переводили русские поэты Серебряного Века, даже "Полное собрание сочинений" Ростана вышло как приложение к "Ниве" (в переводе Щепкиной-Куперник)!

Первый том показался нам наиболее удачным еще и потому, что значительную часть попавших туда стихотворений перевели русские дореволюционные поэты: Жуковский, Козлов, Пушкин, Тютчев, Алексей Толстой, Мей, а несколько позднее — Иннокентий Анненский, Блок, Бунин, Бальмонт, Максимилиан Волошин. Они (за исключением Жуковского) не были профессиональными переводчиками, но их художественный вкус, чувство стиля, знание языков (Мей, например, знал двенадцать, а Бальмонт уверял, будто владеет большинством языков мира), все это обеспечивало переводам если не точность, то во всяком случае художественность.

Среди новых переводов есть разные. "К паркам" Фридриха Гёльдерлина передано вполне удачно. А вот "На башне" Анетты фон Дросте-Гольсхоф настораживает первой же строкой — "Наскучило спать" (ничего подобного в оригинале нет). Содержание пересказано довольно гладко и без досадных отступлений, но романтической атмосферы — не чувствуется. Поэтесса жила над озером, в замке, построенном еще Меровингами, а, читая перевод, видишь ее на балконе отеля! Но все это еще терпимо.

Картина кардинально меняется, когда мы углубляемся в дебри второго тома (книги вторая и третья). Это современные переводы современной лирики. До сих пор, насколько нам известно, в Советском Союзе публикация двуязычных текстов (слева — оригинал, справа — перевод) практиковалась только в научных изданиях. Многоязычное желтое пятикнижие — едва ли не первая попытка показать, насколько мы "культурно выросли": можем, видите ли, читать перевод и сравнивать его с оригиналом. Но беда в том, что полиглоты среди читателей антологии все-таки есть, и, оказывается, что сравнение перевода с оригиналом часто убийственно. Немцам, французам и англичанам, пожалуй, повезло. Составителям антологии было кому заказать перевод и из чего выбрать. Но когда доходит, говоря словами Маяковского, до "датчан и разных прочих шведов", то тут картина другая (кстати, это касается и экзотических языков первого тома).

Стихотворение датского поэта Йоханнеса Йенсена написано вариантом алкеевой строфы, где в четырех строках три раза меняется размер. Переводчик о существовании такой строфы, очевидно, никогда и не слыхал. Содержание-то он передал, а вот строфы воссоздать не мог (хотя его коллеги, переводившие с немецкого, этой строфой владеют).

А вот перевод стихотворения "Сирия" итальянского поэта Эуженио Монтале. В оригинале было одиннадцать строк, в переводе целых пятнадцать. Третью часть текста переводчик добавил: прекрасная иллюстрация для объяснения термина "отсебятина".

У сербского поэта Йовановича-Змая есть миниатюра, где полудетская наивность сопряжена с предельной лаконичностью. В довольно точном переводе:

Там, за нивой,
Сада сень.
Тут и солнце,
Тут и тень.

А в антологии:

Там нивы блеск,
Здесь светлый сад,

То солнца жар,
То лютый хлад.

Силлабический, близкий к хорею, размер заменен ямбом, добавлены эпитеты, которых в оригинале нет, а тень (по-сербски "хлад") превратилась в холод, да еще и лютый. А подписан перевод именем Анны Ахматовой. И невольно ловишь себя на мысли: не права ли Надежда Мандельштам, утверждавшая, что Ахматова свои переводы — только подписывала?

Испанская поэтесса Анхела Фигера пишет о своей вере в человека: она верит, потому что он — "бросается в глубочайшую воду за утопающим и за жемчугом, за мечтой, за истиной, за золотою рыбкой..."

В переводе нет ни глубочайшей воды, ни жемчуга. В следующем строфоиде из пяти стихов переведен только один. Дальше поэтесса восхищается, что люди оставили на месяце свое послание. Но это же об американских космонавтах! Разве можно это переводить! Поэтому вместо прозрачной аллюзии находим невразумительное бормотанье о дружбе человека с луной.

Рафаэль Альберти пишет, приблизительно, следующее:

Продаю цветные тучи,
Их округлость и румянец,
Чтобы зной умерить жгучий.

Мглы лиловые, густые,
Розы продаю, рассветы
И закаты золотые.

И янтарность звезд чудесных,
Сорванных с ветвей зеленых
Персика в садах небесных.

Продаю и снег, и пламя —
Вместе с уличною песней.

Пастернак берет первую строчку Альберти и на ней строит свою импровизацию. Изящную, но *свою*. Составители антологии принимают ее (и выдают читателю) за перевод. Читаем:

Облака продаю,
Опахала, напитки,

Шемаю, скумбрию
И кораллы на нитке.

Чешую вечеров
Со слоновою костью
И воздушных шаров
Разноцветные грозди.

И любое число,
И минувшие сутки,
И свое ремесло,
И его прибаутки.

В стихотворении Хименеса лирический герой весною вспоминает про осень. А в переводе — две осени (хотя в первой поёт соловей — совсем, как в "Обрыве" у Гончарова!)

В стихотворении Лорки шалую девку с грудьми наружу спрашивают, что она продает, и она отвечает: "Продаю, господин, воду морей..." А переводчик спрашивает смуглую девушку, отчего она такая грустная. И та — ни в тын, ни в ворота — отвечает, что она торгует морской водою.

В молитве Луиса Сернуды герой обращается к Богу, к Богу звезд и листвы, чтобы дал его душе перейти из жизни в смерть, как слетает, подобно разбитой звезде, листок осеннего тополя. Переводчик сохранил все — кроме обращения к Богу...

Раскрываю еще наугад — и мы попадаем прямо в букет сирени, которую навеки принес в польскую поэзию Юлиан Тувим. А что же в переводе? Последнюю строфу еще можно кое-как понять, а предпоследняя вообще непостигаема:

Ему ж, оглушенному в зелень
Одно щебетанье утеха...

В какую зелень оглушенный редактор мог пропустить этот бессмысленный набор слов?

Различно отношение не только к отдельным литературам, но и к представителям этих литератур.

Поэтесса итальянского рабочего движения, впоследствии примкнувшая к фашистам, Ада Негри чести попасть на страницы антологии, конечно, не удостоена (по той же причине нет и Гамсуна). А Габриэле Д'Аннунцио, бывший фактически одним из

застрельщиков фашизма, наоборот, удостоен почетного места и открывает подборку итальянских поэтов XX века.

Политическая тенденциозность как в выборе авторов, так и их произведений, особенно ярко заметна в третьем томе, куда входит поэзия России и Советского Союза. Кроме русских авторов, там, естественно, фигурируют представители других литератур и культур. Видим там грузин, литовцев, украинцев, азербайджанцев, татар, белорусов, молдаван и еще десяток наций, народов, народностей.

Характерно, что переводы с идиш ограничиваются одним поэтом (и то средней руки), а переводов с иврита вообще не допущено — и не потому, что нечего было дать: до революции в Киеве издавался еврейский альманах "Per aspera", вот там бы и поискать переводов на русский.

Так как материал разделен между двумя полутомами, то естественно было бы предположить, что в первый полутом войдет лирика дооктябрьская, а во второй — пооктябрьская. Но на деле это обстоит иначе. Оригиналы стихотворений на всех языках (вместе с переводами на русский) занимают приблизительно триста двадцать страниц. Но из них только сто отведены дооктябрьской поэзии.

Сто страниц дооктябрьской поэзии, двести двадцать — пооктябрьской. Наверное, чтобы сразу видно было, какой расцвет и какой размах поэтического творчества мы теперь переживаем! Правда, для создания такой картины пришлось из числа поэтов середины прошлого века исключить Алексея Толстого, Мея, Полонского, высокочтимых нашими бабушками Апухтина и Надсона, ну и, конечно, философскую лирику Владимира Соловьева, и половину поэтов Серебряного Века: Случевского, Мережковского, Зинаиду Гиппиус, Минского, Иннокентия Анненского, Мирру Лохвицкую, Игоря Северянина, Вячеслава Иванова, Федора Сологуба, Николая Гумилева, Максимилиана Волошина, Кузмина, Клюева, Андрея Белого...

Зато, в виде компенсации, широко представлена песенная лирика военного времени. И тут приходит на память тезис о том, что популярными песнями становятся либо неудачные произведения больших мастеров, либо стихи тех авторов,

которых и самих нельзя назвать вполне удачными*.

Так как антология (весьма благоразумно) не дает никаких и ничьих биографий, это позволило составителям включить в нее русских и нерусских поэтов, которым пришлось стать жертвами пресловутого "культа личности", как просидевшую полвека на скамье подсудимых, по ее собственному слову, Анну Ахматову, доведенных до самоубийства Есенина и Цветаеву, возвратившихся — чудом — живыми из мест отдаленных Заболоцкого и Смелякова, уничтоженных Осипа Мандельштама, Павла Васильева, Бориса Корнилова, грузинских поэтов Паоло Яшвили и Тициана Табидзе.

Но вот к украинцам отношение совершенно иное. Сталинская мясорубка перемолола 85 процентов украинских писателей. Но если не считать Максима Рыльского, отделавшегося полугодичной отсидкой, никто из репрессированных поэтов Украины на страницы антологии допущен не был. А ведь среди погибших были такие замечательные поэты, как Евген Плужник, Микола Зеров, Михайло Драй-Хмара, Павло Филипович, Володимир Свидзинский. По той же причине и из послевоенного поколения (более-менее соответствующего русскому "четвертому поколению") в антологию впустили одного Ивана Драча. Нет ни Дмитра Павлычко, ни Василя Симоненко, ни Лины Костенко...

Таково же отношение и к белорусам. Достаточно сказать, что в желтом трехтомнике отсутствует Максим Богданович, едва ли не ярчайший, среди славянских поэтов, представитель "югендштиля", поэт, у которого, по-моему, и в мировой литературе не так много найдется соперников. А из современных нет Владимира Короткевича.

Особенно удручает, что стихи нерусских поэтов, возможно, за некоторыми исключениями, переведены сначала на русский, а потом, уже с русского, на языки европейские.

Игорь Качуровский

*Из песен на слова Пушкина наиболее популярна была "Под вечер, осенью ненастной", написанная им в пятнадцатилетнем возрасте, из песен на слова Шевченко до сих пор популярна "Летить галка через балку" — забракованный автором вариант одной из поэм, а текст будущей песни "Ні долі, ні волі у мене нема" Леся Украинка написала ... девяти лет.

МОРЕ УТРОМ

В пене мыла на пристяжке
Галопирующий конь.
Волны в солнечных рубашках
Так же точно, как огонь —
По ступенькам деревянным
Выбегают на крыльцо.
Ветер радостью нежданной
Веет каждому в лицо.
И поет: "откройте двери
Собрались не даром мы
С нами пушкинская Мэри,
Будет пир среди чумы".
А ямщик давно отъехал,
Звону курских бубенцов
Отвечает только эхо
Из потерянных миров.

СЫЧ

Степной полуночи величье
Не исключало грабежей
А, крик сыча, зловещей птицы,
Был все упорней и шальней.
Толпа уродливых видений
Казалось окружала дом,
И веяло, от каждой тени
Потусторонним холодком.
Наш век не склонен к суеверью...
Но стены обагрила кровь,
Под грохот выстрелов за дверью
Пришлось покинуть отчий кров.
Теперь я знаю: сыч тревожил
Не даром сумрачный покой.
На крик сыча почти похожи
Стихи написанные мной.

А. Величковский

НОВАТОРСТВО И ТРАДИЦИЯ

ВЫСТАВКА РАБОТ ХУДОЖНИКОВ РУССКОГО АВАНГАРДА ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ТОМАСА П. УИТНЕЙ

В то время как американские художественные критики все чаще и чаще говорят о плюрализме современного американского искусства, об оскудении новаторского духа и даже о конце эпохи авангарда, другой художественный авангард, а именно русский авангард первой четверти нашего века привлекает в Соединенных Штатах все большее внимание и вызывает искреннее восхищение ценителей искусства.

Не так давно художественный музей г. Лос Анжелеса организовал крупную выставку работ русских модернистов 1910-1930 гг., которая будет показана также в музее Гиршгорна в Вашингтоне. Выставка эта получила блестящие отзывы. Не отрицая первоначального влияния на русских художников западного модернизма, американские критики нашли в работах русского авангарда динамику, дерзновение и формальные достоинства, не только не уступающие, но и превосходяшие многое, что создавалось в то время на Западе. "Русские развивали идеи, которые до сих пор остались новыми". "Жестоко подавленный советским правительством, русский авангард заново открыт на Западе", — так гласят заголовки статей о художниках этого краткого цветения русского модернизма.

Увлечение русским авангардом, надо отметить, не является простой художественной модой, как часто увлечение русской

иконой и изделиями Фаберже. Политическая ситуация, т.е. запрет русского авангарда в самой России, только отчасти влияет на его популярность вне России. Скорее всего, пресыщенный всевозможными эксцессами модернизма, Запад видит в русском авангарде свою утерянную молодость и былую художественно-революционную романтику. Но в основном популярность русского авангарда зиждется на искреннем увлечении его художественными достоинствами. Однако преклонение перед Малевичем и Татлиным зачастую не позволяет более широкого охвата и глубокого анализа русского искусства конца 19-го и начала 20-го веков.

Тем более ценна выставка русского искусства, открывшаяся 19-го октября 1980 года в музее университета штата Вирджиния в г. Шарлоттсвилль. Экспонаты ее взяты из замечательной коллекции русского искусства, принадлежащей Томасу П. Уитней.

Томас Уитней — не только американский коллекционер русского искусства. В течение семи лет он работал в качестве советника по экономическим вопросам при американском посольстве в Москве и был несколько лет московским корреспондентом агентства Ассосиэйтед Пресс. Там же в Москве он и встретился со своей будущей женой, известной русской певицей Юлией, ныне покойной. (В память ее он создал впоследствии фонд Джулии А. Уитней.) Прекрасно владея русским языком, Томас Уитней перевел на английский язык, среди других произведений, "Один день Ивана Денисовича", "В круге первом" и 1-ю и 2-ю части "Архипелага Гулаг" Солженицына. Со знаменитым русским писателем его связывают очень дружеские отношения. Сам Томас Уитней является автором известной книги "Russia in My Life" ("Россия в моей жизни", издательство Reynal & Co. 1962 г. Нью-Йорк). В настоящее время Томас Уитней работает над переводом воспоминаний генерала Петра Григоренко. Следует добавить, что в коллекции Уитней, помимо картин художников русского авангарда, их предшественников и некоторых русских художников новейшего времени, находятся в большом количестве ценнейшие рисунки и рукописи Ремизова, Волошина, Блока, Гиппиус, Бальмонта и многих других писателей и поэтов

Серебряного века. Мы видим, таким образом, что в лице Томаса Уитней русское искусство и литература имеют не только ценителя, но и друга.

Выставка в Шарлоттсвилле озаглавлена "Новаторство и традиция" и включает, помимо художников русского авангарда, живопись и рисунки Репина, Серова, Врубеля и Малявина. В прекрасном, с большим вкусом изданном каталоге помещено эссе "От реализма к реальности абстракции — личная точка зрения на русский модернизм". Автор его — известный искусствовед и поэт, с 1960-го года куратор славянских и восточноевропейских коллекций в Йельском университете Алексис Раннит. На этом эссе надо остановиться подробнее. Будучи человеком западноевропейской культуры, Раннит свободен от излишней эмоциональности, часто встречающейся в оценках национального искусства. Но он и не холодный наблюдатель со стороны. Свою точку зрения и свои личные оценки он дает с полной определенностью и твердостью. Так, например, октябрьскую революцию 1917-го года он неустанно, уже многие годы и вновь в каталоге собрания Уитней, называет "контрреволюцией", указывая на то, что настоящая русская революция длилась всего с февраля по октябрь 1917-го года. Захват власти большевиками был контрреволюционным coup d'état. Это полезно знать тем европейцам и американцам, для которых существует всего лишь одна "великая русская революция".

"В последнее время, — пишет Раннит, — некоторые западные писатели и критики, следуя новой, официально одобренной советской теории, стали утверждать, что модернизм в России есть продукт большевистской контрреволюции 1917-го года. Французы целиком восприняли эту пропаганду, о чем можно было судить по грандиозной выставке Париж — Москва в Центре Помпиду в 1979-м году. Да и в каталогах других менее крупных выставок русского искусства в Западной Европе и в Соединенных Штатах проскальзывает та же тенденция. Более того, сам Ленин, который ненавидел новое искусство и литературу (включая Маяковского) и который всякий модернизм называл "футуризмом", изображается сейчас как благосклонный покровитель экспериментального "советского" искусства.

Указывая на то, что некоторые западные критики в блаженном неведении даже средневековые русские иконы называли "советскими", Раннит предупреждает, что ко всему, что создавалось в искусстве до 1930-го года (включая, конечно, и русский авангард) не приложим термин "советский".

Значительная часть эссе отведена краткому обзору русской истории и развитию русской культуры. Не буду повторять многих общеизвестных фактов, предназначенных для американского читателя, и приведу лишь некоторые высказывания Алексиса Раннита. Татарское иго, царский абсолютизм, отсутствие в русской истории эпохи Возрождения и Реформации привели, по его мнению, к тому, что писатель или художник в России стал единственным выразителем социальных, политических и культурных чаяний российского народа. "Неудивительно поэтому, — пишет Раннит, — что в русском искусстве, в отличие от искусства западных и средиземноморских стран, основой и задачей стало содержание и призыв".

О русском модернизме Раннит пишет следующее: "Решающие годы в формировании всех известных русских модернистов — это десятилетие до 1917-го года, т.е. время, корнями уходящее в старую русскую культуру. "Молчаливую революцию" формальных экспериментов начал в России художник-символист Михаил Врубель, сила и значение которого не столько в его аллегорических картинах, сколько в портретах и рисунках. В них он испробовал модернистический архитектурный подход и геометрическую модуляцию цвета и тона до того, как это стал делать Сезанн". В другом месте мы читаем: "Будучи наиболее сильной личностью в русском искусстве со времен Средневековья, Врубель был, одновременно, и наибольшим новатором. Он указал дорогу к кубизму, экспрессионизму и футуризму и таким образом проложил путь к воссоединению русского искусства с главными течениями западноевропейского модернизма".

Интересна заметка о соцреализме. "Официально названный национальным по форме и социалистическим по содержанию, соцреализм предвосхитил национал-социалистическое искусство гитлеровской Германии". "Надо отметить, — пишет Раннит, —

что в 1932-м году на выставке "15 лет советского искусства" отдельный зал был отведен "упадочному искусству". Вместе с работами Малевича живопись и скульптура футуристов, супрематистов и конструктивистов были выставлены на публичное поругание. Это малоизвестное событие произошло за пять лет до того, как в 1937-м году Гитлер запретил в Германии свободное художественное творчество и повелел устроить в том же году выставку "дегенеративного искусства". С тех пор только реалистическое, хвалебное и ложно идеалистическое искусство было разрешено в нацистской Германии. В Советском Союзе это продолжается до сих пор".

Теперь несколько слов о самой выставке. Всего представлено на ней 80 произведений живописи, скульптуры и графики, из которых многие выставляются впервые. Перечислю художников: Виктор Алексеев, Юрий Анненков, Александр Архипенко, Абрам Архипов, Александр Бенуа, Давид и Владимир Бурлюки, Александр Веснин, Михаил Врубель, Наум Габо, Наталья Гончарова, Борис Григорьев, Александр Гринев, Елена Гуро, Мстислав Добужинский, Александра Экстер, Василий Ермилов, Павел Филонов, Роберт Фальк, Александр Яковлев, Василий Кандинский, Иван Клюн, Константин Коровин, Иван Кудряшев, Николай Кульбин, Сергей Чехонин, Илья Чашник, Антуан (тогда еще Нотон) Певзнер, Михаил Ларионов, Казимир Малевич, Филипп Малявин, Кузьма Петров-Водкин, Любовь Попова, Иван Пуни, Алексей Ремизов, Илья Репин, Николай Рерих, Александр Родченко, Ольга Розанова, Валентин Серов, Василий Шухаев, Сергей Судейкин и Владимир Татлин. Даны краткая биография, критическая оценка творчества и репродукция одного или двух произведений каждого художника. (Некоторые из них представлены на выставке 6-8-ю работами). Все критические комментарии написаны Алексисом Раннитом и все они чрезвычайно интересны, хотя оценки отдельных художников могут показаться иным немного субъективными. Однако это не только его право как искусствоведа и мыслителя-поэта, но как раз то качество, которое делает чтение этих кратких, но насыщенных статей интересным и стимулирующим.

Помимо этого, в начале каталога на отдельной странице помещено стихотворение Алексиса Раннита, посвященное

позднему "линеарному" творчеству крупного русского скульптора и друга Томаса Уитней — Наума Габо, который, кстати, и сам был поэтом. Стихотворение Раннита — это каллиграфический оригинал из коллекции Уитней, исполненный самим поэтом и отличающийся большой стилистической оригинальностью и свободной элегантностью. Каллиграфия Раннита — утонченное искусство, которое органически сочетается с музыкальностью и стилем стихотворения. Перевод его на русский язык с сохранением ритмической схемы оригинала требует большого поэтического умения. Я могу только попробовать дать простой прозаический его перевод. "Линия твоя — словно крыло ангела, нездешний, чистый плод. "Корни твои в земле неземного света".

Центральным произведением выставки Алексис Раннит считает картину Филонова "Бегство в Египет". (Имеется второе, советское название ее "Переселенцы", данное самим Филоновым, утверждавшим, что он атеист.) "Четыре изображенных фигуры — св.Иосиф, ослик, Мария с младенцем Иисусом и американский индеец в качестве проводника идут в состоянии задумчивости, граничащей с трансом, — пишет Раннит. — Хотя тени от их ног должны убедить зрителя, что они идут по земле, у смотрящего на картину создается впечатление, что они парят над горами. Два странных архаических льва на дальней горе усиливают атмосферу нереальности. Источник света нигде не обозначен, краски сами как бы излучают свет. Филонов, утверждавший, что живопись это цветовое завершение рисунка, употребляет цвет почти без тональной моделировки. "Бегство в Египет" одно из наиболее классически дисциплинированных произведений Филонова. Суровой фронтальностью фигур он достиг того торжественного великолепия, которое присуще было псковской и новгородской живописи 13-го и 14-го веков. Можно добавить, что, несмотря на светлые краски, "Бегство в Египет" своей северной сдержанной красотой свободно соперничает с наилучшими картинами такого строгого мастера-экспрессиониста, как Макс Бекман".

Несмотря на то, что Раннит, как и все мы, должен чувствовать большую близость к одним художникам и меньшую — к другим, каждый комментарий одинаково вдумчив и

внимателен и демонстрирует то качество, которое немцы называют Einfühlung.

Раннит стремится как можно точнее определить как формальные, так и психологические и духовные черты художника и найти его место в истории путем сравнения с русскими и западными образцами. Приведу несколько примеров.

Об Илье Чашнике:

"Ближайший последователь Малевича, Чашник, тем не менее, ушел от создателя супрематизма дальше других — как эстетически, так и духовно. В чем-то их соотношение можно уподобить Леонардо и Вероккио. Творчество Малевича представляет собой богатый материал, полный ощущения кубистической драмы и будущего ее развития, в то время как работы Чашника являются завершением супрематического стиля, имеющим единство вдохновения и делающим его почти антитезисом творчества Малевича".

Об Александре Архипенко:

"Влияние Архипенко на развитие скульптуры, особенно в период между 1910-1920 годами, было значительным... Его новаторская идея использования вогнутых форм как элементов скульптуры повлияла на целый ряд современных мастеров — от Гонзалеса до Беллинга, Липшица и Мура. Архипенко был, по словам Аполлинэра, одним из создателей sculpture pure. Как и его соотечественник, уроженец Украины Давид Бурлюк, Архипенко — не эклектик, ищущий классической концепции. Даже в своих самых интеллектуальных экспериментах он всегда сохранял то, что в музыкальной терминологии именуется Naturstimme, т.е. первичным голосом природы. С самого начала сила и непосредственность проявились в преувеличенно подчеркнутых формах и позах его мощных фигур".

Надо добавить, что в начале каждого комментария указаны также дополнительные источники — статьи и монографии, могущие дать более подробные сведения и иную интерпретацию. Вместе с эссе эти комментарии дают прекрасную возможность оценить диапазон художественных достижений русского авангарда. Прибавлять к ним собственные мысли и оценки излишне. Позволю себе только ряд общих соображений.

В течение многих лет я задавал себе вопрос — что такое

истинно русское искусство? Путешествуя по многим европейским странам, я всегда ощущал глубинную связь искусства данной страны с ее ландшафтом, красками, темпераментом и характером народа и даже почвой и воздухом. Пьеро делла Франческо, например, по восприятию цвета, формы, по всей своей сущности абсолютный итальянец. Это ясно сразу же, когда, выйдя из церкви или музея, увидишь итальянский ландшафт, небо и людей. Иными словами, из камней, растительности, света и воздуха Апеннинского полуострова родилось итальянское восприятие формы и цвета. О, да, были влияния, были колебания, но основная линия всегда оставалась ощутимой в течение веков и веков. Она идет из глубокой языческой древности через христианство и доходит почти до наших дней. То же можно проследить в искусстве германских народов, не говоря уже об Азии.

А у нас? Где действительно русское восприятие формы и цвета, выросшее из земли русской? Русская икона? Но она, при всей ее поразительной красоте и силе, превосходящей часто византийские оригиналы, все же пришла к нам извне. Русский реализм? Но он развился у нас по итальянским, французским, голландским и немецким образцам. Русский авангард? Но и он, несомненно, получил первоначальные импульсы с Запада. Даже такой мастер, как Врубель, у которого Алексис Раннит видит формальные находки, предвосхитившие Сезанна, во многом подвластен был духу своего времени и был под влиянием английских прерафаэлитов и немецкого Югендштиля, т.е. того аллегоризма и псевдосимволизма, которые, по справедливому мнению Раннита, снижают качество его произведений.

Неужели, если перефразировать всем надоевшую советскую формулу, русское искусство не-национально по форме, но национально по содержанию? Возвращаясь к эссе Алексиса Раннита, мы находим там такую фразу: "Все эти обстоятельства (т. е. татарское иго, отсутствие "Возрождения" и, советский террор. С. Г.) не способствовали созданию гармоничной культуры и идеально сбалансированного национального характера".

Мы можем, следовательно, заключить, что руская живопись это комплекс заимствований и больших самостоятельных находок, индивидуальных талантов,

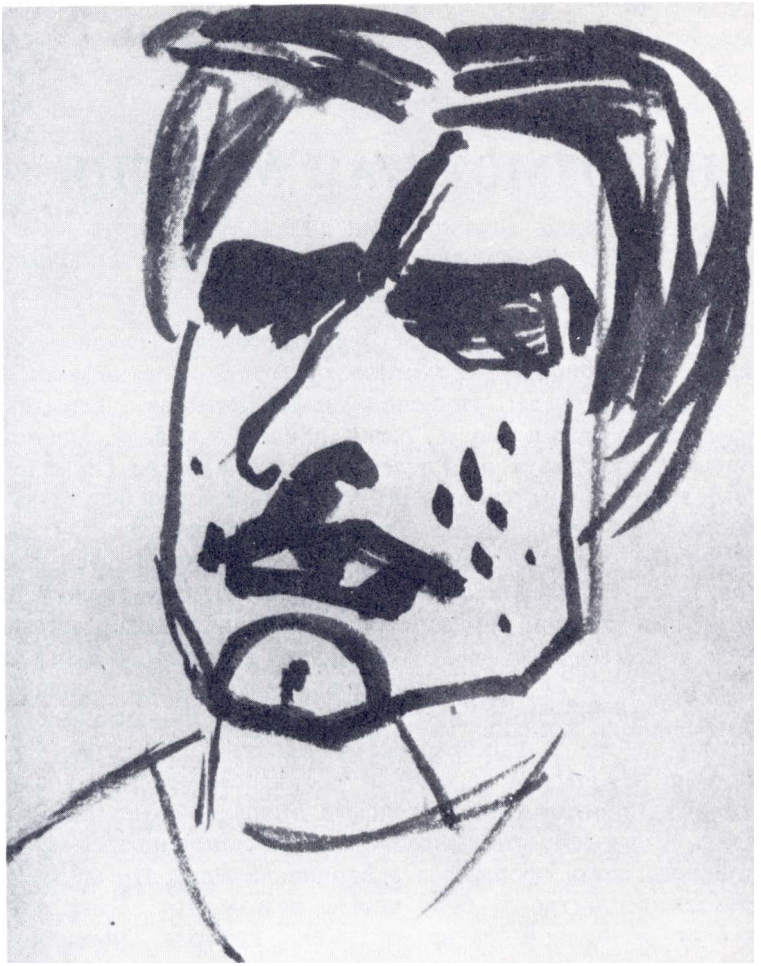
эмоциональных, духовных и социальных устремлений, образующих сложное, но несколько разрозненное целое. Русская литература и поэзия куда более монолитны и "почвенны". Но ведь сам русский язык и есть та форма, та "земля и кровь", из которой лепятся образы!

Впрочем, Раннит утверждает, что каждый язык стилистически и духовно многонационален. Он видит много французского у Пушкина, много немецкого у Блока, много английского у Бальмонта, а язык Мандельштама считает метаязыком.

Во всяком случае, русское искусство (как и русский народ), со всеми заимствованиями извне, со всеми катастрофами и насилием на его пути, сохранило в себе громадную жизненность, богатство талантами и творческую динамику. Выставка "Новаторство и традиция" дает нам яркое представление об этих качествах русских художников и о их достижениях. В наше время взаимной зависимости стран и культур вряд ли может существовать национальное искусство в старом смысле слова. Мы видим сейчас все чаше и чаше "интернациональный стиль". Ничто уже не может быть совершенно самобытным. По-настоящему самобытна и революционна только сильная творческая личность. А их в России всегда было достаточно. В собрании Уитней они представлены наиболее убедительно Филоновым, Григорьевым, Кульбиным, Ларионовым, Розановой, Гуро, Гончаровой, Весниным, Ремизовым, Экстер, Малевичем, братьями Бурлюками, Поповой, Габо и Чашником. И это - много.

Выставка художников русского авангарда из коллекции Томаса П. Уитней будет циркулировать по музеям и университетским галереям в Соединенных Штатах в течение целого года.

Сергей Голлербах



Елена Гуро "Портрет Казимира Малевича".
окого 1910 г. 8 1/2 × 6 1/4

НЕВОЗМОЖНАЯ МИССИЯ

Весною 1942 г. белградское "белогвардейское" руководство, обсудив неблагоприятную обстановку, создавшуюся вследствие политики, которую национал-социалистическая Германия проводила по отношению к России, пришло к выводу, что надо пытаться действовать на Гитлера через союзников Германии. Самым подходящим для этой неблагодарной задачи был глава и национальный герой Финляндии барон Маннергейм. Он был убежденным антикоммунистом и пользовался большим авторитетом в разделенной войной Европе. Плюсом было и то, что он как бывший русский генерал отлично знал русский вопрос, и к нему было легче попасть, чем к другим. В Белграде проживал Свиты Его Величества генерал-майор С.П. Половцов, товарищ Маннергейма по Николаевскому Кавалерийскому Училищу и по Кавалергардскому полку. Генерал Крейтер пригласил Половцова к себе, и мы втроем обсудили план действий. Половцов напишет письмо Маннергейму с просьбой вызвать меня к себе и выслушать наши "опасения и надежды". Я постараюсь опять прорваться в Берлин, передам это письмо в Финское посольство и буду ждать результатов. Этот план держался в полной тайне от всех, включая ближайших

Мы печатаем отрывок из рукописи воспоминаний недавно скончавшегося Льва Викторовича Сердаковского. О его "Невозможной миссии" — поездке во время войны из Белграда в Берлин и оттуда в Финляндию — упоминается также в финской книге полк. Аладара Паасонена "На посту начальника разведки и государственного советника у маршала Маннергейма" (Aladár Paasonen. "Marsalkan tiedustelu päällikkönä ja hallitusken asiamiehenä". Weilin & Goos, Helsinki. 1974).

сподвижников Крейтера. Никаких письменных материалов для разговоров с Маннергеймом заранее подготовить было нельзя, но мы много говорили на эту тему. Для придания формальной видимости моей поездке был пущен слух, что я еду по делам нашего Управления. Я должен был повидать в германском Министерстве внутренних дел лицо, заведующее всеми "Фертрауенштелле", ведающими русскими делами за границей. Не без труда удалось получить военное разрешение через контору полковника К. Я пошел на риск и прямо там сказал, что еду для встречи с маршалом Маннергеймом. Помощник полковника К., капитан Маттль, в гражданской жизни профессор сербско-хорватского языка Университета в Граце, терпеть не мог СС и партийцев. Он не только выхлопотал мне этот пропуск, но и дал контакт в ОКВ (Главное командование германскими вооруженными силами), видимо усмотрев в моей поездке какую-то каверзу против СС.

Только много лет спустя, когда стала известна долголетняя борьба против национал-социалистического главы Абвера адмирала Канариса, — мы поняли почему Абвер помогал белым русским. И не только "туркуловцам". Со мной как-то пожелал встретиться подполковник Змунчилло, офицер Конной артиллерии, красивый, энергичный человек, хорошо говоривший по-немецки и по-французски. Мы с ним сразу объединились. Ему не мешала моя "молодость", а я не обращал внимания на некоторый его авантюризм. Он был связан с германским генеральным штабом и, в частности, с полковником фон Лорингхофеном, ярым антигитлеровцем, впоследствии погибшим в связи с заговором 20 июля 1944 г. Ссылаясь на Лорингхофена, Змунчилло уверял меня, что радикальная перемена германской политики в русском вопросе — дело ближайших недель (вероятно, имея в виду заговор графа Штауффенберга), и русским формированиям обеспечено решающее будущее. Змунчилло был согласен с тем, что комбинация Туркул-Крейтер наиболее удачная для будущей Русской освободительной армии (все это происходило задолго до появления Власова). Я предполагаю, что Змунчилло погиб перед концом войны, так как иначе, при его энергии, он бы появился где-нибудь.

По слухам из Берлина, к сожалению, не подтвердившимся,

последний германский посол в Москве граф Шуленбург будто бы занимал должность консультанта по советским делам и пользовался большим влиянием. До Первой мировой войны Шуленбург был германским генеральным консулом в Тифлисе и желанным гостем в русско-грузинском высшем обществе. В Белграде проживала старенькая А. Н. Петерсон, вдова помощника наместника по гражданской части, то есть фактического правителя Кавказа. Шуленбург у них бывал. Петерсон знала по Тифлису мою семью и всегда была мила ко мне. Когда я ей рассказал, что еду в Берлин и хотел бы повидать Шуленбурга, она сейчас же написала ему короткое письмо с просьбой принять меня как ее "родного сына". Павел Михайлович Авалов, с которым очень подружился Крейтер, также дал мне несколько имен своих бывших соратников, давно живших в Берлине. Он взял с меня слово, что я обязательно повидаю генерала Гудериана, который молодым офицером служил под его командой. Гудериан был тогда в опале и жил в Берлине под негласным домашним арестом.

Авалов, для других Бермонт, для третьих Бермонт-Авалов, был красочным, единственным в своем роде персонажем на эмигрантском горизонте. Его отец был капельмейстером 1-го Уланского петербургского полка. Авалов участвовал с этим полком в войне против Германии и затем командовал вместе с генералом фон дер Гольцем русско-немецким добровольческим корпусом, застрявшим в Прибалтике из-за несогласий между союзными представителями. Авалов мало дрался с большевиками, но чуть-чуть не взял Ригу, чем возбудил к себе ненависть латышей. Он долго жил в Германии, где постепенно превратился из Бермонта в Авалова. Он был очень красив, держался с большим достоинством и был на редкость добрым и отзывчивым бессребренником. Пользовался громадным успехом у женщин, и в Германии говорили, что в него была влюблена какая-то владетельная немецкая герцогиня. Любили его и бывшие его подчиненные, немцы, и все, кто с ним встречался. Приобрел он преданных друзей и в Америке. Каждый год в день его смерти в ньюйоркской газете "Нов. Русс. Слово" появляется короткая заметка его памяти. Авалов переехал в Белград в самом начале Второй мировой войны. Когда зарождалось

национал-социалистическое движение, он по антибольшевистскому признаку ему сочувствовал и был близок с рядом старых партийцев. Потом он резко с ними разошелся и возненавидел Гитлера. Этой своей ненависти он в Белграде не скрывал и был объектом пристального внимания со стороны Гестапо, несколько раз приглашавшего его на малоприятные разговоры. Только покровительство военных спасало Авалова от этого учреждения.

Бывшие подчиненные Авалова в Прибалтике превратились из молодых офицеров в заслуженных генералов, и его знал чуть ли не весь Вермахт. Авалов был настолько против гитлеровской Германии, что решил оставаться в Югославии. Большую роль в этом сыграла его поверхностность: добряк и шармер он не был ни умным, ни образованным человеком. Под влиянием советской пропаганды, на которую клюнули некоторые его русские и сербские друзья, он поверил в эволюцию советской власти — погоны, ордена и пр. В последнюю минуту за ним приехал немецкий военный автомобиль с тремя офицерами, бывшими его подчиненными. Без разговоров его силой посадили в машину и увезли, чем спасли ему жизнь. Советы бы его судили и ликвидировали, как других белых генералов, вопреки его антинемецким взглядам.

Приехав в Берлин, я сразу пошел в финское посольство и передал послу письмо от генерала Половцова маршалу Маннергейму. Посол пообещал, что оно уйдет с первой оказией.

Я нанес визит начальнику Второго отдела РОВСа, генералу Лампе. До этого я встречал его только 2-3 раза, но он знал, что я близкий сотрудник Крейтера и ярый "врангелевец", что было достаточной рекомендацией. Лампе расспрашивал про Русский Корпус и про генерала Штейфона. Я ему откровенно рассказал, почему Крейтер недоволен Штейфоном: он командует Корпусом на бумаге, боится немцев, развел партийный ("легитимный") фаворитизм при назначении на командные должности, и не сотрудничает с генералом Крейтером. Лампе молча меня выслушал и сказал: "Я большой почитатель генерала Врангеля, как полководца и государственного деятеля. Единственным пунктом расхождения между нами был вопрос об исключении Штейфона из РОВСа. Я был против этой меры, но

Главнокоманлующий со мной не согласился. Я продолжаю считать это ошибкой". Тогда я многого не знал, не знал подробностей и причины исключения генерала Штейфона, поэтому не стал спорить с Лампе. Позже выяснились интересные вещи. Несмотря на свой разрыв с РОВСом, генерал Штейфон сохранил близкие отношения с генералом Кутеповым, у которого он был начальником штаба в Галлиполи. Он принимал участие в "работе на ту сторону", которую вел Кутепов, и ездил по поручению Кутепова в СССР, чуть ли не в Москву. Накануне похищения Кутепова Штейфон был в Париже у своих старых знакомых по Югославии, в семье д-р. З. У них сложилось впечатление, что Штейфон каким-то образом был замешан в этом деле, чего я лично не могу принять. Скорее допускаю, что исключение Штейфона из РОВСа было камуфляжем, чтобы облегчить ему "работу на той стороне". Я не вникаю в этот вопрос, так как пишу только о том, что видел собственными глазами, а о Штейфоне — лишь в период его командования Корпусом.

Я побывал в Министерстве внутренних дел у "криминал-директора", который ведал всеми управлениями по делам русской эмиграции, созданными немцами во всех оккупированных ими европейских странах. Со мною был как переводчик наш старый белградец, переехавший в Берлин, г-н М., культурный и умный человек, но не лишенный честолюбия. Во время перевода он все время пытался перевести разговор на свою персону, что никак не интересовало немецкого бюрократа. При расставании "криминал-директор" вскользь заметил, что им известна истинная причина моего приезда в Берлин. В его словах не было поощрения, но не чувствовалось и порицания.

Граф Шуленбург, прочтя привезенное мною из Белграда письмо А. П. Петерсон, принял меня очень сердечно. Когда я настойчиво и не очень тактично пытался узнать, кто же именно в германской иерархии поддерживает самоубийственную антирусскую политику — Розенберг, Геббельс, Борман, — он поднял палец и сказал: "На самом верху". Шуленбург фактически был не у дел, возглавляя отдел Министерства иностранных дел, якобы занимающегося русскими делами. Его ближайшим помошником был "гехаймрат" Густав Хильгер, его многолет-

ний помощник в германском посольстве в Москве. Его не было, и меня принял один из старших сотрудников г-н Ш., бывший до этого германским резидентом в Тунисе. Выслушав мою просьбу, г-н Ш., стараясь говорить понятным немецким языком, сказал, что, конечно, граф напишет нужную мне рекомендацию в Полицай-Президиум, но ... дипломат помедлил, "... у графа сейчас такое трудное положение, что его друзья стараются не вовлекать его ни в какие дела, могущие создать для него новые осложнения". Я понял и, поблагодарив Ш., сказал, что постараюсь добиться продления разрешения другим путем, не замешивая в это дело графа Шуленбурга. Этот маленький факт характеризует межведомственную борьбу в Третьем Райхе. Министерство иностранных дел дипломатично, как им полагается, но неуклонно расходилось с нац.-соц. головкой. В конце концов мне удалось продлить визу в ОКВ, в котором, как мы теперь знаем, также были сильны антипартийные настроения.

Вскоре мне сообщили из финского посольства, что пришел ответ от Маннергейма. Маршал интересуется, что именно я собираюсь ему сказать, и просит изложить это на бумаге. Положение было трудное: с одной стороны, надо было написать так, чтобы его заинтересовать, с другой — чтобы не испугать. Я долго пыхтел над этим дипломатически-психологическим посланием. Через несколько дней пришел благоприятный ответ: Маннергейм приглашал меня прибыть к нему в Миккели, где помещалась финская Ставка. Теперь надо было брать следующий барьер: получить разрешение на выезд из Германии в Финляндию. Я решил попытаться действовать прямыми путями, по закону, и пошел в Полицай-Президиум. Отделом разрешений на выезд заведовал толстяк громадных размеров, восседавший на высоком стуле. Сразу узрев во мне иностранца, он грубо пробурчал, что сейчас идет война и не время разъезжать по заграницам, особенно иностранцам. Я ответил, что еду в Финляндию не как турист и не как коммерсант, а как гость важного лица. "Какого там важного лица!" — презрительно бросил толстяк. — "Маршала Маннергейма". Эти два слова оказались магическими. Толстяк сразу потерял свое олимпийское величие, сполз боком со стула и после изумленного разглядывания меня своими заплывшими жиром глазками,

совсем другим тоном прошептал: "Я должен доложить это по начальству". Сложная машина германской бюрократии завертелась.

Игра в мяч. Вопрос с получением разрешения на выезд из Германии в Финляндию затягивался. В Полицай-Президиуме мне сказали, что этот вопрос выходит из их компетенции и что мне следует обратиться в Министерство иностранных дел. Там у меня были доброжелатели в лице Шуленбурга и Хильгера. Они советовали мне искать помощи у военных: сейчас идет война, и военным принадлежит решающее слово. Полковник в ОКВ сказал мне, что он лично сочувствует моей поездке к Маннергейму, но это — вопрос политический, который подлежит ведению СС. СС отсылали меня в берлинскую полицию, занимающуюся иностранцами в Берлине. Те опять направляли меня в Министерство иностранных дел и т.д. Круг замыкался, и не было видно выхода.

Одновременно рос и нажим из Белграда. Генерал Крейтер, потеряв надежду, что меня пустят в Финляндию, требовал моего немедленного возвращения в Югославию. Из-за меня у него были неприятности с оккупационными властями. Его вызывал к себе германский посол и очень кисло сказал, что к нему все время поступают запросы из Берлина о моей политической деятельности там, не имеющей никакого касательства к русскому эмигрантскому управлению в Белграде. Моя жена, служившая в отделении Красного Креста при итальянском посольстве, умоляла меня немедленно возвращаться. Ее вызывал к себе итальянский посол и сказал, что его германский коллега просил его воздействовать "на жену г. Сердаковского", чтобы она настояла на моем возвращении. В Берлине ко мне приходил барон Меллер-Закомельский, штаб-ротмистр, кажется, Конного полка. Всю эмиграцию он прожил в Германии, имел связи с национал-социалистами в самом начале их деятельности, когда главным пунктом их программы была беспощадная борьба с мировым коммунизмом, и антирусские тенденции еще не выявились. Поэтому многие русские немцы сочувствовали национал-социализму. Сухой и аккуратно одетый гость начал меня убеждать отказаться от моей фантастической затеи, т. к.

немцы никогда меня к Маннергейму не пустят, понимая, что я собираюсь жаловаться ему на их политику в русском вопросе. "Не думайте, что вы один такой умный, — твердил он. — Многие пытались сделать то же самое, и это кончалось полным крахом. Вы рискуете оказаться арестованным и в лучшем случае высланным". Все эти доводы разбивались о мое кавказское упрямство. "Хорошо, — Меллер встал и заходил по комнате, — тогда я должен сказать вам то, чего хотел избежать. Мне *поручено* соответствующими властями поговорить с вами. Если вы будете упорствовать, вас ждут крупные неприятности. Это же безумие бросать вызов германскому правительству!" Ничего не добившись, рассерженный барон ушел.

Выдержать этот всеобщий натиск было не легко, и только мое упорство помогло мне настоять на своем. Одновременно с хлопотами о выездной визе я искал немецкие каналы, через которые можно было бы добиться содействия или, поначалу, хотя бы понимания наших задач. Все разговоры в ОКВ сводились к этой теме. Были минуты просветления. Так, раз мой полковник сказал, что ему приказано подготовить доклад о наших беседах и напечатать его специальными большими буквами, как якобы печатаются все бумаги, идущие непосредственно к Гитлеру, из-за его плохого зрения. Так ли это — я не знаю. Но нет дыма без огня. Много лет спустя, уже в Вашингтоне компетентные американцы рассказывали мне, что в их разведке ходили слухи, что мне удалось проникнуть к самому Гитлеру. Это мне не удалось, да я и не пытался, но близко я был. Берлинские старожилы советовали мне повидаться со Шмидтом, бывшим при Гитлере консультантом по внешнеполитическим вопросам, в ранге посла. К Шмидту я прорвался, но он оказался другим Шмидтом, личным переводчиком у Гитлера. По-русски он не говорил, мы коротко поговорили на моем спешно мобилизованном французском языке, и я ретировался. Как ни странно, но мне помогало плохое знание немецкого языка. Умей я толком объяснить, чего именно я хочу, меня задержали бы на первых же бюрократических рогатках. А так, думая, что это может быть какой-нибудь интересный визитер, пропускали.

Когда я собирался возвращаться в Белград, полковник в ОКВ как бы невзначай спросил меня, уверен ли я, что белые

генералы так же, как и я, считают, что для разгрома Красной армии необходимы: максимально возможная политическая независимость от немцев, национальная русская армия с русским командованием и в русской форме. Полагая, что он имел в виду генерала Туркула и генерала Крейтера, я с полной уверенностью подтвердил, что да, конечно, считают. "Смотрите, не разочаруйтесь, когда приедете в Белград!" — вставая, закончил разговор полковник.

Когда я вернулся в Белград, генерал Крейтер показал мне приказ генерала Штейфона по Русскому Корпусу, дополняющий, если память мне не изменяет, приказ по Юго-восточной (Греция, Балканы) группе войск фельдмаршала Вейкса. В приказе цитировалось распоряжение Гитлера о награждении немецких комбатантов русской землей. Наша реакция была резко отрицательной. Как Штейфон мог подписать такой приказ!? Я сразу вспомнил прощальные слова полковника в ОКВ. В Корпусе мало кто обратил внимание на этот приказ: всех больше интересовали свои мелкие заботы, в частности "ферфлегунг" — снабжение корпусных семей. Защитники Штейфона доказывали, что с его стороны это была жертва своим добрым именем в интересах сохранения Корпуса. Заяви он протест (чего он как состоящий на действительной германской службе не мог сделать), — немцы его в лучшем случае уволили бы. И тогда вместо плохого или хорошего, но русского начальника, которому дороги русские интересы, командиром Корпуса мог бы стать немецкий генерал, или еше более уступчивый русский. Такая перемена не привела бы ни к какому улучшению положения Корпуса, а наоборот способствовала бы еще большему немецкому засилию и урезыванию остатков русской самостоятельности. Не знаю, может быть защитники Штейфона тактически были и правы. Но с более широкой, стратегической точки зрения нелья было плыть, не протестуя, по немецкому течению. Ведь сам Штейфон в конце концов подчинился генералу Власову. Это было не жестом отчаяния перед самой катастрофой, а актом доброй воли и понимания общности русского дела.

Я тогда имел смутное понятие о тонкостях большой политической игры на германском Олимпе — кто за и кто

против — и неожиданно для себя оказался вовлеченным в этот круговорот. Дальнейшее пребывание в Берлине становилось опасным. Я решил действовать решительно и пошел к финскому послу с просьбой вмешаться. Посол с неохотой, но все-таки согласился запросить Министерство иностранных дел, почему г-на С., приглашенного лично маршалом Маннергеймом, не выпускают из Германии? Когда я зашел в контору Шуленбурга, там уже знали о финском письме, и Хильгер меня поздравил: решено было пустить меня в Финляндию. Было начало ноября, под Сталинградом шли тяжелые оборонительные бои истекающей кровью Шестой армии генерала Паулуса. Я выехал из Белграда в Берлин летом с легким плащом, негодным для финских холодов. Выручил генерал Бискупский. Мы с ним были одного роста, и он одолжил мне свое зимнее пальто. Получив с трудом, опять-таки с помощью того же Хильгера, право на билет в Финляндию на каком-то полувоенном самолете, я оговорил остановку на сутки в Кенигсберге, т.к. хотел его осмотреть.

После осмотра этого старинного города на другой день я вылетел в Хельсинки и, уже не думая ни о чем другом, был полон мыслями о своей финляндской миссии, почти неизвестном эпизоде во время Второй мировой войны. Через полчаса, после короткой остановки в Таллине-Ревеле, мы подлетели к Хельсинки. Летели так низко, что нам были видны отдельные волны. На мой вопрос — почему это, немец из строительной организации ТОДТ ответил, что летим так низко, чтобы нас не заметили советские истребители, все время шныряющие над Финским заливом. Приятная перспектива! Открылся прекрасный вид на столицу Финляндии. Справа возвышался большой православный собор, и золотой его крест скупо освещался лучами осеннего солнца. На аэродроме меня ждал молодой капитан, личный секретарь Маннергейма, Г. О. Энккель. На каком языке я предпочитаю говорить, по-французски, по-немецки, по-русски или по-английски? Я, конечно, выбрал русский и был приятно удивлен, увидев, как им хорошо владеет Энккель. И неудивительно. Оказалось, что его отец служил в Л. Г. Семеновском полку, окончил Николаевскую Академию Генерального Штаба и был российским военным агентом в Ри-

ме. "Ну, что делает в Берлине этот дурак?" — спросил Энккель. Этот вопрос меня озадачил. В Берлине было много дураков, и я не знал, кого именно он имел в виду. Оказалось — Риббентропа. Я оценил доверие Энккеля и рассказал ему, насколько знал, о положении в Берлине.

По приезде в президентской машине в прекрасный отель напротив вокзала, Энккель мне сказал, что на другой день я должен буду выехать с приставленным ко мне офицером по железной дороге в Миккели. Город произвел на меня очень хорошее впечатление. Особенно тронула меня одна подробность, рисующая благородство финнов. В самом центре города, напротив финского парламента стоит памятник Императору Александру Второму. Соседние улицы носят названия Анна гатанн, Александр гатанн и т. п., в честь членов русской Царской семьи. Финляндия входила в состав Российской Империи по династическому признаку. Российский Император носил титул Великого Князя Финляндского, и с падением монархии связь Финляндии с Россией автоматически прервалась. В Берлине я наслушался, что финны не любят русских, не делая разницы между красными и белыми. Но тут я убедился в другом: финны не любили немцев и на вопросы, заданные по-немецки, отвечали нелюбезно. Наоборот, узнав, что собеседник их белый русский, становились приветливее.

Приставленный ко мне пожилой капитан оказался милым человеком, говорящим почти свободно по-русски. В поезде я не мог оторвать глаз от красивейших картин финской природы: многочисленные маленькие озера и густой северный бор. По дорогам двигались редкие сани с тепло и аккуратно одетыми крестьянами. Постояли в Лахте, самом большом городе этого района, аккуратном и чистом, как вся Финляндия. Наконец, прибыли в Миккели, нечто вроде провинциального городка. В царское время там стоял стрелковый батальон. Я не заметил никакой охраны, ни военной, ни полицейской. Что меня поразило после наглухо затемненных немецких и югославских городов — это полное освещение. Как будто приглашение вражеской авиации — прилетайте и попробуйте бомбить нас. Когда я потом спросил об этом в штабе, там пожали плечами: "У нас хорошая противотанковая оборона, и всегда начеку

дежурная воинская часть". Я думаю, было и другое: уверенность, что англо-американцы бомбить не будут, а Советы в воздухе были слишком слабы.

Меня поместили в маленькую, очень чистую и по-военному скромную комнату и очень вкусно и разнообразно накормили. Адъютант маршала сообщил мне, что маршал ожидает меня сегодня в 2 часа дня. Аудиенция будет 45 минут. Я набросал себе основные тезисы моего доклада, привел себя в порядок, — ведь Маннергейм был не только маршалом Финляндии, но когда-то был и "благородным корнетом Славной Гвардейской Школы". За мной пришел офицер и провел меня в приемную, где сидели ожидавшие своей очереди командиры. Через несколько секунд я стоял перед маршалом Маннергеймом.

Высокий, статный генерал с большим белым крестом на шее, нечто среднее между русским орденом Св. Георгия и датским Даннерброгом. Прекрасная военная выправка русской школы без чрезмерного немецкого солдафонства и аффектированного шика французских и польских кавалеристов. Говорит по-русски хорошо, но чувствуется, что этим языком пользуется редко. Спросил про своего однополчанина по Кавалергардскому полку генерала Половцова и про генерала Крейтера. Задал несколько наводящих вопросов и затем предоставил мне докладывать о белградских "опасениях и надеждах". Опасения заключались в том, — говорил я, — что антирусская политика и практика на Восточном фронте помогает партии и правительству мобилизовать народные массы на защиту советского режима под лозунгом спасения родины от внешнего врага. Результаты налицо: германское наступление остановлено, контратаки Красной армии усиливаются, число сдающихся в плен красноармейцев уменьшается, экономические трудности германского блока возрастают, Германия окружена врагами. Если этот процесс будет продолжаться, провал "Барбароссы" неминуем. Следующим этапом будет продвижение красной армии на запад и коммунизация Восточной Европы. Наши "надежды" основываются на многомиллионной сдаче в плен красноармейцев, явно не желающих сражаться за Сталина и коммунизм; возникновение в Советском Союзе патриотического порыва, пока что из-за в корне ошибочной политики Германии,

работающей на советскую власть. Участие вооруженных соединений в русской форме и под русским национальным флагом будет иметь громадное пропагандное и оперативное значение. Поначалу русская эмиграция даст командные и политические кадры. Командующим этой освободительной армией намечается генерал Туркул при начальнике штаба ген. Крейтере. Добиться от немцев помощи таким формированиям или хотя бы частичного пересмотра германской политики на Востоке оказалось невозможным. Есть немцы, особенно военные, понимающие острую необходимость такого пересмотра, но и они ничего сделать не могут. Единственная надежда на то, что союзникам Германии, кровно заинтересованным в предотвращении победы СССР на востоке Европы, удастся убедить германское правительство в срочности этой меры. Наиболее авторитетным и компетентным в русских делах является маршал Маннергейм.

Прошло ровно 45 минут, и я встал. Маннергейм поднял на меня удивленный взгляд. Я доложил, что, как ученик Головина, я точно придерживаюсь указанного срока аудиенции — 45 минут. "Когда кончать нашу беседу — буду решать я", — сказал маршал. Мы проговорили еще два часа, и мне было поручено составить на завтра письменный доклад обо всем сказанном. Пришлось посидеть полночи. Когда я проходил через приемную, там было полно офицеров, ожидающих приема. Они с любопытством смотрели на неизвестного человека в штатском, заставившего их так долго ждать. На второй день наш разговор продолжался около трех часов, из коих первые 20-30 минут — в присутствии начальника штаба генерала Генрикса. Он не говорил по-русски, а Маннергейм не любил говорить по-немецки, и мне пришлось коверкать мой французский. Но при помощи маршала все прошло гладко. Начальник штаба интересовался главным образом организационными и военно-техническими вопросами. У меня сложилось впечатление, что Маннергейм пригласил его по каким-то своим дипломатическим соображениям. В Первую мировую войну генерал Генрикс был в финском легионе, сформированном немцами, и считался германофилом. Маннергейм слыл сторонником западных союзников. Запомнился его рассказ о короле Георге Пятом

английском, которого он навестил, кажется, в 1935 году. Король рассказал ему, как нагло врут советские дипломаты. На аудиенции наркоминдел Вышинский клятвенно уверял короля, что советское правительство не ведет никакой пропаганды в странах Британской Империи, а король как раз накануне получил секретный доклад своего премьер-министра об усилении советской пропаганды и подрывной деятельности в ряде доминионов.

На третий день полуторачасовой разговор был посвящен конкретным вопросам. На мои настойчивые просьбы об оказании давления на немцев, Маннергейм ответил, что у него не такие отношения с "Райхсканцлером" (он подчеркнул этот правительственный пост, занимаемый Гитлером), чтобы он мог давать Гитлеру советы. "Но, если бы Райхсканцлер, — добавил Маннергейм, — спросил мое мнение по русскому вопросу, то мои рекомендации, вероятно, были бы близки к вашим соображениям!" Дипломатичный комплимент, который я не мог не оценить. Переходя на шутливый тон, маршал добавил: "Вот, устройте мне встречу с Райхсканцлером, и я с удовольствием исполню вашу просьбу". Мы оба рассмеялись.

Результаты моей миссии сводились к следующему:

1) Маннергейм обещал, что все дипломатические миссии за границей получат распоряжение оказывать поддержку группе генерала Туркула, включая в случае необходимости пользование дипломатической почтой; рекомендации другим союзным миссиям и, по обстановке, правительствам стран, где они аккредитованы. Это было ценно, особенно имея в виду нетерпимость немцев к политической инициативе своих союзников.

2. Наши меморандумы по русскому вопросу и конкретные пожелания будут рассматриваться и по возможности поддерживаться.

3. Мне разрешается посетить лагерь советских военнопленных и поговорить с ними.

4. В случае возникновения каких-нибудь вопросов я могу обращаться непосредственно к маршалу через дипломатические миссии.

Когда разговор перешел на общие темы, маршал

расспрашивал о парижских и белградских высших военно-научных курсах профессора генерала Головина, кратко о деятельности генерала Туркула и генерала Крейтера, о положении в Югославии и о Русском Корпусе в Сербии. Из ставки в холодной Финляндии Белград и Балканы казались какой-то далекой и совсем нереальной картиной. Маннергейм заметил, что он с интересом читает книги Головина. Не было сказано ни одного критического слова, но я уловил некоторое отталкивание строевого офицера от штабных. Маршал промолчал о посещении Финляндии бывшим личным секретарем Сталина — Бажановым — во время зимней кампании 1939/40 г. Тогда я об этом визите ничего не знал и прочел о нем через много лет в Вашингтоне. Думаю, что психологически мне было легче говорить с Маннергеймом, чем бывшему советскому активисту. У меня не было никаких личных амбиций, я делал черную подготовительную работу. А Бажанов, штатский человек, претендовал якобы на возглавление будущей освободительной армии, что вряд ли могло вызвать восторг такого профессионального военного, как Маннергейм.

Три вечера я был по очереди гостем адъютантуры, оперативного отделения и разведывательного отдела. Офицеры штаба были хлебосольными хозяевами. Никаких деловых разговоров не было. Было много выпито, но в строгих рамках военной дисциплины. Хозяева не пытались меня подпоить, но с любопытством наблюдали, как я пью и как держусь. Полковая выучка и опыт "тулумбаша" помогли мне не ударить лицом в грязь. На последнем ужине произошел забавный случай. Начальник разведывательного отдела, маленький подтянутый полковник генерального штаба Пассонен, единственный хорошо владевший русским языком, долго смотрел на мой значок Головинских курсов и с легким ехидством сказал: "По вашему возрасту, я думаю, в Первую мировую войну в лучшем случае вы могли быть кадетом, у вас в петлице значок царской Академии генерального штаба. Как это следует понимать?" Все с интересом замолчали. Я объяснил полковнику П., что мой значок похож на значок старой Академии генерального штаба, но с некоторыми изменениями. Во-первых, на нем не лавровый, а терновый венец. Во-вторых, внизу на нем имеются маленькие

буквы НН, инициалы Великого Князя Николая Николаевича, вдохновителя и покровителя курсов. "Тогда мы с вами коллеги!" — воскликнул полковник П. и с нескандинавским порывом (его мать была венгерка) обнял меня. "Я тоже ученик Головина по французской Высшей военной школе. Он преподавал у нас историю войны на русско-германском фронте и русский язык". Мы сразу и навсегда с полковником стали друзьями. Через 25 лет, помню, я сижу в своей служебной комнате в Вашингтоне. Входит начальник нашего отделения с каким-то маленьким человечком в штатском. "Я хочу посмотреть, как встретятся старые друзья", — говорит он и подталкивает гостя вперед. Полковник П.! Было невозможно в этом скромном штатском узнать блестящего полковника финского генерального штаба, ближайшего сотрудника Маннергейма, не покинувшего своего маршала до самой его смерти.

Во время ужина личный адъютант Маннергейма улучил минуту и тихо сказал мне, что маршал очень сожалеет, что не может пригласить меня к своему столу. В ставку вызваны с фронта на совещание старшие командиры, так что у него нет ни минуты свободного времени. Это сообщение поставило меня в трудное положение. В Белграде каждая мелочь, связанная с моей поездкой, будет тщательно обсуждаться. Тот факт, что я ни разу не был приглашен Маннергеймом к столу, будет воспринят не только как личный афронт, но и как некое умаление русского национального достоинства. Я сразу же ответил адъютанту, что я знаю, как занят маршал и никак не претендую на соблюдение принятых условностей, тем более, что я не являюсь представителем национальной России. Адъютант внимательно посмотрел на меня и отошел. На следующий день он сказал мне, что ему приказано передать мне приглашение маршала на завтрашний утренний завтрак. Он добавил, что утренний завтрак считается интимным, и приглашения на него делаются редко и с большим разбором. Я ответил, что понимаю, что это большая честь и благодарю за внимание.

Завтрак прошел в приятной домашней обстановке. Маннергейм вспоминал свою службу в русской гвардии и расспрашивал меня о своих однодивизниках. Вспоминал также свои попытки наладить сотрудничество с белым командованием

во время гражданской войны. Упомянул медлительность и непонимание политической обстановки тех времен генералом Юденичем и адмиралом Колчаком, которые не отдавали себе отчета в том, что он не был ни абсолютным монархом, ни диктатором и без согласия парламента не мог принимать важные решения. Адъютант, не знавший русского языка, молчал. Больше никого за завтраком не было.

Я уезжал из Миккели с чувством исполненного долга: мне казалось, что при существовавших тогда условиях большего сделать было нельзя. По дороге в Хельсинки я с сопровождавшим меня офицером заехал в лагерь для советских военнопленных. Комендант лагеря сразу провел меня в бараки и познакомил с переводчиком. Переводчик был русский, по манерам и языку казался из хорошей и культурной эмигрантской семьи. Он был приятно удивлен моим посещением и рассказал мне о своей работе. Было видно, что весь смысл его жизни заключается в заботах и общении с его подопечными. Пленные, в свою очередь, верили ему и любили его. Меня поначалу чуждались, но когда я объяснил им, что я такой же русский, как и они, родился на Кавказе, только значительно раньше их, посыпались вопросы. Когда я им рассказал, что такое "белогвардеец", что русская эмиграция хранит и передает из поколения в поколение русский язык, культуру, исторические традиции и любовь к России, — они были удивлены и заинтересованы. Переводчик сказал, что я — первый русский посетитель из неизвестного им несоветского мира. Я был растроган и обнадежен этой встречей с бывшими красноармейцами, настоящими русскими людьми. Я много потом думал о них. Они пережили финский плен, но как встретила их "Родина-мать"? И не только их, но вообще всех участников зимней кампании 1939/40 гг. советская власть разными способами ликвидировала, как нежелательных свидетелей советской военной неразберихи и безответственности.

В Хельсинки я сделал визит отставному финскому генералу Лондену, некогда служившему с моим отцом в Северском драгунском полку. Лонден был очень доволен, что мне удалось повидать Маннергейма, которого он ставил очень высоко. Правление Русского клуба в столице Финляндии устроило

завтрак в мою честь. Это все были культурные и приятные люди. главным образом эмигранты из Петербурга. Очень их интересовала моя встреча с Маннергеймом, до которого никому из них не удалось добраться. Я рассказал им, что мог. После окончания войны советское правительство настояло на выдаче всех этих пожилых людей, независимо от того, что они были гражданами Финляндии или обладателями так называемых Нансеновских паспортов (документ Лиги Наций для беженцев, который признавался всеми правительствами, за исключением СССР). В Москве их судили и приговорили к 10 годам концлагеря. Большинство из них там и умерли. И только одиночки вернулись домой, в Финляндию. Это один из многих примеров нарушения Советами всех Божеских и человеческих законов.

Последнее впечатление о Финляндии было особенно приятно. На аэродроме ко мне долго приглядывался один из старших служащих и наконец спросил по-немецки, может ли он задать мне один личный вопрос: какой я национальности? Услышав, что я "белый русский", финн заволновался и, мешая немецкие слова с русскими, сказал, что он так и думал. Моя внешность и манера держаться напомнили ему его молодость, когда он встречал много офицеров русской гвардии. Я был тронут и польщен таким сравнением, но пояснил ему, что хотя и происхожу из русской военной семьи и был кадетом, но в гвардии не служил и служить не собирался. Он долго тряс мою руку и мы расстались друзьями. Это подтверждало, что у многих финнов старшего поколения осталась хорошая память о прежней России. Под этим приятным впечатлением я сел в самолет, державший курс на Таллин-Кенигсберг-Берлин.

Лев Сердаковский

СОЛОВКИ

(ПУБЛИКАЦИЯ Р. МАРТЫНОВА)

Соловецкий монастырь, основанный в XIV столетии Св. Савватием, служил до Революции местом паломничества многих десятков тысяч православных и представлял большой духовный и культурный центр нашего крайнего Севера. Находятся Соловецкие острова в Белом море, приблизительно в 80 верстах от ст. Кемь Северн. жел. дор. и в 150 верстах от Полярного Круга. Соловки представляют группу островов, из которых главный, длиною в 23 версты и шириною в среднем 12, тянется с юга на север, в виде удлиненного неправильного треугольника, с широким концом на севере.

Главные церкви, — всего их пять, сосредоточены на крайней южной оконечности острова, обнесены широкой и высокой каменной стеной длиною более 500 сажен, построенной неровным треугольником, частью из дикого камня, частью из кирпича, с тремя высокими башнями-бойницами по углам. Башни эти были защитою монастыря, и до сих пор еще в каждой из них находятся по 2-3 старинных орудия на громадных деревянных колесах. Последний раз эти орудия отражали английские суда, подошедшие к острову в 1854 году.

Все место, обнесенное стеной, называется Кремлем; в нем-же помещается большинство келий монахов, покои настоятеля, трапезные, кухни и главные склады. Церкви тянутся внутри, вдоль стен Кремля, на известном расстоянии друг от друга и соединены между собой двухэтажными каменными домами-кельями монахов и прочими многочисленными службами. В середине Кремля небольшая открытая часовенка с историческим

колодцем, около которого сложена пирамида английских ядер осады 1854 г. собранных монахами. Кругом монастыря, в окружающих его громадных стенах до сих пор видны следы разрушения от попадания этих ядер.

Вне Кремля, но в непосредственной его близости, расположены кладбище с небольшой, но очень красивой церквью, две гостиницы — мужская и женская, несколько заводов, верфь, амбары, конюшни, ферма, а также электрическая станция, построенная монахами в начале этого столетия.

У монастыря было свое крупное хозяйство, отлично, образцово поставленное, что видно и теперь еще, хотя в настоящее время далеко не на той высоте, как при монахах. Весь остров был покрыт вековым лесом, с которым монахи обращались очень бережно, никогда не рубили и для своих нужд пользовались лишь буреломом и обреченными на гибель старыми и большими деревьями; уголь и недостающее количество дров монастырь покупал на материке.

При большевиках большая половина леса уже вырублена и продана на покрытие части расходов по содержанию заключенных.

На острове находится до 450 больших, средних и малых озер, имеющих каждое свое название; на протяжении 10-12 верст на север от монастыря озера эти соединены целою сетью искусственных каналов с шлюзами, собирающими воду в "Святое озеро", находящееся у самого Кремля и дающее водяную силу электрической станции. Из заводов и мастерских, перешедших от монастыря к Г. П. У., следует упомянуть прекрасно оборудованные литейный завод, кирпичный, кожевенный, кузнечные, столярные, сапожные, переплетные мастерские, молочные фермы с холмогорскими племенными коровами и конский завод. В сараях до сих пор хранятся еще кареты, коляски, повозки и сани, между которыми выделяется необычайной величины карета Петра I, который два раза посетил Соловки и ездил по всем скитам острова.

Скитов на большом острове — 10-12, причем каждый из них помимо прямого имел также и промышленное назначение: большинство из них были монашеские рыбные артели, два — занимались зверобойным промыслом — били тюленей, моржей

и в старину морских коров, называемых монахами "белухи", доходившими до 150 пудов; теперь этот бесчешуйный зверь, покрытый сплошь белыми волосами, большая редкость, и, как говорят монахи, водится еще в небольшом количестве в Ледовитом океане.

До революции на Соловецких островах насчитывалось приблизительно 900 монахов, и кроме того там жило постоянно от 300 до 500 "годовиков", подростков и молодых людей, преимущественно крестьянских детей северных губерний, в большинстве готовившихся в будущем стать монахами, но до того обучавшихся грамоте, ремеслам и промыслу. Эта молодежь и составляла, главным образом, рабочий элемент островов, руководимый и обучаемый монахами. "Годовиками" их называли потому, что, прибыв в монастырь, они обязывались оставаться там не менее года, но большинство уже не покидало более монастыря. Обучение и содержание они оплачивали своим трудом; их хорошо кормили и одевали, причем многие, не собиравшиеся постричься в монахи, по просьбе и желанию родителей, для основательного изучения ремесла оставались в монастыре по несколько лет. Со времени революции и последовавшей гражданской войны жизнь и вся картина монастыря резко изменились!

Соловки стали одной из баз английского флота; такая-же база, но в меньших размерах была устроена и около Кеми, на Поповом острове, где сооруженные англичанами большие фанерные бараки до сих пор продолжают служить помещением заключенных , ожидающих очередной отправки на Соловецкий остров. Попов остров , находящийся от гор. Кеми в 10 верстах, называется теперь"Кемперпункт" — Кемский пересыльный пункт и набирает в себя всю человеческую массу со всех концов необъятной России, отправляемую в ссылку на Соловки.

Поначалу, в 1922-24 гг. этот пункт действительно был лишь временным этапом, в дальнейшем же, начиная с 1925 г., количество заключенных, постоянно остававшихся в Кемперпункте, все время увеличивалось, но к более детальному описанию этого явления мы вернемся несколько ниже.

Соловки и Попов остров оставались английской базой до 1921 г. После ухода англичан на Соловках остались лишь 65

монахов; всех остальных, кто не выехал самостоятельно раньше, англичане эвакуировали в Финляндию.

В 1922 г. Соловецкие острова были переданы Государственному Политическому Управлению — "Г. П. У.", предназначены как место ссылки и получили название — "Соловецкие лагери особого назначения", или, как их называли сокращенно — "С. Л. О. Н." с управлением на месте, которое называли "У. С. Л. О. Н."

Заселение Соловков заключенными пошло очень быстрым темпом. В 1922 г. приехала комиссия от Г. П. У. из Москвы, которая приняла от монахов острова в свое ведение.

С открытием навигации в 1923 г. начали прибывать первые партии заключенных, которые, между прочим, застали еще конец большого пожара Кремля, подожженного агентами Г. П. У. чтобы скрыть следы грабежа и разгрома, произведенного ими после принятия богатых соборов и церквей, в которых, несмотря на эвакуацию монахов, все-же оставалось еще много драгоценностей.

Один из героев этого грабежа, чекист, но бывший офицер из солдат, лично мне рассказывал, как он нашел в Преображенском соборе в Кремле, в нише за образом, большой образ-складень и несколько десятков медалей IX столетия и какого труда ему стоило вывезти все это незамеченным с острова, причем образ, хотя и признанный им исторической ценностью, ему пришлось сломать и сплющивать молотком для большей портативности.

Первыми аборигенами островов были заключенные архангельских и холмогорских концентрационных лагерей, за ними уже следовали заключенные, высланные из московских и петроградских тюрем. Вначале жизнь на острове казалась раем после тюрем и лагерей на материке; места было много, жили исключительно в кельях монахов, в которых было еще много оставленной ими мебели; к слову сказать, монахи не спали на кроватях, а имели все отличные самодельные деревянные диваны с тонкими, но хорошими тюфячками. Заключенные, приехавшие в 1923 г., почти все обзавелись такими диванами и зачастую имели для себя отдельную небольшую келью.

В смысле продовольствия 23-й год был также исключи-

тельным, так как заключенным выдавали между прочим оставленные монахами в большом количестве мясные консервы и, кроме того, даже иногда кое-что из оставшегося одеяния, как-то фланелевые рубашки, теплые пиджаки, портянки и сапоги, но все это, к сожалению, кончилось в том-же 1923 году.

Комиссия, постоянно наезжавшая осенью из Москвы, узнав, что после англичан осталось много имущества, тут же распорядилась вывезти все эти остатки, коих оказалось еще более 15 вагонов, в Москву, причем уже после принятия этого добра на соответствующие склады в Москве, теплые пиджаки с Соловков, можно было купить на Сухаревке по 2 р. 50 к. за штуку.

Все заключенные, направляемые на Соловки, привозились обыкновенно по железной дороге через гор. Кемь на Попов остров, в Кемперпункт. Из Архангельска на пароходе в Соловки заключенные доставлялись только в исключительных и редких случаях. По доставлении на Попов остров, заключенные проверялись, обыскивались и распределялись по казармам в ожидании очереди отправки их на Соловки; в 1923-1924 гг. обыкновенно долго не оставались в Кемперпункте и дальнейшая отправка зависела лишь от прибытия пароходов с Соловков.

В распоряжении Соловецких лагерей было два парохода, названные "Глеб Бокий" и "Клара Цеткин", а также одна баржа, перешедшие к Г. П. У. вместе со всем прочим имуществом монастыря. Постоянный штат Кемперпункта не превышал в первые 2-3 года 200-300 человек, считая заключенных и администрацию; как уже было сказано выше, пункт этот служил в то время лишь передаточным этапом.

Как на всех Соловецких островах, так и здесь все заключенные мужского пола распределялись по ротам, которых к концу 27-го года на одном лишь Соловецком насчитывалось 13. В Кемперпункте в первые годы была лишь одна рота. В дальнейшем развитии деятельности Г. П. У. на Соловецких островах Кемперпункт стал играть значительно большую роль.

Занять работой всех заключенных на Соловках не представлялось возможным, их труду не было достаточного применения и поэтому Управление Лагерями начало заключать договоры с государственными лесными предприятиями и Северной жел. дор. на посылку заключенных на лесные и

дорожные работы; договаривались на определенное количество человек и по определенной цене за человека.

Первая такая партия, составленная преимущественно из уголовного элемента, в количестве 800 человек была отправлена на работы на материк летом 1925 года. Опыт был неудачным: уже с первых дней работы, несмотря на имевшуюся охрану, начались побеги заключенных-уголовников. Условия жизни были здесь невозможны; кормили отвратительно. Людей приводили большими партиями в безлюдные болотистые леса, иногда за 50-60 верст от Кеми, заставляли сперва строить для себя бараки, а затем уже приступали к подрядным работам. Выдаваемый инструмент был плохой, специалистов не было, руководили работами люди, ничего не понимавшие в строительном и дорожном деле, и вдобавок ко всему зачастую задерживалась доставка и без того скудного и плохого продовольствия. Недовольство и ропот был общий и, конечно, немудрено, что побеги начались с первых дней этой каторжной работы и жизни. Хотя эти работы и производились на материке, но бесследно скрыться удавалось лишь очень немногим, большинство же было изловлено, приведено обратно и расстреляно.

Не только фактический побег, но даже открывшийся сговор и приготовление к побегу карались безапелляционным расстрелом. Шпионаж был везде поставлен очень хорошо, и Г. П. У. прилагало все свои усилия заручиться возможно большим количеством доносчиков среди самих же заключенных, что при небольших поблажках, преимущественно в виде увеличения пайка или облегчения работы, достигалось без всякого труда; изголодавшиеся и раздетые люди зачастую без всякого принуждения сами предлагали Г. П. У. свои услуги. К стыду надо признать, что даже среди интеллигентных заключенных были сотни и сотни доносчиков, или как их называли "стукачей". Возможно, что голод и холод, а также многолетнее соприкосновение с все разрушающим и не имеющим ничего святого — коммунистическим элементом так разлагающе действовало на этих, по всей вероятности, раньше порядочных людей. Нужно было много лет прожить среди коммунистов, этих подонков общества, тунеядцев и в подавляющем большинстве своем воров и грабителей, чтобы понять как трудно удержаться самому

морально чистым и не подпасть под их пагубное влияние.

Дальнейшие партии заключенных, отправляемые на материк на работу, набирались уже главным образом из казаков и не уголовников. Казаки, в количестве более тысячи человек, очутились на Соловках после восстания на Дону и отчасти на Кубани в 1923 году. В Соловки попало при этом сравнительно лишь очень небольшое количество, большинство же, которое надо считать многими и многими тысячами, были расстреляны по всем станицам Дона и Кубани. После беспощадного и кровавого подавления этого восстания, расстрелов и высылок, все хозяйства и хутора были окончательно разорены, имущество реквизировано, весь скот уведен, причем даже на Соловки были присланы несколько сот волов употребленные там сперва для работ в лесу, а затем, по мере их истощения и непригодности к работе, они пошли на прокорм заключенных. Насколько мне известно, случаев побега казаков никогда не наблюдалось.

По мере развития работ на материке количество заключенных, отправляемых на эти работы, превысило в 1927 году 3000 человек, и нужно полагать, что подобная сдача в аренду заключенных приносила Управлению лагерями немалый доход. В связи с этими работами увеличилось и значение "Кемперпункта".

Были построены большие склады, появились магазины, обслуживающие не только заключенных и администрацию, но открытые также и для местного населения; магазины были открыты не только на Поповом острове, но и на материке, был даже открыт универсальный магазин Г. П. У. в городе Кеми. [8] Во всех этих магазинах и лавочках помимо всего необходимого продавалась и водка, которой Г. П. У. начало торговать с лета 1925 года по 3 р. 50 к. за бутылку. Торговали водкой по той же цене и в Соловецком кооперативе для заключенных, но чтобы купить ее, требовалось разрешение заведующего кооперативом, тоже заключенного, что получить, имея деньги, было нетрудно. Что касается цен на товары, продаваемые заключенным, то я могу судить лишь о ценах в кооперативах на Соловках и Кемперпункте, где Г. П. У. не стеснялось наживать с заключенных зачастую больше 100%, продавая, например, нормированные товары, как махорку и сахар — первую вместо

48 по 96 и сахар вместо 32 — 65 коп. за фунт; за простые валенки до колен, очень неважного качества, мне пришлось заплатить 7 руб., а за фланелевую рубашку из партии, оставленной англичанами, и попорченную к тому же дымом от пожара, с меня содрали 4 с лишком рубля. Приблизительно в этом же роде были и все прочие цены.

Для заключения обзора "Кемперпункта" и для характеристики царивших там нравов, как среди заключенных, так и начальства, приведу случаи издевательства, происходившие в 1924-25 годах. С одной из партий заключенных, был доставлен в 1924 г. на Попов Остров бывший офицер Иван Тельнов, человек еще молодой, лет тридцати, энергичный и дельный, но абсолютно беспринципный. Проделав войну — мировую и гражданскую, он эвакуировался с белой армией с юга России в Константинополь, но вернулся в 1923 или 1924 г. обратно в Россию, по всей вероятности, нелегально, и был арестован Г. П. У.

Начальнику "Кемперпункта" бывшему вахмистру Баринову, Тельнов приглянулся, был оставлен на Поповом Острове и вскоре стал старостой лагеря. Как таковой, он принимал прибывавших заключенных и руководил обысками. Заключенные не имели права оставлять при себе денег и были обязаны сдавать их при обыске, вернее до него, т. к. каждого спрашивали, имеются ли у него при себе деньги. Сдаваемые добровольно или отбираемые при обыске деньги вносились на личные счета заключенных и ими они имели право пользоваться при покупках в Кооперативе всего им нужного. Начал Тельнов с того, что стал утаивать часть отбираемых у заключенных денег и таковые пропивать вместе с своим начальником Бариновым, с которым успел подружиться. Этим однако Тельнов не ограничился и дошел до того, что начал насиловать заключенных женщин, проходивших через его руки, как старосты лагеря. Все это осталось бы, вероятно, нераскрытым, если бы он не имел несчастья столкнуться с одной молодой заключенной, видимо, ему очень понравившейся. Оказалась эта женщина московской коммунисткой, в чем-то провинившейся и высланной на Соловки. Но ведь коммунистов, хотя-бы и виновных даже в самых тяжких преступлениях, судят в Совдепии

иначе, нежели всех прочих смертных; для них почему-то всегда находятся смягчающие вину обстоятельства, и не приходилось слышать о случаях, когда коммунисты, приговоренные к заключению или высылке, отбывали бы полный срок своего наказания.

Так было и в этом случае. Упомянутая коммунистка после непродолжительного пребывания на Соловках была прощена и вызвана обратно в Москву. Вернувшись в Москву, в лоно своей партии, она рассказала кому следует, о происходящих в "Кемперпункте" безобразиях и произволе и московское Г. П. У. начало расследование.

Следует еще упомянуть, что Тельнов за время своего пребывания на Поповом Острове сошелся с коммунисткой Фельдман, не заключенной, женщиной-врачем, присланной из Москвы заведывать лазаретом пересыльного пункта. Ходили слухи, что Фельдман была выслана из Москвы своим мужем, большим коммунистом главным прокурором суда, недовольным ее легкомысленным поведением.

Тельнов, сейчас же арестованный, был отправлен в Москву на допрос, но скоро возвращен и водворен в обычное заключение на Соловецком Острове. Баринов и Фельдман были переведены с Попова острова на Соловки, причем первый был назначен начальником I Отделения (Кремль), а Фельдман — начальницей соловецкого лазарета. Вскоре после этого из Москвы пришел приказ о расстреле Тельнова. При казни присутствовали Баринов и Фельдман — экс-метресса и друг. Вместе с Тельновым были расстреляны еще пять заключенных за попытку к побегу; побег оригинальный и на нем стоит остановиться подробнее.

Организаторы этого побега — два брата по фамилии Драгун, были арестованы и сосланы на Соловки по обвинению в контрабанде. Родом они были из Псковской губернии и проживали близь границы. Решившись бежать с Соловков, они подговорили еще троих и скрылись с работ в лесу. Через день трое вернулись добровольно в Кремль и сдались на милость начальства; оставались в бегах два брата Драгуна, из которых младший был скоро пойман охраной, разосланной по всему острову для поисков беглецов. Все четверо были посажены в изолятор — так сказать, тюрьма в тюрьме. Старший брат

Драгун пропал — как в воду канул; полагали уже, что он где-нибудь погиб, так как скрыться с острова он не мог — все лодки были налицо; поиски и облавы прекратились; с момента побега прошло уже больше двух месяцев. Но все-же несчастному исстрадавшемуся беглецу не повезло: — его увидели с маяка, одним осенним утром, после бурной ночи приближающимся в лодке к берегу.

Оказалось, что все это время он скрывался в лесу, скитаясь по всему острову, укрываясь от облав и охраны, подходя иногда осторожно к партиям заключенных, работавших в лесу, и получая от них кой-какие скудные продукты и подготовляя осторожно свой побег с острова. Всё им было подготовлено хорошо, ночь была теплая, но не предусмотрел прилива и, выбившись за ночь совершенно из сил, был к утру прибит к берегу и схвачен охраной с маяка. Расстреляны были все пять беглецов, даже те трое, которые в первый же день добровольно вернулись обратно.

Побеги были часты; обреченные люди не могли привыкнуть к страшному и несправедливому режиму и предпочитали рискнуть жизнью, нежели продолжать еще много лет эту сверхкаторжную жизнь. Нередки были также случаи самоубийств.

Случаи удачных побегов с Соловков были очень редки, их можно считать единицами. Чтобы спастись, нужна теплая ночь, сильный ветер, умение ориентироваться без компаса, большая отвага и главным образом, благоприятное стечение многих привходящих обстоятельств. Так, например, в октябре 1927 г. бежали из Кремля пять заключенных — четыре морских офицера и один матрос, приговоренные каждый к десяти годам строгого заключения на Соловках. Скрылись они все вместе ночью, спустившись с высокой стены, окружающей Кремль, и взяв на берегу, вдали от Кремля, рыбачий баркас с парусом, направились не прямо на материк, как это обыкновенно делали большинство беглецов, а взяли направление к финской границе, находящейся от Соловков приблизительно в 200 верстах. В данном случае побег удался, чему в значительной степени способствовало знание морского дела, темная и длинная ночь и попутный сильный ветер. Высланные утром, после обнаружения побега, два парохода и моторный катер, не могли их нагнать, и

беглецы благополучно достигли Финляндии.

Вернемся, однако, опять к Соловкам. С Попова острова заключенные, отправляемые на Соловки, погружаются на пароходы и буксируемую пароходом баржу. Расстояние в 80 верст до острова, в зависимости от погоды, пароход проходил в 4-5 часов, но в бурю поздней осенью пароход берет иногда 8 и 10 часов, особенно когда море бывает покрыто плавучим льдом, что начинается обыкновенно уже в сентябре, но бывает иногда и раньше.

Пароходы продолжают рейсы почти всегда до 15-25 декабря; открывается же навигация в конце мая-начале июня. В зимние месяцы Соловки обслуживаются поморами, они доставляют на остров корреспонденцию, газеты и небольшие посылки, но эта доставка нерегулярна и зачастую, в связи с погодой, Соловки бывают совершенно отрезаны от материка в течение 4-6 недель.

В 1924 году Управление лагерей для экономии заменило поморов заключенными чекистами, но экономический опыт этот не удался и чуть не стоил жизни всем посланным пяти заключенным; 20 дней, затертые льдами, почтари перебирались со своими лодками с льдины на льдину и наконец полуживые, с отмороженными ногами и руками пристали где-то к берегу верстах в двадцати от Кеми; после этого зимний транспорт был вновь передан помором.

По прибытии на Соловки, заключенных сводили на берег, опять проверяли и затем попарно, с котомками или немногочисленным своим багажом, под конвоем вооруженной охраны отводили в Кремль. Женщин после проверки конвоировали в женбарак. Женский барак находился вне Кремля и для него была отведена большая женская гостиница — просторный и вместительный двухэтажный деревянный дом. В первые годы женщин было немного; еще в 1924 г. их было не больше трехсот, но с осени этого года количество их стало постепенно увеличиваться.

В Кремле производился очень строгий и детальный прием заключенных вновь прибывших каторжан. Как везде в Советск. России, так и здесь процедура приема начиналась с заполнения анкет с многими десятками вопросов. После этой регистрации, продолжавшейся для партии в 200-300 человек часа 3-4,

приступали к сортировке, отбору и распределению заключенных по ротам. Здесь, как и повсеместно теперь в Совдепии, составлялись группы привилегированных. В эти группы входили все провинившиеся чекисты и члены коммунистической партии, затем сотрудники Г. П. У., т. е. доносчики, обслуживавшие Г. П. У. и чем-нибудь навлекшие на себя неудовольствие этого высокого и гуманного учреждения, и, наконец, провинившийся командный состав и нижние чины войск особого назначения Г. П. У. Эта группа, так сказать, аристократия Соловков, составляла в Кремле отдельную роту. Из этой роты набирались кадры охраны и из нее же в дальнейшем комплектовались смотрители, руководители и заведующие разными производствами и отраслями работ на Соловках. На тяжелую работу никто из них никогда не посылался и подавляющее их большинство, если только не были какими-нибудь специалистами, составляли охрану всех Соловецких островов и скитов на них.

Был на Соловках еще полк красноармейцев, количеством около 800 человек, помещавшийся вне Кремля, но этот полк, составленный из обыкновенных призывников, представлял собой то же, что и все прочие красноармейские полки; размещен полк был в отдельных казармах, имел свое командование, отдельное хозяйство и был помещен на Соловках лишь на случай усмирения возможного восстания заключенных.

Большинство чекистов были высылаемы за взятки и кражи; много было между ними следователей Г. П. У., и между этими последними была масса евреев. Должности следователей при Г. П. У. были одними из самих выгодных: следователи производили аресты и обыски, крали при этом все, что только можно было разместить по карманам, в первую, конечно, очередь драгоценности, валюту и деньги, а при допросах, за взятки, смягчали приговор и даже совершенно прекращали порученное им дело.

Арестованные чины войск Г. П. У. присылались на Соловки преимущественно из пограничных губерний — петроградской и псковской — и обвинялись в котрабанде и пособничестве переходу границы за деньги. Контрабандой, по их рассказам, занимались поголовно все чины пограничной стражи Г. П. У.,

одинаково как начальство, так и все подчиненные; для этой цели существовали специальные организации, имевшие агентов за границей, в приграничной полосе. Эти же организации принимали на себя поручения с гарантией доставки в целости за границу лиц, пожелавших покинуть свое милое отечество. Зачастую при этом были обманы и провокации, и многие сотни и сотни легковерных людей поплатились при подобном переходе границы своей жизнью.

Многим удавалось переходить границу, не обращаясь к помощи этих услужливых агентов Г. П. У., большинство же или излавливалось или пристреливалось при попытке перехода. Эти пограничники, между прочим, также рассказывали, что через персидскую, афганскую и главным образом через китайскую границу проходит значительно больше народа и с меньшим риском, нежели через эстонскую, латвийскую и финскую; из-за громадных расстояний и отсутствия достаточной охраны там это гораздо легче.

Начальник Соловецких лагерей, его главные помощники и несколько лиц высшей администрации, конечно, все коммунисты, не являются заключенными в полном смысле этого слова. Все они получают назначения на Соловки от московского Г. П. У., перебираются туда с семьями, живут совершенно свободно, в хороших и обставленных квартирах, имеют даровую прислугу из заключенных и все получают жалованье. Однако неспроста последовали все эти назначения, а были последствием различных провинностей, возможно, не столь серьезного характера, за которые этих лиц все же следовало наказать и удалить на определенное время. Так, например, главный начальник лагерей — эстонец, чекист Эйхманс, совсем молодой еще человек из недоучившихся гимназистов, был переведен из Москвы на Соловки за беспробудное пьянство, чем, однако, продолжал заниматься и там, живя в отдельном доме, как в своей усадьбе, в трех верстах от Кремля. У себя же он поселил двух-трех приятелей чекистов, таких же горьких пьяниц, имел женскую и мужскую прислугу, держал лошадей и кучера, ходил постоянно на охоту и, одним словом, старался всеми силами скрасить монотонную жизнь. После двухлетнего начальствования на Соловках Эйхманс надеялся вернуться в Москву, но получил

предписание остаться и впредь еще начальником лагеря. В этом же роде было и все прочее начальство, из которого мы упомянули уже выше начальника I Отд. Баринова и докторшу Фельдман.

Заключенные непривилегированные и без специального образования размещались по рабочим ротам и, независимо от возраста, положения и даже состояния здоровья, с следующего уже утра после прибытия посылались на лесные разработки под конвоем вооруженной охраны. Исключение делалось лишь для лиц духовного звания, которые должны были работать на заводах и в мастерских, обслуживали промысла, склады, распределяли продовольствие между заключенными и работали в канцеляриях. Духовенство жило отдельной ротой и не принуждалось к работе в лесу; но помимо этого не пользовалось никакими преимуществами; получало духовенство тот же паек, что и прочие заключенные, но в продовольственном отношении им жилось легче и лучше, т. к. оставленная ими паства продолжала поддерживать их в заключении, и большинство из них получали продовольственные посылки, частью от своих почитателей, частью от оставшихся родных из дома.

Духовенство и арестованные по церковным делам имели право посещать церковь на кладбище около Кремля; всем другим заключенным посещение церкви было запрещено. Служили в церкви оставшиеся на Соловках монахи, а также по желанию, сосланное духовенство; службы на Рождество и Св. Пасху были постоянно очень торжественны и зачастую в подобных службах принимало участие более десяти архиереев. Один из священников, работавший в канцелярии лагеря, много мне рассказывал, что случаи посещения его коммунистами для исповеди и благословения бывали у него весьма часты. Жена начальника Баринова была ревностной посетительницей церкви, прикладывалась к образам, шла под благословение и на Соловках же окрестила своего ребенка; возможно, что она сделала это без ведома мужа, но посещение ею церкви было ему определенно известно.

Вновь прибывших специалистов обыкновенно сразу же направляли на работы по специальности. Отлично всегда умели устраиваться евреи, в большинстве это были всё спекулянты,

тоговцы, валютчики, комиссионеры, проворовавшиеся служащие трестов и кооперативов и вообще лица, игравшие роль в экономической жизни Советской России. Эти проныры с первых же дней прибытия на Соловки, умели находить теплые местечки и самую легкую работу; устраивались преимущественно по разным канцеляриям управления Лагеря, бухгалтерами и счетоводами на заводах и мастерских и полностью завладели всеми кооперативами как на Соловках, так и на материке. Евреи же руководили лесными разработками и материальными складами, портняжной, обувной и сапожной мастерскими, устраивались при лазаретах, были докторами и дантистами, а один из них, некто Френкель, приговоренный в Москве к расстрелу, замененному ему ссылкой на Соловки на десять лет, умудрился даже стать одним из помощников начальника Лагерей Эйхманса и стал главным заведующим хозяйством и всеми предприятиями Соловецких островов.

Уже с начала 1924 года всех непривилегированных заключенных за неимением более свободных мест в кельях начали размещать по церквам в Кремле. Здесь условия жизни были самые невероятные. В церквах Кремля, вдоль стен и посередине в несколько рядов, были устроены деревянные нары, но лишь очень немногим и на них не хватало места; приходилось устраиваться на каменном, холодном, грязном и мокром полу. В 1925 году стали делать нары в два и три яруса, но несмотря на это, мест для всех заключенных никогда на них не хватало. Так жили насчастные заключенные в рабочих ротах — XI, XII и XIII, ой в которых размещались все вновь прибывающие и в которых зачастую бывало более 200 человек в каждой. Разницы между уголовным элементом и всеми прочими, называемыми контрреволюционерами, никакой не делалось и все [17] размещались вперемешку по этим ротам. Кражи здесь были постоянным явлением и бороться с этим злом не было никакой возможности; заключенные лишались своих последних, и без того скудных запасов; командиры рот и их помощники, в большинстве сами из уголовных, в своих же интересах и зачастую будучи сами косвенными участниками краж, конечно, никогда никого не выдавали.

Между уголовниками была распространена отчаянная игра в

карты, изготовлявшиеся ими самими из пергамента старых монастырских книг. Играли обыкновенно поздно вечером и ночью, и объектом игры служили пайки, одежда, обувь и, если у проигравшегося больше нечего было ставить, то он обязывался украсть определенную какую-нибудь вещь у другого заключенного и в случае проигрыша доставить ее своему счастливому сопернику; исполнение взятых на себя обязательств выполнялось всегда в точности. В этом отношении уголовным преступникам надо отдать справедливость — товарищество у них было развито сильно, друг за друга они стояли горой и, если бывали случаи выдачи одним другого, то они карались беспощадно. Командир XI роты Лин, железнодорожный вор, постоянно бивший и притеснявший заключенных своих же товарищей уголовников, освобожденный в 1925 году досрочно с Соловков, был за это убит своими же в 1926 г. в гор. Астрахани. Еще хуже обстояло дело на "Секирной Горе", или как ее называли сокращенно "Секирка" — один из скитов верстах в семи от Кремля, куда отправлялись и заключались провинившиеся уже на Соловках арестанты. Но более подробное описание об этом мы дадим ниже.

На рабочих ротах заключенных будили не позже шести часов утра; одевшись и помывшись на дворе Кремля (в ротах не было ни уборных, ни умывальников) шли за кипятком на кухню. Хлеб выдавался обыкновенно 2-3 раза в неделю, из расчета один и полтора фунта на день на человека, в зависимости от работы заключенного; чай и сахар выдавали так же, но в количестве далеко недостаточном, как и хлеб, принимая во внимание тяжелый физический труд. При этом хлеб был плохого качества и всегда неимоверно мокрый, что происходило оттого, что пекаря обязаны были давать 40% припеку.

В 6 1/2 часов была поверка роты, производившаяся в плохую погоду в самой роте, в хорошую — на площадке, вернее даже — на длинном открытом балконе перед церковью, в которой помещалась рота, или еще на дворе Кремля. После поверки составлялись партии, которые отправлялись под вооруженным конвоем в лес и на другие работы вне Кремля; иногда на эти работы заключенных гоняли за несколько верст. Хуже всего на тяжелых работах было то, что заключенным

приходилось выходить почти совершенно раздетыми. Управление Лагерями обязано было выдавать обмундирование, но его было далеко недостаточно и счастливы были уже те, кто получал старую, дырявую красноармейскую шинель и лапти; сапог, также старых и изношенных, военного образца, в лучшем случае приходилось по 5-10 пар на сто человек, и в таких сапогах или лаптях, прикрыв нижнее белье дырявой шинелью, приходилось работать круглый год. Я лично видел в октябре 1926 г. партию заключенных из одиннадцати человек, отправлявшихся под конвоем из Кремля на работу, из которых шесть человек шли в одних кальсонах, рубашках и лаптях, причем это было во время снежной вьюги и при 10 градусах мороза. Работа в лесу, особенно для заключенных незнакомых с ней, была очень тяжела и считалась самой трудной в сравнении со всеми прочими работами.

Партия, доставленная в лес, делилась на группы по три человека каждая и такая группа обязана была спилить, обсучить, распилить и сложить в один день одну кубическую сажень дров. Поленья должны были быть полутора аршин длины и назывались балланами. Зачастую рубка и пилка производилась в одном месте, а складывать балланы приходилось за несколько сот шагов от места работы, или у дороги, или на берегу озера; затрудняло работу еще то, что Соловки вообще гористы и таскать на плече балланы по 2-3 пуда, а иногда больше, было неимоверно тяжело. Время работы не было ограничено — надо было закончить данный урок и часто бывали случаи, особенно поначалу, что не привыкши еще к подобной работе, заключенные оставались в лесу с раннего утра и до позднего вечера, понукаемые ежеминутно охраной и десятниками, не имевшими права оставлять заключенных до окончания урока и торопившимися вернуться в лагерь. Сколько раз приходилось наблюдать неопытных еще новичков, не знавших никогда раньше подобной работы, возвращавшихся вечером в свою роту и бывших настолько измученными, что, забыв голод, они валились на свои нары или на пол промокшими, какими вернулись из лесу, и моментально же засыпали мертвым сном.

Конечно, подобную работу переносили далеко не все, слабые и несумевшие к ней приспособиться заключенные, обыкновенно

еще раньше месяца приходили в полную негодность, теряли последние силы и вынуждены были просить начальство перевести их на более легкую работу.

Если такой несчастный, располагал деньгами на счету, или мог уделить что-нибудь из своей одежды или белья, то он без труда сговаривался с помощником командира роты или самим командиром и за взятку переводился на другую работу. Будучи обеспеченным, живя на посылки из дому и имея деньги в кооперативе, делясь с начальством, можно было избавиться вообще от всякой работы, но таких счастливчиков было, к сожалению, очень немного.

Необходимо упомянуть, что, как во всех советских учреждениях, так и здесь на Соловках, за взятки в любом виде, можно было добиться чего угодно. За взятку переводили на усиленный паек, в лучшее помещение, зачисляли в канцелярии и можно было даже получить очень приличное обмундирование.

В 1925 году с одной из партий были доставлены на Соловки арестованные в Петрограде мексиканский консул в Александрии граф Виолара со своей женой, рожденной грузинкой. Вызваны они были из Александрии в Тифлис проживавшим там отцом жены консула, серьезно заболевшим и скончавшемся затем у них же на руках. Возвращаясь обратно за границу после смерти отца и остановившись на несколько дней в Петрограде в Европейской гостинице, они были арестованы перед самым своим отъездом. Обвинили консула и его жену в шпионаже и после продолжительных мытарств по тюрьмам Петрограда и Москвы, они очутились на Соловках. Граф Виолара, видимо человек богатый, сумел сразу же устроиться и, несмотря на незнание русского языка, был назначен заведующим "био-садом", в котором находились — один орел, несколько чаек и уток и два-три северных оленя; там-же ему с женой отвели очень приличное помещение. Этот зоологический сад находился приблизительно в трех верстах от Кремля, в лесу, вблизи усадьбы начальника Эйхманса, который, со времени появления новых соседей, вероятно, им же самим себе выбранных, стал бывать у них частым гостем.

Другим заключенным совместное проживание с их женами, тоже заключенными, не разрешалось; в лучшем случае, свидания

разрешались один раз в неделю по одному часу. Взятки в Совдепии самая магическая сила и всюду открывают дороги.

Несколько сот заключенных занимали разные канцелярские места при Управлении Лагерями особого назначения. Помещалось это управление у самой пристани, вне Кремля, в большом трехэтажном каменном доме и было высшей инстанцией всех Соловецких островов; ему-же был подчинен Кемский пересыльный пункт. В этом же доме помещались служебные кабинеты начальника Лагерей и его помощников, а также главная бухгалтерия, финансовая часть и касса. В нижнем этаже несколько комнат были отведены под Кооператив и его склады. Другая, тоже большая канцелярия, помещалась в самом Кремле и занимала бывшие покои настоятеля и все трапезные монахов. Эта канцелярия ведала регистратурой всех заключенных, перемещениями их, продовольствием и, кроме того, всеми делами I Отделения. Здесь же, рядом, было отведено помещение для канцелярии старосты лагеря, а также комнаты для него и его помощников. Всем канцелярским служащим приходилось работать много, но труд их был не тяжелый и, кроме того, все они жили, хотя очень скученно и тесно, но все же в теплых и сухих помещениях — бывших кельях монахов и числились все в X роте. В кельях, предназначенных для одного монаха, помещалось 5-6, а иногда и больше заключенных.

Как в других ротах, так и в этой поверки производились дважды в день — утром и вечером. Вставали в семь часов утра, в восемь шли в канцелярии и работали до 12-ти; затем обеденный перерыв до 2-х часов, а с двух работали вновь до семи. К обеду всему лагерю выдавали большую тарелку супа и в изобилии кипяток. Суп был отвратительный — мясной редко, главным образом, рыбный, из соленой трески с одним, в лучшем случае, двумя маленькими кусочками плававшего в нем картофеля. Вечером, после семи, выдавали по 16 золотников гречневой или пшенной каши и опять в неограниченном количестве кипяток. Это было все, что получали заключенные в течение дня, с тою лишь разницей, что занятые физическим трудом получали 11/2 фунта хлеба в день, а все остальные по одному. Работали в Соловках семь дней в неделю, ни воскресений, ни праздничных дней не соблюдалось.

Несколько лучше обстоял вопрос с продовольствием на рыбных промыслах: промысловые артели получали продовольствие натурой, имели своего кашевара и, конечно, не стеснялись пользоваться в нужном количестве пойманной рыбой. В побережных скитах, где жили эти артели, помещение было также несравнимо лучше, чем в церквах Кремля. При рыбных артелях постоянно находилась вооруженная охрана, но жилось там легче, сытнее и гораздо свободнее, и попасть заключенному в такую артель было большим счастьем.

Ловили преимущественно сельдь и треску и уловы, смотря по времени года, бывали огромны. Рыба тут же солилась и отправлялась в рыбное отделение в Кремле, где сортировалась в бочки и затем направлялась по всей России. В зимние месяцы, штаты рыбных артелей сокращались и, снятые с работы, заключенные, возвращались обратно в Кремль на другие работы; в скитах оставался вольнонаемный монах,руководитель артели и несколько специалистов рыбаков, из заключенных же, занимавшихся зимой приведением в порядок и починкой неводов и других рыболовных снастей.

Заключенные, работавшие на заводах и в мастерских, находившиеся вне Кремля, были в большинстве также сухопайщиками, т. е. получали продовольствие натурой и жили обыкновенно своими артелями, зачастую тут-же, при своих предприятиях. Вообще нужно сказать, что каждый заключенный, живший в Кремле, прилагал все старания выбраться из него, безразлично куда, но лишь бы жить вне его стен; жизнь вне Кремля была значительно спокойнее, проходила не на глазах начальства и в продовольственном отношении была много лучше, но получить такое назначение, не имея протекции или денег, было очень трудно.

Много сот заключенных было занято на кирпичном заводе построенном монахами, и на вновь организованных в 1925 году торфяных разработках. Кирпичный завод был увеличен Управлением лагерей, и ему был придан промышленный характер. Назначенный заведывать заводом фармацевт из евреев, выдававший себя за специалиста, действительно увеличил производство, на основании чего Управление подписало контракт на поставку большой партии кирпича Северной жел.

дор., но качество его было настолько плохим, что при сдаче кирпича на материке в Кеми с самого начала возникли недоразумения и в конце концов кирпич пришлось уступить по ценам много ниже своих, лишь бы сбыть.

Была на Соловках еще группа заключенных, называвшаяся "политической"; эта группа состояла приблизительно из шестисот заключенных, мужчин и женщин, бывших активными членами различных политических партий, преимущественно соц.-револ. и социал-демократов. Арестовывались они постепенно, с самого начала Октябрьской революции, по мере того, как списки этих партий попадали в руки Г. П. У. Поначалу они были размещены по разным тюрьмам Сов. России и Сибири, но в 1923 и 1924 годах их доставили и сосредоточили на Соловках и отвели им Савватьевский скит. Скит этот находился в 10 верстах от Кремля и был самым большим на острове. Савватьевский скит, с небольшим участком леса, был обнесен колючей проволокой и заключенные в пределах отведенной им территории пользовались полной свободой. На работу политических заключенных не посылали, кормили лучше, чему в значительной степени помогали постоянные продовольственные посылки политического Красного Креста. "Политические" были совершенно изолированы и не имели никаких сношений с прочими заключенными острова — за этим днем и ночью следила вооруженная охрана этого скита. Около версты от "Савватьева" еще и сейчас видна небольшая площадка в лесу около дороги с камнем посередине и выбитыми на нем именами, где в 1924 г. были расстреляны пять "политических" заключенных за подготовлявшийся ими бунт. В числе этих расстрелянных были две женщины.

В июне 1925 года вся эта группа по распоряжению из Москвы была эвакуирована обратно в Россию и вновь размещена по разным тюрьмам. Причина эвакуации была та, что они организовали недозволенную отправку и получение писем из России и даже из-за границы через поморов, проживавших по побережью материка и наезжавших иногда на остров с разными местными продуктами для кооператива и начальства, преимущественно картофелем и яйцами. Среди этих заключенных было около десяти маленьких детей, прижитых

уже за время совместного пребывания в Савватьевском скиту. Около половины политических — были евреи и еврейки. Количество заключенных в Соловках и Кеми постоянно увеличивалось: к концу 1923 г., первого года заселения, заключенных было несколько менее 2000; в 1924 г. дошло до 4000, к концу 1925 г. дошло до 7000, а в октябре 1927 г. перевалило уже за 12000; в это число входили также заключенные, работавшие на лесных разработках и постройке дорог на материке.

Неизменно, но в обратной пропорции, менялся и классовый состав заключенных; поначалу на Соловки ссылали преимущественно интеллигенцию, потом в большинстве, с развитием преступности, хулиганства и полного падения нравов во всей России, преобладающим элементом стали уголовники, одинаково мужчины и женщины, причем, например, последних, в 1924 году было не больше 300, в 1927 же году уже более 2000.

Роль женщины на Соловках была в высшей степени унизительна. Помимо того, что власть имущие принуждали их к насильственному сожительству, их заставляли производить всю грязную работу. Очень лишь немногим удавалось пристроиться в Канцелярии, на работу на молочные фермы или в прислуги к начальству. Коснувшись заключенных женщин, нельзя обойти молчанием случай, имевший место в октябре или ноябре 1925 года. На Соловки была доставлена партия женщин около 500 человек, если мне не изменяет память, их было ровно 490. Была уже зима и лежал высокий снег. Женщины эти были привезены из Москвы и были преимущественно проститутками, содержательницами притонов, посетительницами государственных клубов (других в Сов. России не имеется и открыты они 24 часа в день), ресторанов и подозрительных кафе и арестованы они были в связи с декретом об очистке столицы от преступных и сомнительных элементов. Хватали их вне дома, на улицах, в разных злачных местах и в том виде, как они были, доставляли на вокзал и сажали в заранее заготовленные арестантские вагоны. Многие из них были в вечерних платьях, открытых туфельках и большинство совершенно без денег. Зайти домой и взять с собой хотя бы смену белья, простое платье или что-нибудь теплое никому не было позволено, и поэтому они появились на Соловках в самом жалком и невероятном наряде.

К слову сказать при большевиках проституция совершенно запрещена, но никогда она не расцветала таким махровым цветом, как именно теперь при них. Женбарак на Соловках, переполненный уже без того сверх всякой меры, принять вновь прибывших женщин фактически не мог и вследствие этого, продержав их продолжительное время на морозе у пристани для поверки и решения их дальнейшей участи, их наконец отправили в Савватьевский скит в 10 вер. от Кремля. Повели пешком, лесной дорогой, по глубокому снегу. Надо было видеть шествие этих голодных, измученных и несчастных женщин, чтобы понять весь трагизм их положения. Прибыли они наконец в скит, но оказалось, что и там места далеко недостаточно, отправлять их еще дальше, как это хотело савватьевское начальство, не было положительно никакой возможности — женщины были лишены последних сил и валились с ног; их разместили в широких и длинных корридорах на полу. На следующий день, после медицинского осмотра, оказалось, что здоровых из всей этой партии было только сорок женщин — 450 были больны разными венерическими болезнями и туберкулезом. К осени 1927 г., перед моим отъездом с Соловков, более 300 женщин этой группы успели умереть.

Серьезное лечение и усиленное питание могли себе позволить лишь заключенные, имевшие деньги на уплату всего этого. В 1926 году Управлением лагерей была устроена в Кремле столовая, в которой заключенные, за небольшую сравнительно плату, могли получать довольно сносный обед, ужин, а также чай, кофе, молоко и хлеб, но пользоваться всеми этими благами, за неимением денег, могли лишь очень немногие заключенные.

Для развлечения Лагеря был оборудован в небольшой церкви в Кремле театр, где поначалу довольно редко, а в дальнейшем еженедельно, самими же заключенными разыгрывались небольшие пьесы, преимущественно старого репертуара. Определенное количество билетов на эти спектакли рассылались по всем ротам и помощники командиров распределяли их между заключенными.

В 1926 году был даже устроен платный кинематограф, причем заключенному, взявшему два билета, позволялось передать один билет в женбарак, заключенной по его указанию, с

которой, он, таким образом, имел право провести весь вечер в театре.

Встречаться и разговаривать с женщинами при других обстоятельствах было строго запрещено и пойманные на месте преступления наказывались до карцера включительно, но несмотря на все эти строгости и запрещения, ухаживания и шашни были постоянным явлением.

Весной 1925 года, благодаря провокации своего же товарища, были произведены массовые аресты бывших лицеистов, преимущественно в Петрограде; из них около пятидесяти были высланы на Соловки, а около тридцати были расстреляны в ночь с 4-го на 5-е июля того же года. Инкриминировались им сношения с Западной Европой и получение материальной помощи от своих товарищей-эмигрантов.

Среди заключенных на Соловках было, между прочим, 12 офицеров Преображенского полка, высланных туда на три года и провинившихся лишь в том, что в день полкового праздника они отслужили в своем соборе панахиду и молебен.

Большим злом на Соловках были так называемые "ударники" — срочные работы, производившиеся иногда и по ночам и не освобождавшие заключенных от обязанности исполнения своей постоянной дневной работы. Привозили пароходы и баржи муку, соль, каменный уголь, сено для лошадей полка, разные товары для кооператива, сейчас же назначался ударник; приходилось отправлять с острова на материк балки, кирпичи, соленую рыбу — опять ударник. Зимой, при глубоком снеге, назначались ударники для прокладки заключенными лесных дорог, занесенных снегом, чтобы облегчить волам и лошадям вывоз лесного материала. Для этой ударной работы заключенные ставились тесно в ряд по 6 и 8 человек, и так один ряд за другим, должны были утаптывать снег, который часто доходил до пояса; пройдут известное расстояние — передние два-три ряда отводят назад и их место занимают следующие и так это продолжалось до тех пор, пока вся дорога не была пройдена.

При недостаточности пайка, тяжелом физическом труде и полном отсутствии гигиены, лазарет был всегда переполнен

больными; преимущественно болели цингой и притом в очень тяжелой форме. Смертность была ужасающая и чтобы скрыть от заключенных количество умиравших, хоронили только по ночам. Для этой цели в течение лета рыли на кладбище длинные, но неглубокие канавы десятками сажен длиной, в много рядов и в них, конечно, без гробов и какого-либо одеяния, зарывали умерших и расстрелянных.

Расстрелы производили ночью у самых канав, и звуки выстрелов были совершенно ясно слышны в Кремле. Стреляли из наганов в затылок, и если палач, обыкновенно кто-нибудь из начальства, попадал верно, то у казнимого разрывная пуля сносила половину головы. Трудно проверить слухи, доходившие до заключенных из лазарета, но, по словам медицинского персонала, смертность доходила до 20% всего количества заключенных.

Обращение с заключенными было зачастую очень жестоким; избиения были обыкновенным явлением, но были также наказания, возможность которых по своей жестокости нормальный человек не в состоянии даже себе представить и допустить подобной расправы и издевательства над живыми людьми. К этим наказаниям следует отнести — "ставить на комары" и сажание в "каменный мешок". Первая пытка производилась только летом с появлением комаров и состояла она в следующем: провинившийся заключенный выводился двумя охранниками в лес; здесь его раздевали догола и крепко прикручивали к дереву; не проходило нескольких минут , как все тело несчастного истязуемого сплошь облеплялось тысячами комаров; двигаться и защищаться жертва не могла, и самые сильные и здоровые редко выдерживали подобную пытку более получаса, обыкновенно истязуемый терял сознание уже через 15-20 минут.

Сажание в "каменные мешки", или как их еще называли "колодцы", имеет на Соловках свою историю: устроены были эти мешки в громадных стенах, окружающих Кремль, по приказанию Ивана Грозного. Это были действительно колодцы, аршин 5-6 глубиной и около 1/2 аршина шириной; отверстие было с боку стены, почти на самом верху ее; отверстие колодца было невелико и позволяло лишь спустить в него человека; дно

колодца было совершенно темным и лишь наверху было видно пятнышко света. В этих мешках томились бояре Грозного, ссылаемые в Соловки за неповиновение. Последними жертвами мешков были стрельцы Петра Великого, после чего, до воцарения большевиков, не было ни одной подобной пытки.

При Грозном редко кто выходил из колодцев живым; при большевиках наказание ограничивалось несколькими неделями. Хлеб и воду спускали заключенным на веревке; естественные потребности производились там же на дне колодца и, конечно, нечистоты никогда не убирались и колодцы никогда не вычищались. Всему этому трудно поверить, но это неопровержимые факты и на них есть тысячи свидетелей.

В октябре 1926 г. комиссия, приехавшая из Москвы, запретила эти пытки, но затем их стали вновь применять. Упомянув об этой комиссии, не лишним будет дать более детальную характеристику ее деятельности на Соловках. Каждый год осенью, обыкновенно в октябре, приезжала из Москвы комиссия в составе 5-7 человек для ревизии и разгрузки лагеря. Возглавлялась эта комиссия постоянно Катаньяном и Фельдманом; первый из них был председателем Трибунала, второй — главным прокурором Республики. Пребывание этой комиссии на Соловках не превышало одной недели, причем главное внимание было обращено на охоту, делами занимались исподволь, по вечерам. По распоряжению начальника лагеря к приезду этих знатных московских господ изготовлялись списки заключенных предназначенных к досрочному освобождению. В такие списки заносилось до тысячи заключенных и они утверждались далеко неполностью этой комиссией. Характерно, что подавляющее количество освобожденных составляли уголовники; затем шли члены партии, чекисты и охранники; все эти лица получали полную свободу и могли ехать куда им угодно. Количество освобождаемой до срока интеллигенции редко превышало 20 человек на всю освобождаемую партию и были это преимущественно старики и больные, неспособные к работе. Всем интеллигентам, досрочное освобождение заменялось вольной высылкой на 3 года — "минус 6", что означало предоставление освобождаемому права самому выбрать себе место пребывания по всей стране, кроме

пограничных губерний и кроме шести городов — Петрограда, Москвы, Харькова, Киева, Одессы и Ростова н/Д. Все освобождаемые получали "литеры" — даровые билеты до избранного ими места пребывания, но до Москвы или Петрограда доставлялись под конвоем вооруженной охраны.

"Секирная Гора" или "Секирка", о которой мы упоминали выше, была раньше также монашеским скитом и находилась верстах в семи от Кремля, на восточной стороне острова, на горе и служила как бы исправительной ротой Соловецких лагерей. На Секирку ссылались все неисправимые заключенные, и контингент ее состоял исключительно из уголовных преступников. Режим был строже еще, чем в Кремле, и кормили заключенных отвратительно; большинство сидело на хлебе и имело лишь нижнее белье. Несмотря на голод и холод, угрозы, битье и расстрелы, эта категория заключенных была действительно неисправима; там также процветала карточная игра и разврат, не поддающийся описанию. Проигрывать, кроме хлеба, было нечего, красть также, а поэтому на карты ставились суставы пальцев, уши, умышленное ранение своего тела, а был случай, когда игравший обязался прыгнуть при проигрыше, с высоты второго этажа, в отхожее место, что он и исполнил, и откуда был лишь с большим трудом извлечен.

Все это мне лично рассказывал начальник охраны, человек, которому у меня нет оснований не верить и который знал этот преступный мир по своей прошлой деятельности.

В заключение статьи расскажу еще об одной попытке к побегу, имевшей место на Соловках в конце 1923 года. Участниками побега были 11 человек, преимущественно кавказские горцы. Беглецы скрылись с Соловков ночью, раздобыли большую рыбачью лодку и благополучно достигли материка недалеко от Кеми. Лодку бросили и надеялись лесом добраться до финской границы. В одной из деревень по пути они обезоружили находившихся в ней нескольких красноармейцев и, завладев оружием и патронами, продолжали свое бегство.

Высланная утром усиленная погоня без особого труда напала на их след и начала преследование. Заметив на второй или третий день преследующую их охрану и видя, что без боя им не уйти, беглецы забаррикадировались в пустом сарае вблизи

какой-то деревни и решили защищаться. Несколько дней продолжалась осада; двое беглецов в перестрелке были убиты, все остальные ранены, некоторые тяжело: имевшиеся патроны пришли к концу, кроме того мучил голод, холод и жажда, и в результате несчастным все же пришлось сдаться.

Доставленные сперва на Попов Остров, а затем на Соловки, все они были помещены в лазарет, где им были сделаны перевязки и принялись за их лечение, а через неделю, ночью, почти в безнадежном состоянии, не будучи в состоянии идти, все девять человек были свалены на телегу, привезены на кладбище и лежа расстреляны

К сожалению, я лишен возможности описать еще много случаев бесчеловечного отношения к несчастным заключенным; лишен этой возможности потому, что предание многих фактов гласности, неминуемо вызвало бы тягчайшие репрессии и новые казни многих лиц, находящихся и сейчас еще в этом Советском Раю.

О РУКОПИСИ "СОЛОВКИ"

В рукописном отделе Женевской публичной и университетской библиотеки сохраняется тонкая тетрадь под шифром l. e. 265, объемом в 31 лист. Текст написан на одной стороне листа. Тетрадь является копией, т.к. это — отпечаток синей копирки. Написана она четким почерком, очень тщательно, с незначительными исправлениями. Очевидно, оригинал был беловиком, предназначенным для публикации. К сожалению, в копии нет никаких сведений об авторе или о публикации этой статьи.

Поскольку мне известно из библиографий по этой тематике, статья не публиковалась: ни одна из книг или статей приводимых у Розанова[1] не соответствует рукописи ни по содержанию, ни по описанным подробностям. То же самое можно сказать и о статьях, упоминаемых в разделе "воспоминания о Советском союзе" библиографии Фостер.[2]

1. М. Розанов, *Соловецкий концлагерь в монастыре 1922-1939 годы*, I, изд. автора, 1979 г.

2. *Bibliography of Russian Emigre Literature 1918-1968*. Compiled by Ludmila A. Foster, I-II, Boston, 1970.

На первой странице рукописи красным карандашом написано "IX-29". Возможно, что это — датировка какого-то редактора, т.к. почерк не соответствует почерку автора рукописи. Тем же карандашом в левом углу написано "Terrem".

Рукопись эта была найдена в так называемой Salle de tri Женевской библиотеки в 1954 г. Кто ее там оставил и почему, выяснить не удалось. Есть, конечно, возможность определить автора по данным текста, сравнивая их с данными других летописцев Соловков. Наиболее надежной в этом отношении является отметка неизвестного автора на стр. 25, что его отъезд состоялся осенью 1927 г. По перечислению Розанова (стр. 13-31) только два из известных ему авторов покинули Соловки к концу 1927 г., в потом написали воспоминания: И.М. Зайцев (1878-1934) и Б.Н. Ширяев (1889-1959).

Ширяев был довольно известным литератором. Кроме книги о Соловках *Неугасимая лампада* он писал романы, рассказы, рецензии. Из его публикаций биографического или исторического характера ни одна, однако, не соответствует данной рукописи ни по объему, ни по тематике, ни по стилю.

Зайцев писал мало. По данным Фостер книга *Соловки. Коммунистическая каторга или место пыток и смерти,* вышедшая в Шанхае в 1931 г., является единственной его публикацией.[3] Судя по цитатам Розанова из этой книги, мало вероятно, что Зайцев был автором и публикуемой здесь статьи: в то время, как Зайцев описывает Секирку по собственному опыту (Розанов стр. 130), неизвестный автор повторяет лишь рассказ начальника охраны (стр. 30).

Есть, правда, и некоторое сходство между двумя авторами. Так, например, Зайцев был начальником штаба армии казачьего атамана Дутова, а неизвестный автор дает точные сведения о восстании казаков в 1923 г. и явно сочувствует им (стр. 7). Оба автора покинули Соловки осенью 1927 г. (стр. 25). Наиболее интересным сходством, однако, является то, что оба они связаны как-то с Ligue Aubert или, как она называлась оффициально, Entente internationale contre la III-e Internationale. Книга Зайцева прямо посвящена этой Лиге (Розанов стр. 15). О связи автора статьи с Лигой имеются только косвенные данные. Лига

3. По утверждению Розанова, Зайцев написал еще и статью о своей деятельности в должности царского представителя при последнем хане Хивинском. Статья эта была опубликована в лагерном журнале *Соловецкие острова* (Розанов стр. 157).

была широко известна в кругах русской эмиграции и публиковала мемуары эмигрантов, часто в переводе.[4] Вполне возможно, что статья была представлена Лиге для публикации. Появилась ли она в печати или нет, выяснить не удалось, т.к. Лига печатала не только в своем журнале, La Vague rouge (там статьи нет), но и в ряде других журналов и газет, особенно в Швейцарии. Если Лига не напечатала статью, она по крайней мере пользовалась фактами, приводимыми в ней. Так, в брошюре о религиозных преследованиях в России,[5] она цитирует статистические данные о смертности на Соловках (стр. 27 рукописи, стр. 19 в брошюре) и численности женщин (там же). Кроме того, подробно описываются пытки, упомянутые и в статье: "ставить на комары" и "каменный мешок". Что сведения об этих пытках почерпнуты именно из данной рукописи, является тем более вероятным, что начало абзаца о пытках в рукописи подчеркнуто красным карандашом.

Итак, путь рукописи нам представляется следующим: прислана Лиге от неизвестного автора, рукопись читалась в постоянном секретариате Лиги в Женеве. Так как в ней имелись новые данные, она была переведена целиком или частично и, может быть, опубликована. Во всяком случае, данными пользовались в позднейших публикациях Лиги. Из архива Лиги (или из рук сотрудника?) рукопись позже могла попасть в Женевскую бибиотеку.

P.M.

4. Ср. A. Gattiker, *L'affaire Conradi*, These, Berne, 1975, pp. 210.

5. Standiger Ausschuss der Internationalen Vereinigung gegen die III-e. Internationale. *Die religiosen Verfolgungen in Russland. Dokumente und Tatsachen*, Genf, 1930.

НА РУБЕЖЕ ДВУХ МИРОВ

В 1908 г. я был пожалован в звание Камергера Высочайшего Двора.

В том же году летом я совершил на канонерской лодке "Кубанец" поход на острова Милос и Санторин. Мне особенно запомнился этот последний остров, берега которого являются почти совершенно отвесными и чтобы попасть в главный город, который находится на самой вершине, приходится подыматься, либо пешком, либо на ослах или мулах, и то не без опасности; как раз напротив главного острова лежит другой, меньшего размера, который является не чем иным, как действующим вулканом, извергающим массу пепла, который покрывает не только его, но и главный остров. Ночью, когда стемнело, командир лодки произвел учение, во время которого производилось освещение островов прожекторами, что было замечательно эффектно. Добавлю, что командир лодки был милейший Василий Аксенович Канин, впоследствии адмирал и предпоследний командир Балтийского флота во врема большой войны. Предпоследний, к счастью, так как последним был несчастный адмирал Непенин, зверски умерщвленный матросами в первые дни революции февраля 1917 года.

Тем же летом, но уже без содействия станционера, мне удалось совершить две интереснейшие поездки в Греции: одну в Дельфы, другую в Олимпию на Пелопонесе. К стыду своему должен сознаться, что в этом последнем месте я был очарован не столько, прекрасной впрочем, статуей Гермеса, приписываемой Праксителю, сколько самым обыкновенным ранним утром

Мы печатаем второй отрывок из воспоминаний Бориса Алексеевича Татищева. Первый отрывок см. кн. 138 "НЖ". *Ред.*

поразительной чистоты и свежести на берегу обожествленного в древности ручья Алфея.

В самом начале 1909 года мне, наконец, удалось попасть в Св. Землю в сопровождении моей свояченицы княгини Дарии Михайловны Горчаковой. Мы выехали опять путем на Александрию и Каир, из этого города отправились уже прямо по железной дороге в город Саид, где перешли на русский пароход, идущий в Яффу. Ночью я спал плохо, опасаясь, что опять разыграется погода и меня постигнет вторичная неудача. Однако на этот раз Бог нас помиловал. Не без опасности, быть может более кажущейся, чем реальной, мы выскочили на пляшущую у борта парохода шлюпку и поразительно ловкие яффские лодочники перевезли нас по бушующим, по нашим понятиям, волнам рейда до входа во внутренний порт. Этот вход обозначался сильнейшими бурунами, и тут наш рулевой, с поразительной верностью глаза, направил шлюпку как раз в узкий проход между двумя бурунами, и мы вздохнули всей грудью, когда вдруг оказались на гладкой поверхности и тиши внутреннего бассейна.

На железной дороге, похожей на игрушечную, мы добрались часа через полтора до Иерусалима, где нас встретили и проводили на Русское Подворье Палестинского Общества. Для начала скажу несколько слов об этом подворье. Мы с княгиней помещались там в так называемом I классе, с платой за прекрасную комнату кажется 3 рубля в день и за отличную еду, если не ошибаюсь, рубля 2-3 за день. Все это было прекрасно, но мы могли бы устроиться в любой гостинице, хотя, вероятно, хуже и дороже.

Но для кого наше Подворье незаменимо, это для неимущих паломников, которые помещаются в общих палатах даром. Даром же получают кипяток, сколько угодно, и платят за обед, очень приличный из двух блюд что-то вроде 20 копеек, а за хлеб и суп — 5 копеек. По рассказам некоторых паломников, не попавших в подворье, я слышал, какой эксплуатации несчастные русские подвергаются в Иерусалиме со стороны греков, арабов и евреев, сдававших им комнаты, и поэтому могу с уверенностью сказать, что то, что для бедного русского люда сделало Палестинское Общество, является величайшим благодеянием и

заслугой перед Родиной.

Теперь скажу вкратце об общем впечатлении, вынесенном мной из посещения Св. Земли. Еще до моего отъезда, многие говорили мне: если не хотите потерять остатков вашей веры, то не ездите туда. Определенно заявляю, что на меня это такого впечатления не произвело. Конечно, неприятно, что при самом входе в Храм Гроба Господня, рядом с камнем "миропомазания" сидят турецкие солдаты. Еще более неприятно, для меня по крайней мере, было, когда в вертепе Рождества Христова в Вифлееме греческий священник назойливо требует, чтобы вы называли имена всех родственников для поминовения, повторяя без перерыва: "давай еще, давай еще!" и затем без малейшего перерыва: "а где же деньги, где деньги?" Наконец, когда моя свояченица и я должны были причащаться Св. Тайн за литургией у кувуклии Гроба Господня и шел причастный стих, то диакон вдруг отдернул изнутри алтаря завесу от царских врат и сделал знак стоявшему за нами кавасу. Тот подошел и что-то ответил на вопрос диакона. Я спросил каваса, в чем дело. Он ответил: он хотел знать, будете ли вы причащаться или нет.

Все такие нарушения церковного благолепия и, скажу прямо, благоприличия, очень неприятны, но, право, не могут отозваться на вере, а тем более, ее отнять. Думаю даже, что, наоборот, чем больше таких прискорбных подробностей, тем с большей яркостью перед нами выступает святость места, на котором вы стоите, и величие событий, связанных с этой землей. Еще одно впечатление, которое я вынес из посещения Св. Земли, заключается в том, что природа и вся местность и даже люди, если иметь в виду, например, сельских пастухов, сохранились совершенно в том же виде, как мы себе представляем, изучая священную историю, и все время кажется, что вот-вот из-за ближайшего пригорка появится Спаситель со Своими Учениками в тех облачениях, как мы привыкли их видеть на священных изображениях.

К сожалению, у нас не было достаточно времени для посещения Галилеи, так что мы вынуждены были ограничиться Иерусалимом, Елеоном, Гефсиманией, Вифлеемом, Горней, Иорданом, Дубом Мамврийским, Иерихоном и другими местами в Иудее.

Перед отъездом мы были приняты Блаженным Дамианом, Патриархом Иерусалимским, который пожаловал мне Крест с частицей животворящего Креста Господня и со званием Крестоносца Св. Гроба. Крест этот, увы, остался в советской России, и я до сих пор неутешен, что не сумел спасти эту доверенную мне святыню.

Летом 1909 года посланник задержался в Афинах как-то дольше обыкновенного и уехал в отпуск только поздно осенью. Летом он ушел на станционере куда-то на острова, когда совершенно неожиданно в некоторых расположенных в Афинах войсковых частях произошли беспорядки. Войска вышли за город под командой некоего полковника Зорбаса, на полигоне близ Афин было расстреляно несколько офицеров.

Смысл событий был неясен. Я не мог ничего телеграфировать посланнику, не зная его местопребывания. К счастью, он через день вернулся и сам протелеграфировал в С. Петербург о событиях. Мало-помалу выяснилось, что накопившееся в общественном мнении недовольство по поводу упущенного случая разрешить Критский вопрос, передалось в армию. В среде этой последней возникла как бы инициативная группа, решившаяся добиться смены министерства и более активной внешней политики. Благодаря малому гражданскому мужеству греческих политических сфер, началось то, что у нас покойный Пуришкевич окрестил впоследствии крылатым словом "чехарда" министров. Теотокис подал тотчас в отставку и был заменен г-ном Раллисом. Но оттого что греческая армия взбунтовалась, она не сделалась сильнее и даже она сама, в лице полковника Зорбаса, прекрасно сознавала, что с турками, которые только и ждут оказии с ними разделаться, ей не совладать. Поэтому за Раллисом последовал мой домохозяин Мавромихалис, а за ним последний глава партии г-н Драгумис. Опасность заключалась в том, что военные думали добиться успеха путем нравственного давления на короля Георга, который, по их мнению, мог добиться уступки ему Крита. Мысль эта была в корне неверная и, во всяком случае, Грецию от турецкой расправы не гарантировала, тем более что часть держав, а именно Германия и Австро-Венгрия, явно были на стороне турок.

В таком положении находился этот вопрос, когда осенью Ю. Н. Щербачев покинул Афины. Из некоторых его слов и принятых им перед отъездом мер, я пришел к убеждению, что он не собирается вернуться обратно. С другой стороны, тот факт, чтобы русский посланник по собственному почину и без видимой причины решил подать в отставку, покинув высокий и, прибавлю, завидный пост, казался совершенно парадоксальным. Но это было верно. Это объяснялось именно парадоксальностью самого Ю. Н. Щербачева. Последний почему-то считал себя имеющим право на пост посла в Константинополе. Когда после турецкой революции состоялось назначение туда Н. В. Чарыкова, он счел себя обойденным и решил уйти. Он сделал в данном случае двойную ошибку. Он поступил вопреки тому, что нам в Берлине внушал добрый Остен-Сакен, говоривший, что никто не может претендовать на пост посла. Всякий из вас может надеяться и рассчитывать стать посланником, но не послом. Пост посла — это жезл маршала, и никто на него не может в нормальном порядке претендовать. Кроме того, Щербачев, значит, не знал даже, при каких обстоятельствах состоялось неприятное ему назначение. Мы все впоследствии узнали, к величайшему нашему изумлению, что доклад о назначении Чарыкова в Константинополь был представлен государю самим же Чарыковым, бывшим, ввиду отпуска министра А. П. Извольского, управляющим министерством. Сделано это было на последнем докладе Чарыкова перед возвращением Извольского из отпуска. Случай этот дает довольно грустное впечатление о нравах, вошедших в обиход министерства в это время, но никакого злого умысла против Щербачева в данном случае не было. Наиболее должен был быть задет этим назначением министр Извольский, но его положение в это время, после Боснийского инцидента, было уже настолько поколеблено, что он не решился протестовать.

После отъезда посланника положение вещей оставалось очень опасным, ввиду возможности вынужденного отречения короля от престола. Тамошний английский посланник сказал мне, что он вызвал в Пирей британский крейсер из Александрии. Как раз в это время на Крите находилась наша эскадра под флагом адмирала Маньковского, из трех крейсеров: "Олег",

"Диана" и "Аврора". Я по телеграфу просил адмирала прибыть в Фалерскую бухту. Через два дня адмирал был у меня на дому с визитом и осведомился о причинах его вызова. Я ответил, что прямой революции в смысле уличных беспорядков мы не ждем, но что королевская семья может быть вынуждена, оказываемым на нее давлением, покинуть страну. Зная, что англичане в предвидении этой возможности прислали сюда корабль, я думал, что и нам необходимо принять аналогичную меру. Адмирал с этим согласился, но спросил, могу ли я рассчитывать, что король изберет русский корабль, если бы ему пришлось уйти из Греции. Я ответил, что такой уверенности не имею, да и не могу иметь, ибо между английским посланником и мною условлено предоставить самому королю решить этот вопрос. "Поверьте, — добавил я, — что если только будет малейшая возможность побудить короля избрать русский крейсер, то королева Ольга не преминет это сделать с большим успехом, чем мог бы это сделать я". Адмирал не возражал.

Как раз пока длился этот разговор, мне доложили, что меня желает видеть председатель совета министров г-н Драгумис и г-н Венизелос. Попросив адмирала и трех сопровождавших его командиров наших кораблей подняться на второй этаж к моей жене, я принял пришедших в моем нижнем кабинете.

Я увидел рядом с хорошо мне знакомым Драгумисом совершенно незнакомого мне человека, по виду профессора, в очках, с очень умным и выразительным лицом. В нескольких словах Драгумис объяснил мне, что г-н Венизелос, являющийся одним из главных политических деятелей на Крите, прибыл сюда, чтобы помочь правительству распутать сложное, создавшееся в связи с последними событиями положение.

Венизелос держался чрезвычайно скромно, сидел как-то краешке стула и только твердил о том, что Греция обязана вечной благодарностью четырем державам "благодетельницам", как он выразился вместо "покровительницам". На мое замечание об опасности войны, он с жаром воскликнул, что о таком безумии не может быть и речи. Эта фраза меня очень успокоила. Часто потом я думал о том, как у меня в кабинете сидел тогда бессменный с тех пор первый министр Греции, герой Балканских и Великой войн и несомненно один из величайших

политических деятелей Европы эпохи Великой войны.

Через два дня Венизелос произнес большую речь с балкона на площади Конституции, в которой указал на необходимость пересмотра конституции для придания греческой политике большей устойчивости, упрочения порядка внутри страны и ее внешнего влияния. Несколько критических замечаний было им сделано в отношении королевской власти, но это было ничто по сравнению с резкостью, с которой Венизелос критиковал представителей старых политических партий. Созыв Собрания для пересмотра конституции был одобрен королем, после чего Венизелос отбыл на Крит. Полковник Зорбас был произведен в генералы и был призван на пост военного министра, а военная лига, произведшая революцию, была объявлена распущенной. В стране наступило временное затишье. Русская эскадра отбыла из Фалера, оставив там временно крейсер "Олег". В конце декабря произошел от неизвестной причины пожар королевского дворца, в тушении коего приняла деятельное участие прибывшая из Фалера команда с нашего крейсера. На следующий день я получил собственноручное письмо от короля Георга с выражением горячей признательности за помощь наших моряков. Я ответил несколькими словами признательности.

К весне была выработана новая конституция и утверждена королем. Через несколько дней прибыл опять Венизелос и после приема его королем получил назначение на пост первого министра.

На следующий день я был приглашен к завтраку в летнюю резиденцию короля, Татой, в горах за Кифиссией. Королева Ольга была в совершенно подавленном настроении и говорила, что королевская семья попала в руки своего злейшего врага. Видимо, ее величество не могла еще забыть роли, которую Венизелос сыграл в деле удаления с Крита ее сына королевича Георгия. Наоборот, король Георг был совершенно спокоен и сказал мне: "Теперь у нас надежный премьер-министр, и вы увидите, что все пойдет прекрасно". Надо сказать, что пока был жив старый король, его предвидения вполне оправдались. Думаю, что если бы он остался жив, то разрыва между ним и Венизелосом не произошло бы. Но, ввиду независимого характера его старшего сына, королевича Константина,

упоенного своими военными успехами в первую и вторую Балканские войны, разрыв его с Венизелосом был неизбежен и все равно, рано или поздно, наступил бы.

Тем же летом 1909 года пришло, наконец, известие о замещении Афинского поста, оставшегося свободным ввиду формальной подачи Ю. Н. Щербачевым прошения об отставке. С тех пор мой бывший начальник проживал в своем маленьком имении при станции Покотиловка, близ Харькова. Он дожил до большевистского переворота и был зверски умерщвлен в своем имении несколькими хулиганами, носящими в окрестностях Харькова прозвище "раклы", которые подвергли несчастного старика самым ужасным истязаниям и замучили его до смерти.

На место Щербачева был назначен советник посольства в Вене Сергей Николаевич Свербеев, отдаленный родственник моей матери и жены. Это было назначение во всех отношениях в высшей степени удачное. Будучи прекрасным дипломатом, любящим светскую жизнь, он сразу занял при дворе и в обществе то исключительное положение, которое упорно не удавалось, и так и не удалось, занять в Афинах его предместнику. Афинский пост и С. Н. Свербеев были как будто нарочно созданы друг для друга, и самое лучшее, что наше министерство иностранных дел могло сделать — это оставить его в Греции "дондеже", а затем, если это уже необходимо, то перевести его на какой-либо не очень важный посольский пост: скажем, Мадрид, Рим, в крайнем случае, Вена, которую он знал давно.

Но никому не могло прийти в голову, что уже через два года С. Д. Сазонов совершит безумие назначить Свербеева послом в Берлине, где уже одна его штатская наружность, отсутствие самоуверенности и личной инициативы, делали его прямо неприемлемым для императора Вильгельма. Результаты сказались немедленно, и уже в том же, кажется, 1912 году, когда надо было вести с императором страшно трудные переговоры по поводу попытки Германии провести германского генерала Лиман-фон-Сандерса на пост командующего войсками в Константинополе, переговоры эти при наличии в Берлине Свербеева, были поручены проезжавшему случайно через Берлин председателю совета министров Коковцову. И все решили, что это

неслыханное событие вполне нормально. Свербеев с радостью отмахнулся от неприятной обязанности. Сазонов, кажется, даже тогда находил, что его друг и товарищ вполне на своем месте в Берлине. А император Вильгельм лишь был усилен в своем глубоко презрительном отношении к императорскому Российскому при нем послу. И подумать только, что все это происходило накануне возникновения Великой Войны!

Еще до приезда нового посланника я был зван к обеду во Французскую Миссию по случаю назначения нового греческого премьер-министра. Мы прибыли немного ранее назначенного часа. Ровно в 8 часов метрдотель возгласил: его превосходительство г-н премьер-министр, и в дверях показалась знакомая мне фигура Венизелоса в черном фраке, белом галстуке и с белыми лайковыми перчатками на обеих руках. Бросив взгляд на нас и увидев, что ни на ком из нас нет перчаток, Венизелос отвел руки за спину и буквально через две секунды, подойдя к хозяину дома, подал ему руку, на которой, как и на левой, перчатки более не было. Сделал он это с быстротой профессионального фокусника, успев, видимо, спрятать перчатки в фалду фрака.

Первой мерой, принятой министром Венизелосом, было приглашение в Грецию французской военной миссии генерала Эйду, который занялся реорганизацией греческой армии. Работам этой миссии в значительной части должны быть приписаны успехи, одержанные греческими войсками во время двух Балканских войн 1912 г. против турок и болгар.

Осенью 1910 года мне удалось еще совершить поездку на станционере "Уралец" на остров Евбею и оттуда в порт Воло, на севере Греции. Поездка эта была неудачна ввиду страшно дождливой погоды, что было для Греции явление совершенно необычайное.

Мне уже было известно, что назначенный нашим послом в Париж А. П. Извольский просил С. Д. Сазонова назначить меня первым секретарем посольства, на место барона Шиллинга, переведенного в С. Петербург начальником канцелярии министра иностранных дел. На мое назначение министр согласился.

Я остался в Афинах еще до осени 1911 года, когда, наконец,

окончательно освободилось место барона Шиллинга. Совместная работа с С. Н. Свербеевым была исключительно приятна. Но никаких особых событий, после всех пережитых революционных передряг, не происходило, так что я ныне же перейду к описанию моей службы на посту первого секретаря в Париже.

В Париж я прибыл 6 декабря 1911 года, в день тезоименитства государя императора. Я нашел если не посольство, то канцелярию его в состоянии полной дезорганизации. Мой предместник, барон Шиллинг, уже покинул Париж. Второй секретарь Н. А. Базили, ждавший со дня на день перемещения в Петербург на пост вице-директора канцелярии министерства, работал больше из любезности. Другой второй секретарь, князь Аргутинский Долгоруков, бывший в отвратительных отношениях с Базили, считался больным. При таких условиях весь состав канцелярии сводился к одному атташе барону Мейндорфу. Был, правда, еще советник посольства Е. П. Демидов, окончивший лицей на шесть лет раньше меня, но он при первом же свидании со мной сказал мне вполне откровенно: "Вы знаете, что до меня советник посольства в Париже держал посольскую кассу и составлял депеши по текущим политическим вопросам. Но по моем приезде я просил посла освободить меня от кассы и от писания депеш, так что и вас очень прошу взять эти отрасли уже в свое ведение".

Раздумывать мне во всяком случае не приходилось, так как работа не ждала, а требовала немедленного исполнения. Попробовал вести ее, пользуясь официальным еще присутствием Базили, и до отправления ближайшего курьера это мне более или менее и удалось, но пришел курьерский день и всё чуть было не рухнуло. Я дал барону Мейндорфу переписать длинное письмо от посла на имя С. Д. Сазонова. Извольский имел привычку писать на одной половине листа бумаги в четыре страницы, согнутых пополам, заполняя последовательно все четыре страницы. Затем, окончив последний лист, он вкладывал один в другой и так сдавал их в канцелярию. Каков же был мой ужас, когда, получив от Мейндорфа перепечатанное им письмо, я увидал, что он перепечатал его, не вынимая листов одного из другого, и не обращая ни малейшего внимания на получившуюся

в результате совершенную галиматью. Сердиться и объяснять было совершенно бесполезно. До отправления экспедиции оставалось часа два времени. Я сел за машинку и переписал наново. На другой день я изложил послу создавшееся в канцелярии положение и просил его поддержать перед министерством просьбу о скорейшем пополнении его состава. Как я, впрочем, и ожидал, А. П. Извольский отнесся к моей просьбе очень нервно, заявив, что дело первого секретаря устроить так, чтобы канцелярия работала. Я не делал себе иллюзий относительно поддержки, которую я у него найду, и потому добавил в экспедицию мое личное письмо к барону Шиллингу, в котором обращался к нему, как к старшему товарищу, с просьбой войти в мое положение и помочь мне на первых шагах моей деятельности в Париже. Должен отметить с чувством горячей благодарности, что барон Шиллинг не остался глух к моей просьбе. Уже через неделю мы получили телеграмму, что к нам временно прикомандировывается второй секретарь миссии в Гааге Б. А. Ионин, который сразу явился мне усердным помощником по канцелярии, а затем, в ближайшие два месяца, прибыли вновь назначенные вторые секретари: барон Унгерн-Штернберг и граф Ребиндер, которые оба остались в Париже дольше, чем продлилось там мое пребывание и, в частности, работали со мной с самого начала Великой войны до моего отъезда в Россию. Затем переменился также наш атташе барон Мейндорф, на место коего прибыл граф Людерс-Веймарн, и таким образом обновился почти полностью весь состав канцелярии.

Много раз в течение последующих лет мне приходилось благодарить судьбу за то, что в посольстве подобрался такой дружный состав служащих, благодаря чему нам удалось справляться с работой, количество которой уже в 1912 году, с началом Балканских войн, возросло в невероятных размерах и на этом уровне держалось до Великой войны, когда эта работа достигла своего апогея.

Начиная описание моего парижского периода службы, хочу, как и прежде, охарактеризовать сперва моего нового начальника, посла А. П. Извольского. Как-то раз в моем присутствии С. Д. Сазонов отозвался об Извольском следующей

крылатой фразой: "Александр Петрович, — сказал он, — сам себе часто по колено".

Замечание это по существу глубоко верное. Оно указывает на то, что обладая совершенно исключительно широким умом, А. П. Извольский, однако, носил сам в себе слабости, которые сводили на нет все преимущества его ума. Слабости, или, вернее, эта слабость была — усвоенная им привычка на все смотреть с точки зрения своей личности. А личные его свойства были довольно мелкие, среди них первую роль играли снобизм и чванство, черты едва ли достойные выдающегося дипломатического деятеля. Каждое политическое событие, каждая дипломатическая комбинация оценивались им в первую очередь с точки зрения — может ли она послужить упрочению его положения или увеличению его престижа. Только с точки зрения подобного смешения частного интереса с государственной политикой можно объяснить, например, такой непонятный с первого взгляда факт, что Извольский добивался отозвания из Петербурга французского посла Жоржа Луи исключительно потому, что не считал его достаточно декоративным "пандан" к своему собственному положению в Париже. Сюда же относится знаменитая фраза, сказанная им в первые дни Великой войны: "это моя война!" Можно вообразить себе, какое впечатление должна была произвести эта фраза на французских политических деятелей, которые около полувека готовились, стиснув зубы, к тому грозному историческому моменту, который тогда, наконец, наступил. И вот, в момент, когда Франция вновь поставила на карту самое свое бытие, вдруг оказывается, что авторские права на войну, в которую она вступает, уже заявлены и заявлены русским послом А. П. Извольским! Негодование, испытанное политическими деятелями, совпало с таким же возмущением, которое испытали слышавшие знаменитую фразу некоторые дамы французского общества, потерявшие как раз в эти первые дни войны своих сыновей, убитых на фронте. Если и до того времени положение А. П. Извольского в Париже оставляло желать лучшего, то после этого оно стало прямо трудным. Президент Республики Пуанкарэ даже навел разговор с Сазоновым на вопрос о замене русского посла в Париже другим лицом. На замечание

президента министр ответил, что ему трудно будет найти кандидата, который был бы способен практиковать франко-русский союз с таким же твердым убеждением, как это делает Извольский. "В данном случае вы совершенно правы, — ответил Пуанкарэ. — И это даже единственное соображение, которое заставляет нас переносить г-на Извольского".

В отношении своих подчиненных А. П. Извольский был, как общее правило, справедлив, и его отношение к ним зависело от той пользы, которую соответствующий служащий приносил делу. Но, конечно, были подчиненные, которые по своим связям или занимаемому ими положению могли быть послу гораздо полезнее в этих двух направлениях, нежели служебной работой. Так, например, советник посольства Е. П. Демидов, по связи с нашим двором через свою жену, рожденную графиню Воронцову-Дашкову, и по их положению в высшем парижском свете, так называемом Фобур Сен Жермен, мог совсем не затруднять себя работой по посольству и все же оставаться желанным сотрудником. Но вообще, повторяю, особых жалоб на посла не было. Конечно, для тех, кто, как я и моя жена, помнили отношение к нам графа и графини Остен-Сакен в Берлине, казались недопустимыми такие факты, как приглашение чинов своего собственного посольства не к обеду, а после него, только на вечер (по выражению французов — в качестве зубочисток). Может быть, мы были и неправы, так как нельзя от всех послов требовать, чтобы они относились к вопросу о денежных расходах с тем же безразличием, которое в этом отношении проявлял граф Остен-Сакен. Денежное положение Извольского, как все мы знали, было довольно стесненное, особенно в момент ухода из Петербурга. Пребывание на посольском посту во Франции должно было помочь ему распутать его денежные дела, а потому он вынужден был идти в отношении расходов на представительство не выше известного допустимого минимума. Этот допустимый минимум он и соблюдал довольно точно.

Супруга посла Маргарита Карловна Извольская обладала некоторыми качествами, особенно ценными в дипломатической жизни. Приятная внешность, радушная общительность, большой навык к светским отношениям, все это с первого знакомства

располагало в ее пользу лиц с ней знакомившихся, которые, в большинстве случаев, совершенно напрасно хотели видеть в исключительно любезном приеме, им оказанном, что-либо большее, чем чисто внешний лоск светских отношений. В Париже за Маргаритой Карловной сразу упрочилось название "улыбка Парижа", которой хватило ей на все время пребывания в парижском посольстве.

Но вне любезных слов и жестов она едва ли сделала что-либо для посольских дам. Надо сказать, впрочем, что условия парижской жизни позволяют каждому тамошнему дипломату вести ту жизнь, которая лучше всего отвечает его собственным вкусам. Любящие светскую суету могут удовлетворять этому желанию. Предпочитающие домашний очаг могут, без ущерба для службы и ее интересов, сидеть дома и не видеть решительно никого. Официальные приемы сводятся, в сущности, к одному приему на Новый год в Елисейском Дворце, куда дамы не званы, и затем один какой-нибудь вечер там же, с дамами, причем толпа приглашенных так велика, что знакомых даже не разыщешь.

Чтобы вернуться к г-же Извольской, скажу только, что меня больше всего задевало в ней ее полная отрезанность от всего русского. Происходя из семьи графов Толль, гораздо более немцев, чем русских, она и по вере была лютеранка, всю свою жизнь, за исключением краткого срока появления ее мужа на посту министра иностранных дел, провела вне России, по-русски говорила с трудом, а своей отчужденности от всего русского даже не скрывала. В церкви она появлялась только раз в год на Светлую Заутреню, а когда раз моя жена спросила ее накануне нашей Пасхи, будет ли она праздновать ее с русскими, то она спокойно ответила ей: "О, нет, я уже справляла Пасху с цивилизованными людьми!" Комментарии излишни.

Раз я уже начал говорить о праздновании Пасхи, то скажу еще несколько слов по этому поводу, так как прием в посольстве в Светлую ночь был, собственно, единственным случаем, когда почти вся русская колония Парижа была звана в посольство. Когда А. П. Извольский устраивал этот прием в 1910 году, еще до моего прибытия в Париж, он сопровождался многочисленными ошибками и оставил у посла самую дурную память. Поэтому он просил меня своевременно проверить

имевшийся в посольстве список членов русской колонии, очень устаревший. Будучи сам новичком в Париже, я решил, что никто не сумеет мне помочь лучше, как настоятель нашей церкви, маститый протоиерей Иаков Георгиевич Смирнов, старожил нашей здешней колонии.

О. Смирнов действительно указал мне некоторые заведомые ошибки в нашей книге, в которую были, например, внесены, по русскому созвучию их фамилий, некоторые поляки иностранные подданные и к тому же католики. Но мне было трудно добиться от него отзыва по поводу лиц несомненно русских и православных, но о которых я не знал, могут ли они быть приглашены в посольство по их личным качествам, например, что это не политические эмигранты, лица, имеющие дурную репутацию и проч.

Добрый о. Иаков, отличающийся большой осторожностью, ограничивался замечанием: "Да, он довольно репандю", предоставляя мне самому делать из сего нужные заключения. Единственное указание, которое мне удалось у него вытянуть, это, что "репандю" он называет человека, широко принятого в свете. Впрочем, с тех пор недоразумений с приглашениями на Пасху более не бывало.

Мое прибытие в Париж совпало с падением министерства г-на Кайо, только что заключившего с Германией соглашение, регулировавшее инцидент с посылкой германского крейсера в Марокканский порт Агадир. Соглашение это, уступавшее Германии часть Конго и Камеруна, в обмен на признание преимущественных прав Франции на Марокко, должно было, собственно, по мысли его автора, направить в новое русло франко-германские отношения и обеспечить мир в Европе. Однако, если г-н Кайо лично готов был поставить крест на вопросе о будущности Эльзаса и Лотарингии, то большинство французского политического мира отнюдь с этим не было согласно. Недавнее выступление Германии против Франции все более и более убеждало французов в том, что Германия ищет лишь подходящего случая для того, чтобы нанести ей второе поражение по примеру 1870 года.

Появление на политической сцене г-на Пуанкарэ в качестве первого министра надо было понимать в том смысле, что нового

Агадира Франция не допустит и ответит на него принятием германского вызова. При условии такой натянутости политических отношений между великими европейскими державами, особенно опасной оказалась возникшая осенью 1912 года первая Балканская война. Вся Германия, давно уже работавшая над усилением военной мощи Турции, была уверена в турецкой победе. У нас, конечно, царило желание увидеть победу единоверных и единокровных Балканских государств, но уверенности в этом не было. На меня лично произвел большое впечатление отзыв нашего военного агента в Константинополе, полковника Хольмсена, которого я считал исключительно серьезным и осведомленным человеком. Он заверил меня, что в случае войны с Балканской коалицией Турция раздавит ее в месячный срок.

Мой авторитет, оказывается, глубоко заблуждался, и успехи противников Турции сразу же сделали невозможным лозунг о сохранении во что бы то ни стало территориального "статус-кво", который был провозглашен великими державами. Спасение свое Турция в этот раз нашла в междоусобице, скоро возгоревшейся между ее противниками. Последовавшее в результате вмешательства в войну Румынии и победа над Болгарией привели, наконец, к заключению мира, который, конечно, был более на руку "Тройственному согласию", чем двойственному союзу Германии и Австро-Венгрии. С этого момента надо, вероятно, считать принятие Германией решения при первом случае довести дело до обще-европейского конфликта.

Осенью 1912 года прибыл в Париж великий князь Николай Николаевич для присутствия на маневрах французской армии в окрестностях Нанси, на восточной границе. Газета "Матэн" поместила по этому поводу, на первой странице, фотографию великой княгини Анастасии Николаевны с букетом полевых цветов в руках и статью в элегическом тоне, где было сказано, что великая княгиня устремила свой грустный взгляд в сторону границы — что в ее глазах блеснула невольная слеза. Мне кажется, что во всей этой статье прилагательное "невольная" есть единственная правдивая нотка, ибо мне не думается, чтобы черногорская душа великой княгини могла особенно умиляться, взирая на пограничную линию, отделяющую Нанси от Метца.

В конце того же года состоялись президентские выборы и преемником г-на Фальера был избран председатель совета г-н Раймон Пуанкарэ, что доказало, что народное движение, поставившее его во главе правительства, не только не ослабло, но, наоборот, еще усилилось.

В начале 1913 года приехал барон Шиллинг, специально для вручения через посла А. П. Извольского новому президенту республики пожалованного ему государем императором ордена Св. Андрея Первозванного с бриллиантовыми украшениями.

В том же году состоялся визит нашей царской четы в Румынию. По этому поводу стали ходить слухи о предстоящей помолвке старшей дочери их величеств, великой княжны Ольги Николаевны с наследным принцем румынским. По окончании этого визита С. Д. Сазонов разослал циркулярную депешу нашим представителям за границей, в которой, разбирая современное политическое положение, приходил к заключению, что оно не внушает опасения за сохранение мира и что единственным, так сказать, "невралгическим" пунктом являются отношения между Сербией и Австро-Венгрией, ибо продолжала депеша — Россия не могла бы остаться безучастной в случае попытки нарушить права Сербии; в случае, если бы на этой почве России было предъявлено ультимативное требование наподобие того, что произошло во время Боснийского кризиса, мы должны будем поднять брошенную нам перчатку.

Если сопоставить этот циркуляр с обстоятельствами, при которых состоялся приход к власти во Франции г-на Пуанкарэ, то нужно было прийти к заключению, что попытка Германии непосредственно, или через Австро-Венгрию, выступить против франко-русского союза, будь то на Западе или на Востоке, неминуемо должна привести к европейской войне.

Несмотря на некоторые тревожные симптомы, общая уверенность в прочности мира все же господствовала в Европе. Весной 1914 года посол поехал лечиться, кажется, в Экс-ле-Бэн, а я воспользовался этим случаем, чтобы посетить Испанию, в которой никогда не бывал. Это было для меня тем легче сделать, что именно в моем распоряжении были каждый месяц курьерские поездки из Парижа, с одной стороны, в Мадрид и Лиссабон, с другой — в Брюссель и Гаагу.

Северная Испания произвела на меня довольно гнетущее впечатление, даже в моем качестве только проезжего человека. В самых глухих местах России я привык встречать около станций железных дорог хотя бы незначительное поселение или, во всяком случае, дорогу, куда-либо ведущую. Тут меня поразило, что рядом со станцией и водокачкой не только нет никакого жилья, но даже дороги от этой станции внутри страны не существует. Если из поезда кто-либо выходил, то это были железнодорожные служащие, либо жандармы, которые вдвоем отправлялись куда-то пешком, прямо по пустому лугу, с успевшей уже засохнуть травой.

Окрестности самого Мадрида тоже безотрадны, а знаменитый Эскуриал нагнал на меня форменный сплин. Зато с каким восторгом мои глаза отдохнули на прелестном Толедо, живописно расположенном на горе, которую огибает река Таж. Там я впервые увидел памятник мавританского архитектурного творчества. На поездку на юг Испании в Севилью и Гренаду у меня, к великому моему сожалению, не хватило времени, так как надо было ехать в Лиссабон. Я надеялся, что мне удастся как-нибудь впоследствии наверстать упущение, но, увы, судьба распорядилась иначе. В самом Мадриде я был дважды на бое быков, которые произвели на меня большое, но тяжелое впечатление. Техника этого спорта, или искусства, не знаю уж как вернее его назвать, была мне чужда, а зрелище несчастных приконченных лошадей, которых при мне один из быков уложил пять штук в десять минут, прямо отвратительно.

В Лиссабоне я застал нашего посланника П. С. Боткина, сына знаменитого врача профессора Сергея Петровича. Я его хорошо знал, так как моя двоюродная тетка кн. Оболенская была второй женой его отца. Под руководством посланника я посетил окрестности города, которые настолько же живописны и красивы, насколько безотрадны они в Мадриде. Особенно поразила меня одна, покинутая ее прежними владельцами-роялистами, уехавшими из Португалии после революции, вилла, окруженная дивным парком, который не виден с улицы из-за окружающих его высоких стен. Этот парк напомнил мне, как две капли воды, тот, который мастерски описан Эмилем Золя в его романе "Грех Аббата Мурэ", где этот роман и разыгрывается.

По возвращении в Париж я начал обычную свою работу, когда вдруг 30 июня прочел в газетах известие об убийстве в Сараеве Австро-Венгерского наследного эрцгерцога Франца Фердинанда. Через два дня вернулся посол, к которому советник посольства Севастопуло и я поднялись в кабинет. Он спросил о текущих делах и затем осведомился: "Ну, а что вообще нового?" — "Да ничего, — ответил Севастопуло, — то есть убийство эрцгерцога и говорят, что убийца серб". "Ну, и что же?" — продолжал Извольский. "Да, ничего", — сказал советник. На этом разговор кончился. Через неделю посол должен был ехать в Россию для присутствия на посещении нашего двора президентом Пуанкарэ и, так как я уже более года не был в России, я получил разрешение ныне же отправиться в Германию и пройти курс лечения горла в санатории "Вайссер-Хирш" близ Дрездена, а оттуда ехать в Россию.

Когда я на следующее утро ехал на вокзал, то встречал членов дипломатического корпуса, отправлявшихся в мундирах на панихиду по эрцгерцогу, назначенную австрийским послом во Дворце Инвалидов.

В санатории близ Дрездена я встретил мою мать, тоже приехавшую туда лечиться, и мы очень приятно провели там недели три, пройдя курс лечения. Нам благоприятствовала чудная летняя погода. 23-го июля мы переехали в Берлин, собираясь там, в окрестностях, провести около недели для так называемой "нахкур" и затем ехать вместе в Россию.

24 июля, в день моего рождения, отчего этот день и остался у меня в памяти, я пошел утром в зал гостиницы пить кофе. Мне подали газету "Локаль Анцайгер", в которой я прочел телеграмму о вручении австрийским послом в Белграде ультиматума. Другая телеграмма передавала из Петербурга заявление Сазонова, что Россия не может остаться безучастной к судьбе Сербии.

Прочтя эти известия, я отправился к моей матери и сказал ей: "Мама, полная перемена в наших планах. Я завтра утром возвращаюсь в Париж, а вы едете в Россию". "Отчего?" — спросила мать. "Война", — ответил я и прочел телеграммы. В тот же день я взял билеты, для себе в Париж, а для матери в Россию, и еще утром успел зайти в наше посольство, чтобы справиться, как там бьется пульс. Застал только советника А. Н.

Броневского. Посол Свербеев был в отпуску в России, первый секретарь назначен только что посланником в Дармштадт и его заместитель еще не прибыл. Общее впечатление то же, что у меня, т. е. удара грома, хотя не с ясного неба, но все же удара неожиданного.

Весь день до вечера я проходил по улицам Берлина и, пользуясь моей слабостью к хорошему пиву, заходил во множество пивных, стараясь подметить настроение простого народа. Напрасные усилия. То ли никто не прочел газетных известий, то ли не обратил на них внимания, но ни малейшего, даже самого отдаленного намека на общественную тревогу я так до самого вечера и не заметил.

Рано утром мы с матерью отправились на вокзал Фридрихштрассе и очень взволнованные нашим прощанием разъехались в противоположные стороны. Мог ли я думать в тот момент, что следующий раз мне придется увидеть германского офицера через четыре года уже в качестве беженца из совдепии, в окрестностях Орши, взирая на попавшийся мне навстречу немецкий офицерский разъезд, и что я буду смотреть на этого офицера не с негодованием, как на победителя, попирающего мою родную землю, а скорее с надеждой, как на укрывающего меня в немецкой оккупационной зоне от моих злейших врагов — большевиков.

Заняв место в вагоне, я сразу заметил, что за ночь в настроении народа произошла коренная перемена. Никто больше друг с другом не разговаривал. Каждый подозрительно всматривался в своего соседа. В таком напряженном состоянии, которого отнюдь не изменила бельгийская граница, я поздней ночью с 25 на 26 июля прибыл в Париж.

Б. Татищев

МАРКСИЗМ — ЛЮБОЙ ДЫРЕ ЗАТЫЧКА

(ПО ПОВОДУ КНИГИ В. КУБАЛКОВОЙ И А. А. КРУКШАНКА "МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ И ТЕОРИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ")

Почему Северная Корея так радикально отличается в своих отношениях с другими странами от Южной Кореи? Национальность населения, история, традиции у обеих стран одни и те же. И тем не менее, ведут они себя совершенно различно. Ту же принципиальную разницу можно наблюдать в отношениях с другими странами и у Тайваня или Гонконга с Китайской Народной Республикой. Опять-таки несмотря на одинаковые национальность населения, историю и традиции. Ту же разницу можно наблюдать и между ГДР и ФРГ при всей одинаковости населения, историии и традиций. А во Вьетнаме мы наблюдали еще более курьезное явление. Сначала Южный Вьетнам резко отличался во всех проявлениях от Северного. Затем Северный Вьетнам проглотил Южный и все проявления, которые характеризовали Южный Вьетнам, бесследно исчезли, как будто никогда и не существовали.

Что было в основе внешней политики Кореи, Китая, Вьетнама и, конечно, России до их превращения в социалистические государства? При всех различиях в национальных характерах, истории, традициях они неизменно проводили одну и ту же политику в отношениях с другими странами: получения экономических, военных, политических и других выгод для своего населения. Конечно, выгоды подлежали определенной интерпретации представителями этих стран во внешнем мире.

Это накладывало определенный отпечаток личности этих представителей на внешнюю политику страны вплоть до ошибок и предубеждений этой личности. Однако в той или другой интерпретации, в кратковременной или долговременной перспективе, но это были именно выгоды для населения страны.

Точно так же действовали и действуют сейчас и все другие не социалистические страны мира. Такая внешняя политика после ее внимательного изучения оказывалась достаточно ясной. Больше того, во многих случаях можно было на основе взаимно понимаемых выгод договориваться без чрезмерного обострения конфликта до войны.

После социалистической трансформации все страны чрезвычайно радикально изменяют свою внешнюю политику. Это изменение настолько драматично, что можно без труда отличить социалистическую страну от не социалистической по ее внешней политике. Прежде всего, исчезает прямая связь внешней политики страны с интересами ее населения. Если в интересах населения открытые связи с остальным миром, свободная торговля, свободный культурный обмен, то все социалистические страны без исключения (включая теперь исламско-социалистический Иран) неизменно проводят политику полной изоляции своего населения от всего мира. Особенно, это касается всех видов социальной политической и экономической информации.

Население СССР, например, сильно страдает от недостатка товаров самой насущной необходимости, в то же время СССР кормит за счет своего населения Кубу, Вьетнам, Эфиопию, то же самое в большей или меньшей степени, можно наблюдать у Китая, Северной Кореи и даже у Кубы, которая сама кормится за счет СССР.

Другая особенность внешней политики социалистических стран в том, что никакие уступки и благожелательность Запада никогда не приводят к устранению неизменной и необъяснимой враждебности со стороны социалистических стран и к прекращению разжигания ими в своем населении ненависти к Западу. В самые лучшие времена "детанта" в прессе СССР, Китая и других социалистических стран США и Запад рисуются не иначе, как империалисты и смертельные враги социализма.

Точно так же никакие уступки и соглашения Запада никогда не прекращают интенсивного наращивания военного потенциала стран социализма и тоже во вред интересам населения самих этих стран.

Третья особенность — стремление к экспорту социализма в остальной мир любыми средствами. Этим занимается, конечно, не только СССР, но и все другие социалистические страны, включая нынешний "миролюбивый" Китай.

Четвертая особенность заключается в том, что внешняя политика социалистических стран совершенно свободна от ограничений, связанных с вопросами морали, верности договорам и с простой деловой честностью.

Естественно, что такое коренное изменение в политике международных отношений разрушает все традиционные взгляды на существо этих отношений. Все деятели Запада и его население до сих пор — после 60 лет опыта — не в состоянии правильно понимать мотивы внешней политики социалистических стран и ее закономерности. Это непонимание настолько велико, что часто придумываются совершенно фантастические мотивы, как глупость и некомпетентность, старческий маразм и даже дьяволизм руководителей социалистических стран. Естественно также, что мысли многих западных деятелей обращаются к идеологии марксизма и социализма в поисках объяснения закономерностей внешней политики социалистических, марксистских стран.

Марксизм и международные отношения

Все учение Маркса вытекает из одной единственной гипотезы: человеческое общество всегда состоит из антагонистических классов. Из этой гипотезы необходимо и логически все важнейшие положения марксизма выводятся без всякого труда. Прежде всего, конечно, сама классовая борьба, ее существование и необходимость. Затем утверждение, что государство есть аппарат насилия одного класса над другим. Далее, необходимость и неизбежность разрушения этого аппарата насилия и самого классового общества. Наконец, создание бесклассового общества социализма через уничтожение частной

собственности источника классовых различий и постепенный переход к коммунизму, представляющему окончательное совершенство в истории человеческого общества — истинный рай на земле. Вся история человечества по Марксу есть история классовой борьбы, а международные отношения есть распространение классовой борьбы за пределы отдельного государства. Такая логическая простота, если не сказать примитивность, марксизма неизменно привлекает к нему многие и многие тысячи интеллектуалов, не способных на свои собственные теории и на объективный анализ чужих идей. Марксизм дает им в руки систему взаимно связанных идей, которую можно легко пережевывать и распространять на все явления жизни, уже не заботясь о фактах. По оценкам, в одних США находится не менее 10.000 таких интеллектуалов — профессоров-марксистов.

Книга В. Кубалковой и А. А. Крукшанка (Marxism-Leninism and the Theory of International Relations. By V. Kubalkova and A. A. Cruickshank. Routledge and Kegan Paul.) является еще одной попыткой (1980 год) высосать из марксизма-ленинизма что-нибудь, способное разъяснить международную обстановку и создать ее марксистскую теорию. Книга, безусловно, может быть превосходным пособием для тех, кто хочет знать, что такое марксизм. 10.000 американских профессоров-марксистов вероятно вознесут этот труд на пьедестал почета. Что касается разъяснения международной ситуации, то книга способна только на внесение еще большей путаницы.

Самое любопытное заключается в том, что Маркс создал, какую ни на есть, теорию только досоциалистического, т. е. классового общества. Ни Маркс, ни Ленин не дали никакой теории бесклассового, послекапиталистического общества социализма и коммунизма. Поэтому марксизм принципиально не может объяснить поведение социалистического, бесклассового общества на основе теории классов и классовой борьбы. Попытка Кубалковой и Крукшанка объяснять международные отношения социализма на базе марксизма-ленинизма является абсурдной и никакого вклада в теорию международных отношений не делает и не может делать.

Классы в классовой теории

Я уверен, что многие мои читатели будут поражены, узнав, что Маркс, создав классовую теорию общества, так и не дал определения того, что такое есть класс. Это все равно, что создать теорию кирпичного здания, так и не зная, что такое есть кирпич. Любой ученый, создающий любую теорию без вполне ясных и точных исходных предположений, будет немедленно объявлен фантазером и научным спекулянтом. Маркс, однако, не был разжалован из ученых в автора научной фантастики. Будущим марксистам так понравилась простота "теории" Маркса, что они оставили без всякого внимания факт отсутствия у нее всякого научного фундамента. Вероятно, этому способствовало досадное отсутствие другой, достаточно логичной и полной теории общества.

Так что же такое есть класс?

Маркс упоминает всего 3 или 4 класса в обществе. Таким образом, классы Маркса не есть результат разделения в обществе труда и профессий, а также не есть результат различия в уровне доходов, так как тогда были бы сотни классов. Маркс говорит также о классе угнетателей и о классе угнетенных. Если вы просите у банка денег в долг и платите банку проценты, являетесь ли вы представителем класса угнетаемых, а банкир — представителем класса угнетателей? Маловероятно: оба взаимно заинтересованы и соглашение является вполне добровольным.

Не дав определения класса, Маркс явно рассчитывал на тот факт, что каждый из нас в те или иные времена может чувствовать себя угнетенным обстоятельствами или другими людьми. Это чувство понятно всем. Кто-то, значит, нас угнетает. Маркс дал людям психологического козла отпущения. Однако попробуйте сами отыскать конкретного человека, который является вашим угнетателем по его классовой принадлежности, а не по характеру его самого или его профессии. Есть профессии, есть должности, есть обязанности, исполнители которых являются для нас источником чувства угнетения, а вот указать пальцем человека, который нас угнетает именно по своей классовой принадлежности, вам вероятнее всего не удастся.

Весьма популярно мнение, что угнетаемым классом является слой рабочих физического труда. Тогда, значит, вся остальная и

значительно большая часть трудящихся, зарабатывающих себе на жизнь хоть и не физическим, но тоже трудом, не является угнетаемой. Не странно ли, что человек, стоящий у конвейера и имеющий свой собственный дом и свою автомашину, а также зарабатывающий больше иного профессора университета, принадлежит к классу угнетаемых, а конторщик на том же предприятии, перебивающийся с хлеба на квас, не является угнетаемым? Да и кто же угнетает этого самого рабочего физического труда? Мы с вами? Вся остальная масса трудящихся? Миллионы держателей акций? Менеджеры? Инженеры?

Ленин сделал свою попытку определить, что такое есть класс. Ленин сказал, что угнетаемым классом является пролетариат, т. е. слой людей, не владеющих средствами производства и продающих свою рабочую силу. Это определение наиболее соответствует утверждению Маркса, что частная собственность на средства производства есть источник классовых различий. По этому определению председатель правления огромной корпорации или международного банка, получающий зарплату в миллион долларов, является пролетарием и угнетенным: он не владеет средствами производства — корпорацией — и продает свою рабочую силу (мозги), правда, очень выгодно. В то же время, "холодный" сапожник на углу в своей мастерской, который ставит вам подметки, не пролетарий и не угнетаемый, так как владеет средствами производства и продает не свою рабочую силу, а продукцию, как марксов капиталист. Художник, музыкант, скульптор, писатель — тоже не пролетарии: они владеют своими средствами производства и продают свою продукцию. Фермер, обрабатывающий свою землю с помощью своей семьи, — тоже не пролетарий. Так что и ленинское определение класса угнетаемых — пролетариев — оказывается весьма подмоченным.

Легко понять, однако, что от того или иного определения того, что такое есть класс, меняется вся картина общества и, конечно, вся его теория. Не дав определения того, что такое есть класс, в его классовой теории общества, Маркс поступил очень хитро. Этим он сохранил единственность своей "теории", оставив людям понимать под термином "класс" все, что кому

вздумается. В любом обществе происходит непрерывная борьба миллиардов различных интересов многих миллионов людей, как правило заканчивающаяся в каждом конкретном случае компромиссом. Вот вам Маркс и представил возможность усматривать каждому по своему в этой борьбе борьбу классов. Однако указанная борьба есть фактически борьба всех против всех, а не определенного класса против другого определенного класса.

Марксова классовая борьба и государство

Можно ли отрицать, что все более и более глубокое разделение труда на профессии есть основа прогресса и повышения благосостояния человеческого общества? Конечно, нет. Однако разделение труда требует кооперации плотников, механиков, инженеров, администраторов, организаторов, управляющих, владельцев средств производства и т. д. и т. п. Если бы в обществе преобладала бы "классовая" или даже борьба всех против всех, а не кооперация, как мог бы произойти переход от пещерного человека к современному обществу наивысшего в истории благосостояния?

Таким образом, как бы ни были различны интересы людей и даже противоположны и как бы они ни боролись между собой в обществе, но кооперация явно преобладает над борьбой до тех пор, пока общество движется вперед, к прогрессу и к новому благосостоянию. Не трудно видеть, что и главная функция государства есть обеспечение этой кооперации с помощью общих для всех правил общежития и законов. Чем лучше осуществляется государством кооперация, тем лучше государство выполняет свою главную функцию. Если не быть предубежденным, нетрудно видеть, что досоциалистическое государство есть инструмент организации общества, весьма необходимый для повышения производительности труда и повышения благосостояния всех членов общества. Соответствующий государственный механизм не социалистических государств отрабатывался веками и продолжает отрабатываться и сейчас через ошибки и успехи.

Необходимая мера принуждения для обеспечения соблюдения правил общежития является важной, но совсем не

главной функцией досоциалистического государства. В тюрьмах обычно сидят не более 2 человек на 10.000 населения, а в обществах социализма без классовой борьбы, сидит в 50-100 раз больше.

Действительные причины особенного поведения социалистических стран

Итак нам пришлось прийти к заключению, что Маркс сам не знал, что такое есть его антагонистические классы. Мы их тоже не могли обнаружить. Во всяком случае, социальные, профессиональные и материальные различия, принимаемые несведущими людьми за классовые, по Марксу не являются антагонистическими классовыми различиями. Тем более, что все они целиком сохраняются в бесклассовом обществе социализма. Таким образом, понятие антагонистических классов является мифом и плодом фантазии Маркса. Соответственно, и классовую борьбу становится невозможным выделить из борьбы различных интересов миллионов различных людей, этой борьбы всех против всех, которая, как легко видеть, продолжается в полном объеме и в бесклассовом обществе социализма. Поэтому классовая борьба, как таковая, является таким же мифом и плодом фантазии Маркса, как и его антагонистические классы. Естественно, что и международные отношения никак не являются отражением на международной арене этой самой мифической борьбы мифических классов.

В чем же истинные причины особенностей внешней политики социалистических стран?

Социалистическое общество, по определению, есть общество с единой, наивысшего уровня, организацией, управляемой на основе единого плана с целью осуществления равенства, братства, справедливости, конечно в их надличностном выражении, но отнюдь не в их значении для каждого отдельного гражданина. (Естественно, что это надличностное значение совершенно не устраивает большинство граждан, которые понимают указанные термины каждый по своему). Такое общество, естественно, требует, чтобы все граждане действовали в полном согласии с единым планом, с единой волей, с единой

организацией государства, т. е. требует полного конформизма всего населения. Как известно, даже всего двум человекам невозможно достигнуть полного конформизма друг с другом. Нечего удивляться, что достаточный конформизм всего населения достигается лишь с помощью колоссального террора и насилия. Беда в том, что этот достигнутый конформизм очень поверхностен и весьма непрочен. Он все время стремится развалиться. Поэтому поддержание конформизма требует чрезвычайной бдительности и непрерывной работы от управителей социализма. Даже только поддержание конформизма требует применения чрезвычайно широкого набора средств, включая и соответствующее насилие. Социализм не может сохраняться без конформизма и, следовательно, без насилия.

Естественно, что в социалистическом государстве задача управителей сохранить социализм и его социальную структуру (и, следовательно, власть управителей) становится главнейшей доминирующей, а удовлетворение интересов граждан отходит на задний и несущественный план. Интересы населения и страны, как таковой, становятся подчиненными задаче сохранения социализма. Из этого элементарного факта вытекают все особенности внешней политики социалистических стран.

1. Интересы населения и страны, как таковой, не являются главным мотивом внешней политики социалистических стран.

2. Любое, самое уступчивое и благожелательное не социалистическое государство является всегда смертельным врагом социалистического государства. Оно своим простым *существованием* демонстрирует человеческие выгоды свободы и демократии перед человеческими невыгодами и тиранией социализма. Этот пример разрушает конформизм населения социалистических стран и, следовательно, разрушает социализм. В качестве противоядия правители социализма вынуждены всеми средствами разжигать в своем населении "необъяснимую" ненависть к Западу.

3. Экспорт социализма любыми средствами абсолютно необходим для социалистических стран. Пока остается хотя бы одна капиталистическая страна, продолжает существовать смертельная опасность разрушения социализма (и потери власти управителями). Понятно, что для этого необходимо и всемерное

наращивание военной мощи социализма. В этом социализм находит свое наиболее яркое и потому наиболее успешное выражение. Стратегия любых социалистических стран заключается в лишении Запада источников сырья и энергии, в социальной и экономической дестабилизации Запада и в его окончательном покорении с помощью собственных Запада социалистических и марксистских сил и с помощью военного шантажа.

4. Честность, моральные правила, выполнение договоров — это все чисто человеческие свойства, присущие людям (в среднем, конечно) в их массовых и взаимно выгодных взаимодействиях друг с другом. Поскольку внешняя политика социалистических стран не может отражать интересы людей (она от этих интересов не зависит), то и свойства людей, указанные выше, ее не ограничивают.

Имея все вышеуказанное в виду, нетрудно понять, что мотивы управителей социализма в их внешней политике точно такие же, как и у всех людей — мотивы самосохранения, удовлетворения своих потребностей, удовлетворения стремления к расширению своей власти и возможностей. Все эти мотивы в условиях социализма не могут удовлетворяться иначе, как путем сохранения и укрепления социализма и его социальной структуры, т. е. вопреки интересам населения и страны, как таковой. Сама по себе идеология марксизма и социализма не имеет к этому никакого отношения. Тем более, что ни Маркс, ни Ленин и не создавали ни теории послекапиталистического общества социализма, ни, следовательно, теории его внешней политики.

6. 9. 1980 *А. Федосеев*

О ПОЛОЖЕНИИ РУССКИХ В НЕЗАВИСИМОЙ ЛАТВИИ

В результате революции 1917 г. и последовавшей за ней гражданской войны в России, на ее прежней территории у Балтийского моря возникли государства Эстония, Латвия и Литва, независимость которых была признана Советской Россией в трех разновременных мирных договорах 1920 года. В каждом из этих государств население не было однородным в смысле своего национального и вероисповедного состава и в каждом местные русские жители стали, наряду с господствующей народностью, гражданами соответствующего нового государства, оказавшись в положении "национального меньшинства". Их "меньшинственные права" в смысле формальном были так или иначе закреплены в законодательстве данного государства, а также — признаны в особых декларациях, которые были даны представителями балтийских государств в 1921 г., когда они были приняты в число полноправных членов Лиги Наций в Женеве.

Как известно, период независимости трех балтийских государств продолжался сравнительно недолго: немногим больше 20 лет, и уже в 1941 г. они были включены в состав Советского Союза. В течение 40-летия, прошедшего с того времени, и особенно после второй мировой войны и расселения многочисленных эмигрантов из Прибалтики по странам свободного мира, в русской зарубежной печати неоднократно появлялись статьи и воспоминания, касавшиеся судеб балтийских государств и их населения. При этом катастрофические события 1939-1945 гг. в сознании авторов нередко как бы заслоняли собой внутриполитическую эволюцию в балтийских странах в период их независимости и перемены в их

Распределение русского населения Латвии по ее округам в 1935 г. (в тысячах)

Национальная структура населения Латвии в 1935 г.

	Общее число	В процентах
Латыши	1 472 612	75,5
Русские	233 366	12,0
Евреи	93 479	4,8
Немцы	62 144	3,2
Поляки	48 949	2,5
Другие	39 952	2,0
Всего	1 950 502	100,0

Статистические данные для этой схемы взяты из сборника:
Das Baltikum in Zahlen. Institut fuer Osteuropaeische Wirtschaft, Koenigsberg (Pr) 1937 S. 33.

правопорядке, непосредственно не зависевшие от международных потрясений. Это приводит подчас к тому, что у читателей, лично не связанных с Прибалтикой тех времен, создается ложное представление, будто правопорядок, установленный после провозглашения независимости балтийских государств, не обрываясь и не подвергаясь существенным изменениям, просуществовал вплоть до занятия Прибалтики советскими войсками летом 1940 г. и что положение ее русских жителей, вполне благоприятное еще в середине 20-х гг., оставалось таким же к концу 30-х годов. На самом же деле парламентарно-демократический строй с его правовыми гарантиями меньшинственных прав лишь ненадолго удержался во всех балтийских странах, и на смену ему вскоре пришли авторитарно-диктаторские режимы в разных вариантах.

В 1926 г. в Литве А. Вальдемарас произвел военный переворот, а в 1934 г. в Латвии таким же противозаконным образом был установлен диктаторский режим К. Ульманиса и в Эстонии — более умеренный и либеральный авторитарный режим К. Пятса. Эти радикальные изменения правопорядка в балтийских странах весьма отрицательно отражались на их русских гражданах, положение которых все более ухудшалось. О том, как этот процесс протекал в Латвии, наиболее многонациональном государстве Прибалтики, постараюсь в общих чертах рассказать читателям.

Период парламентарно-демократического строя

мая 1920 г. в Риге собралось и приступило к работе Латвийское Учредительное Собрание, а 1 авг. того же года был заключен мирный договор с Советской Россией. Можно поэтому считать, что парламентарно-демократический период в жизни независимой Латвии продолжался с 1920 г. до введения режима диктатуры К. Ульманиса в 1934 г.

Процесс становления латвийской государственности вплоть до 1920 г. происходил в чрезвычайно сложной и запутанной международной и военно-политической обстановке. Ее описание выходило бы за рамки этой статьи. Следует лишь отметить, что латышский Народный Совет (составленный из представителей латышских политических партий, кроме коммунистической, и представителей областей, еще находившихся под чужеземной

оккупацией) вскоре после капитуляции Германии, собрался на торжественное собрание в Риге и 18 ноября 1918 г. провозгласил независимость Латвии, одновременно образовав временное правительство, которое возглавлял К. Ульманис как министр-президент.

Народный Совет в своем манифесте к "гражданам Латвии" оповещал о том, что Латвия есть "самостоятельное, независимое демократически-республиканское государство" и опубликовал свою "политическую платформу". В ней, среди прочего, определялось отношение "к другим национальностям". На основе своей платформы новое латышское правительство стремилось заручиться сотрудничеством национальных меньшинств, численно составлявших четверть населения страны, и таким образом превратить Народный Совет из чисто *латышского в латвийский.* Предложено было расширить состав Народного Совета, выделив для этого определенное число мест с тем, чтобы они были распределены между представителями национальных меньшинств. "Политическая платформа" Народного Совета состояла из нескольких разделов, из которых особый интерес для нелатышских жителей страны представлял раздел 4-й, который гласил: "1. Национальные меньшинства посылают своих представителей в Учредительное Собрание и законодательные учреждения на основе пропорционального избирательного права; 2. вступившие в Народный Совет меньшинства принимают участие во временном правительстве; 3. культурные и национальные права национальных групп подлежат закреплению в основных законах".[1]

Из других актов Народного Совета, изданных во время его начальной деятельности, следует отметить важный для национальных меньшинств закон 6 дек. 1918 г. об учреждении судебных установлений, согласно которому судопроизводственный язык есть язык латышский, но по обстоятельствам и надобности, суды обязаны допускать также русский и немецкий языки.

Пронесшиеся затем над страной военно-политические потрясения на время прекратили нормальную деятельность

---

1. Hans v. Rimscha. *Die Staatswerdung Lettlands und das Baltische Deutschtum.* Riga, 1939, s. 96.

Народного Совета и он, вместе с временным правительством, бежал в Либаву. Оттуда он смог вернуться и возобновить свою деятельность только в июле 1919 г., после того как 22 мая того же года Рига была освобождена противобольшевицкими войсками, в составе которых сражался и русский отряд кн. А. П. Ливена.

Теперь национальные меньшинства тоже делегировали в Народный Совет своих представителей, причем от русских в него первоначально вошли четыре делегата, лидером которых был прис. пов. А. С. Бочагов. На заседании Совета 13 июля он выступил с общеменьшинственной декларацией, в которой высказывалась уверенность, что "всем меньшинствам будет обеспечено национальное культурное самоопределение..."[2] Частично это пожелание исполнилось: помимо общего "Закона о просветительных учреждениях в Латвии", Народный Совет в тот же день, 8 дек. 1919 г. издал также "Закон об организации школ меньшинств". Этот закон определял, однако, лишь положение русских средних школ и управление ими. На его основании русское меньшинство (как и другие меньшинства) имело свой Русский Отдел при Министерстве Образования, во главе которого стоял начальник, избиравшийся русскими депутатами парламента и утверждавшийся в должности Кабинетом Министров. У начальника Отдела был помощник и канцелярия со штатом служащих. Из денежных средств, отпускавшихся государством и общественными учреждениями на школьные нужды, школам русского меньшинства предоставлялась часть, соответствовавшая его численности.

Закон 8 дек. 1919 г. принято было называть основой школьной автономии, но это была автономия лишь частичная или урезанная. Убедительно об этом говорил Е. М. Тихоницкий, видный местный педагог и школьный деятель, одно время бывший также депутатом парламента (второго созыва, в 1925-1928 гг.). Описывая положение русской школы в Латвии и функции Русского Отдела, он писал: "Начальные же (основные) меньшинственные школы заведованию Отдела не подлежат, а наряду со всеми находятся в хозяйственном и административном ведении местных

2. М. Ганфман. "Русское население и представительные учреждения". Сборн. *Русские в Латвии.* Рига, 1934, с. 92.

самоуправлений вплоть до открытия школ и назначения в них учащихся. Поэтому русский меньшинственный отдел лишен возможности оказывать влияние на развитие начального образования, на открытие школ в той или другой местности, на подбор и назначение учителей".[3]

Ожидалось, что провозглашенное Народным Советом признание культурно-национальных прав меньшинств в дальнейшем будет закреплено в основных законах, но эти предположения не оправдались. Дело в том, что предложенный на рассмотрение Учредительного Собрания проект конституции состоял из двух частей. Первая определяла государственное устройство, а вторая — права и обязанности граждан. В то время как первая часть конституции без затруднений была принята 15 февр. 1922 г., ее вторая часть вызвала столь существенные разногласия, что она при окончательном голосовании была отклонена.

В результате, в принятой и вступившей в силу конституции содержалась только одна статья, касавшаяся прав граждан в короткой формулировке: "перед законом и судом все граждане равны". (ст. 82).

Вместе с тем, вторая, отклоненная часть законопроекта о конституции содержала статью, которая предусматривала, что "меньшинственные народности для своих культурно-национальных дел имеют автономные публично-правовые организации". (ст. 116). Согласно той же статье, компетенции этих организаций, их устройство и правила их избрания подлежат определению в особом законе. Но такой закон впоследствии так и не был издан, несмотря на соответствующие законопроекты, которые разрабатывались и вносились в парламент его меньшинственными депутатами.[4]

Таким образом, права меньшинств на организацию культурно-национального самоуправления оказались формально неоговоренными, и это дало основание для суждения русского

---

3. Е. Тихоницкий. "Нужды русского меньшинства в Латвии". *Сборник Постоянного Бюро Русских Меньшинств*, вып. 1, Женева, 1927, с. 13. Епифифор Михайлович Тихоницкий был во время сов. оккупации Латвии в 1940/41 г. арестован, вывезен и погиб в СССР.

4. Adolfs Šilde. *Latvijas vesture 1914-1940.* Stockholm, 1976, с. 704. [Адольфс Шильде. *История Латвии 1914 — 1940.*]

юриста при описании прав русского меньшинства говорить: "вне признания меньшинств юридическими лицами с определенным комплексом прав, всякая охрана их расы, культуры, религии и быта будет случайной и изменчивой".[5]

Поскольку такой юридической базы не удалось достичь в пору "политического романтизма" (как называли время провозглашения политической платформы Народного Совета), закон 8 дек. 1919 г. "Об организации школ национальных меньшинств" служил основой того, что расширительно толковалось не только как школьная, но и как культурная автономия вообще. Такое широкое понимание этого закона находило известное обоснование в той его статье, которая гласила, что начальник школьного отдела "является представителем своей национальности по всем культурным вопросам с правом сношения со всеми департаментами министерства образования и участия в заседаниях кабинета министров с правом совещательного голоса по вопросам, касающимся культурной жизни представляемой им народности".[6]

Говоря о положении русских в Латвии, было бы, конечно, односторонне и неубедительно ограничиваться при этом одними лишь ссылками на законодательные постановления, имевшие целью охрану меньшинственных прав. Наше время изобилует примерами того, как прекрасно звучащие конституции и законы, якобы обеспечивающие права отдельных граждан и их групп, имеют по существу только пропагандно-декларативное значение и на деле служат лишь маскировкой господствующего в стране бесправия и произвола властей. Действительно благоприятное положение национального меньшинства и представляющиеся ему возможности успешно сохранить свою самобытность и развивать свое культурное наследие зависят, несомненно, и от ряда других факторов, кроме одной лишь юридической формулировки меньшинственных прав в законодательных актах, даже самых широковещательных.

К таким факторам относятся как степень правосознания среди жителей страны, так и отношение к данному меньшинству

5. В. Снегирев. "Правовое положение русских в Латвии". Сборн. *Русские в Латвии*. Рига, 1934, с. 11.

6. Reinhard Wittram. "Die Schulautonomie in Lettland" in: *Zeitschrift fuer Ostforschung*. Jg. 1952, Heft 2, S. 259.

широких кругов ее населения и, в особенности, его правящей элиты, а также — численность меньшинства, его хозяйственная и общественная мощь и, наконец, его политическая зрелость и стойкость при защите своих прав и интересов.

О численности русского меньшинства в Латвии и о его распределении в стране дает представление приложенная схема. Из нее явствует, что русские, будучи наиболее многочисленным меньшинством, в своем большинстве были сосредоточены в Латгалии, где они в ряде восточных волостей составляли абсолютное (т.е. больше 50%) большинство населения. Почти все русские в Латвии были ее полноправными гражданами, и в 1935 г. только прибл. 4.000 чел. были бесподданными (нансенистами) и не имели прав гражданства.

Основная масса русского населения были латгальские крестьяне, и их хозяйственное положение, культурный уровень и степень национального самосознания имели особое значение для жизни всего русского меньшинства и его реальных возможностей защищать свои права и интересы. Поэтому условия жизни русского крестьянства и его нужды были предметом постоянных забот русских земских деятелей и парламентских депутатов. Суждения и выводы этих деятелей находили выражение в их отчетах и выступлениях и дают ясное представление о состоянии дел русской деревни в Латгалии.

"Закон об аграрной реформе" (принятый Учредительным Собранием 16 сент. 1920 г.), имевший целью создание мелких хуторских хозяйств размерами до 22 гект. за счет отнятой у помещиков земли, почти не коснулся русского населения. Новые хозяйства не попали в русские руки, а старые малоземельные не получили прирезов за единичными исключениями. Кроме малоземелья (русские землевладельцы имели вдвое меньше земли, чем латыши вне Латгалии), характерными для быта русского крестьянства была отсталость сельскохозяйственной культуры и малая возможность применения крестьянского труда на месте. Отсюда — тяга к отхожим промыслам в другие области Латвии, где нужна была работа канавщиков, плотников, каменщиков и т.п. Неблагоприятным обстоятельством был и низкий общий культурный уровень массы русского населения, среди которого был наиболее высокий процент неграмотных.

Что касается городского русского населения, то оно исчислялось приблизительно в 60.000 чел., причем немного больше половины этого числа составляли русские жители Риги, а остальная часть русских горожан проживала преимущественно в латгальских городах (Двинск, Режица, Люцин) и местечках, составляя в некоторых из них около четверти населения. Среди русских горожан численно преобладали рабочие, ремесленники и мелкие торговцы, а процент интеллигенции (по отношению к общей численности меньшинства) у русских был ниже, чем у немцев и евреев.

Рига, столица Латвии, издавна была городом-портом с многонациональным составом жителей. В 1935 г. в Риге насчитывалось 385.000 жителей, из которых около 33.000 было русских, 39.000 — немцев и 43.000 — евреев. Среди русских рижан было немало представителей купечества, обосновавшегося в городе еще в прошлом столетии. Некоторые из них смогли сохранить свое имущество и, применяясь к новым обстоятельствам, продолжать дело. Поэтому в Риге существовали старые и новооткрытые русские торгово-промышленные предприятия и магазины, были русские домовладельцы и фабриканты. Местная русская интеллигенция насчитывала в своих рядах лиц различной квалификации и разнообразных специальностей и в течение первых 10-15 лет существования республики часть русских специалистов находила применение своим силам, как в области свободных профессий, так иногда и на службе государственной и местных самоуправлений. Последнее в особенности относится к русскому учительству, обслуживавшему сеть русских основных и средних школ, и составлявшему одну из наиболее многочисленных профессиональных групп местной русской интеллигенции.

Между двумя мировыми войнами Рига была одним из крупных русских зарубежных центров, в котором наследие и влияние русской культуры сказывались в жизни государственной и бытовой, отличаясь в этом смысле от зарубежных чисто эмигрантских центров. Русские Судебные Уставы 1864 г. и русское Уголовное Уложение 1903 г. при создании государства были признаны как наиболее подходящие в условиях нового правопорядка, и источники русского законодательства и юридической мысли и в дальнейшем не оставались без влияния на развитие права в Латвии. В Латвийском Университете, среди учебного персонала

которого вообще было немало русских и немецких ученых, особенно на юридическом факультете, была заметна научная деятельность видных русских профессоров. При незнании латышского языка они получали право в течение известного числа лет вести занятия на русском языке.

В русском зарубежье Рига занимала заметное место в смысле газетного, журнального и книжного издательства. Перечисление всех выходивших в независимой Латвии периодических изданий на русском языке потребовало бы специального очерка. Ограничусь поэтому упоминанием лишь нескольких изданий. Сюда относится, прежде всего, газета "Сегодня", ежедневно выходившая утренним и вечерним изданием и просуществовавшая с 1919 г. до конца независимости Латвии.[7] Затем, с 1925 по 1929 г., под редакцией Н.Г. Бережанского (при участии писателя Ивана Лукаша) выходила ежедневная газета "Слово". С этим изданием был связан литературно-художественный журнал "Перезвоны". В издании Русского Юридического О-ва в Латвии с 1929 г. выходил единственный за рубежом журнал русской юридической мысли "Закон и Суд", а с 1933 г. популярный еженедельный иллюстрированный журнал "Для Вас". Комплекты этих изданий, ставшие теперь библиографической редкостью, представляют собой исключительно ценный и необходимый источник для исследования жизни русского меньшинства в Латвии в ее бытовом, культурном, общественно-политическом и правовом аспектах.

Русские, приезжавшие из стран эмигрантского рассеяния в Ригу, обычно бывали поражены распространением русского языка и возможностью почти всюду в городе объясниться на этом языке. Не раз приходилось читать в воспоминаниях высказывания, сводящиеся к тому, что русский и немецкий языки в Латвии пользовались такими же гражданскими правами, как и латышский. Такая характеристика положения содержит в себе много правды в смысле бытовом, но далеко не соответствует формально-правовым обстоятельствам, с которыми необходимо было считаться местным русским и которые, конечно, оставались вне поля зрения приезжавших на время из-за границы.

---

7. Долголетний редактор газеты Михаил Семенович Мильруд во время сов. оккупации Латвии в 1940/41 г. был арестован, осужден в Москве и погиб в лагере.

Что касается стороны бытовой, то, действительно, в первые 10-15 лет существования Латвии, несмотря на то, что число русских жителей Риги не превышало 10% населения города, русский язык не только повсюду слышался, но с ним легко можно было обойтись в смысле житейско-обиходном. Дело в том, что многочисленные нерусские жители города или пользовались русским языком, как разговорным (евреи), или свободно говорили на нем (латыши и немцы).

Многочисленнее русских были еврейские жители города причем в их среде преобладающим разговорным языком был русский. Рижские евреи тяготели к русской культуре, охотно посылали (пока это не было законом воспрещено) своих детей в русские школы, были ревностными посетителями русского театра и иных русских культурных начинаний и вносили немалую долю в дело книгоиздания и периодической печати. В экономической жизни страны и особенно в области промышленной и коммерческой евреи играли значительную роль, и в их предприятиях обычно свободно говорили по-русски.

Хотя радикальная реформа и безвозмездное отчуждение помещичьих земель сильно подорвали экономическую мощь прибалтийских немцев, они продолжали играть важную роль в экономике страны и, в особенности, в Риге, свидетельством чему служили их издавна известные коммерческие фирмы. Старшее поколение немцев, обучавшееся до революции в русских учебных заведениях, тоже обычно владело русским языком. В результате, пока на этот счет не были изданы ограничительные распоряжения властей, в частных предприятиях обслуживание клиентуры и переписка с ней обычно велась, в зависимости от удобства клиента, на одном из трех местных языков: латышском, русском или немецком.

Что касается широких кругов латышского населения, то его среднее и старшее поколение, в общем, в той или иной мере владело русским языком или по тому, что служило до или во время мировой войны в русской армии или оттого, что получило полностью или частично образование в России и было, таким образом, по личному опыту знакомо с русской культурой и условиями дореволюционной русской жизни и быта, с которыми еще чувствовали некую связанность. Так, например, латышский

общественный деятель И. Кауль писал в 1925 г.: "Ведь как-никак мы латыши долгое время были связаны единой судьбой с русским народом, да и ныне у нас осталось кое-что общее, общие воспоминания о прошлом. Ведь все мы горячо молимся и стремимся к свержению интернационального коммунистического ига".[8] Можно поэтому сказать, что первоначально в Латвии не наблюдалось ярко выраженной и широко распространенной неприязни ко всему русскому, и проявления подобного умонастроения со стороны отдельных публицистов в то время скорее были исключением, чем общим явлением.

В первые годы независимости Латвии в рижском обиходе мирно уживалось прежнее троеязычие. Унаследованные с "царских времен" дощечки с названиями улиц на трех местных языках (правда, уже в 1923 г. замененные по постановлению рижского самоуправления одноязычными, латышскими) помогали ориентироваться в городе людям, не владевшим латышским языком. Обязательным было только то, чтобы латышский текст был помещен на первом месте и чтобы по размерам он не был меньше текста иноязычного. В кино, в годы "немого" фильма, появлявшиеся на экране пояснительные тексты обычно тоже давались на трех языках.

Таким образом, если можно было считать, что практически, в сфере обиходной и частно-правовой, меньшинственные языки были равноправны с латышским, то иначе дело обстояло в сфере сношений с государственными и коммунальными учреждениями, законы и распоряжения которых издавались только на латышском языке. Общего закона, который формально регулировал бы объем права пользования меньшинственными языками, довольно долго не было. Вопрос этот разрешался как постановлениями отдельных законов (напр., законы о собраниях и обществах 1923 г. и о печати 1924 г.), так и распоряжениями по отдельным ведомствам, а в парламенте — соответствующими статьми его наказа. Так дело продолжалось до 18 февр. 1932 г., когда изданы были "Правила о государственном языке", в значительной степени ограничившие право пользования меньшинственными языками.

Сводя содержание этого закона к краткой и общепонятной

8. И. Кауль. "Верующий латыш о сносе православной часовни". *Сегодня*, 10 июля 1925.

формулировке, русский юрист писал: "Право пользования русским языком, как языком меньшинственной национальности, в одних случаях совершенно запрещено (армия, флот, государственные и коммунальные учреждения), в других случаях оно только ограничено (на заседаниях органов самоуправления), а в-третьих случаях (общественные собрания, печать, торговля, промышленность, просвещение и пр.) более или менее свободно".[9]

Описание положения вопроса о русском языке в Латвии было бы неполным без указания на два фактора, постепенно, но неизбежно действовавших в смысле сужения круга пользующихся и владеющих русским языком. Во-первых, с каждым проходившим годом сокращалось число латышей, знающих русский язык, тем более, что он был исключен из числа обязательных предметов преподавания в латышских школах. Во-вторых, все более сказывалась тенденция законодательным путем ограничивать сферу, в которой допущено было пользование русским языком. Эта тенденция, связанная с шовинистическими настроениями некоторых представителей латышской интеллигенции, проявилась уже очень рано. Так, в 1921 г. латышская газета "Латвияс Саргс" писала: "...Мы должны строго отгородиться как от азиатской русской культуры... так и от чванливой германской культуры, и больше приблизиться к богатым, преисполненным силой и энергии английским и французским источникам культуры".[10] Противодействовать такой тенденции и по возможности охранять русскую культурную стихию от попыток ее ограничения в области правовой было одной из важных задач русских деятелей, избиравшихся русским населением Латвии в ее представительные учреждения.

Принятая 15 февр. 1922 г. Учредительным Собранием Конституция Латвийской Республики вступила в силу 7 ноября 1922 г. Она устанавливала, что "Латвия есть независимая демократическая республика" (ст. 1), законодательный орган которой — Сейм — состоит из ста представителей, которые избираются на три года "всеобщим, равным, прямым, тайным и пропорциональ-

9. В. Снегирев. Цит. соч., с. 15.

10. Wolfgang Wachtsmuth. *Von deutscher Arbeit in Lettland 1918-1934*. Koeln, 1953, Band 3, S. 255.

ным голосованием" (ст. 5, 6 и 10). Президент республики избирался Сеймом сроком на три года (ст. 35). Исполнительный орган — Кабинет Министров — возглавлялся министр-президентом, который в случае, если Сейм ему выражал недоверие, уходил со всем кабинетом в отставку (ст. 55 и 59).[11]

Как в Учредительное Собрание (состоявшее из 150 представителей), так и в Сейм всех четырех созывов, меньшинства проводили своих представителей, о численности которых дает представление следующая таблица:[12]

	1920-1922 Учр. Собр.	1922-1925 I Сейм	1925-1928 II Сейм	1928-1931 III Сейм	1931-1934 IV Сейм
русские	4	3	5	6	6
немцы	6	6	5	6	6
евреи	6	6	5	5	3
поляки		1	2	2	2
меньшинства вместе	17	16	17	19	17

Эта таблица показывает, что русское меньшинство ни в одном представительном учреждении Латвии не было представлено соответственно его численности. Наибольшее число депутатов, которое проводилось русским населением, не превышало шести, в то время как русские составляли 12% всего населения страны и, следовательно, должны были бы иметь 12 депутатов.

Причины такого несоответствия были многообразны и сложны. Сюда относятся: социальное и вероисповедное (православные и старообрядцы) расслоение русского населения, низкий культурный уровень и слабо развитое национальное самосознание его основной массы, неумение изживать разногласия и выступать на выборах единым списком. Отмечалось, что во время избирательных кампаний появлялись различные списки русских

11. Все три первых президента Латвии были юристы, получившие образование в дореволюционной России: Я. Чаксте — в Московском университете, Г. Земгас — в Московском и В. Квиесис — в Юрьевском.

12. Michael Garleff. *Deutschbaltische Politik zwischen den Weltkriegen.* Bonn — Bad Godesberg, 1976, S. 164

кандидатов, боровшихся между собой, и это приводило к раздроблению русских общественных сил, а иногда и к уменьшению количества полученных мандатов. Кроме абсентеизма избирателей, отрицательное значение имело в какой-то степени также стремление левых латышских (социалистических) партий оторвать часть русских избирателей от их национальных списков, выставляя в своей пропаганде (часто на русском языке) социальные мотивы.

Редактор газеты "Сегодня" М.И. Ганфман, подводя итоги происходившим в 1931 г. выборам в Сейм последнего созыва и сравнивая число голосов, поданных за русские списки во время всех избирательных кампаний, отмечал тенденцию роста русских голосов и все большее и большее участие русского населения в выборах (в 1922 г. на выборах в 1-ый Сейм было подано 29.574 голоса, а в 1931 г. — 65.512). Вместе с тем автор говорит: "Однако было бы слишком оптимистическим думать, что этот процесс уже дал желанные результаты. Согласно официальным данным количество избирателей русской национальности исчисляется в 125 тысяч. Следовательно, почти половина русских избирателей и при последних выборах не использовала своего права голоса". В то же время немцы, у которых число полноправных избирателей исчислялось в 45.016, голосовали почти поголовно и смогли провести в Сейм 6 депутатов, т.е. столько же, сколько русские.[13]

Группа меньшинственных депутатов Сейма численно представляла собой довольно внушительную политическую величину, принимая во внимание партийную раздробленность латышских депутатов. Однако первоначальные попытки сплотить меньшинственных депутатов в постоянно оформленный "блок", который выступал бы по всем вопросам сообща, оказались неосуществимыми по ряду причин. Поэтому сотрудничество между меньшинственными депутатами достигалось от случая к случаю, и в обстоятельствах, когда создавалась угроза основным культурным правам и интересам меньшинств, их депутаты согласовывали свои действия и выступали сообща.

Что касается русских депутатов, то им не удавалось добиться того, что осуществили немецкие депутаты, т.е. объединиться в

13. М. Ганфман. Цит. соч., с. 100.

постоянную единую национальную фракцию, члены которой подчинялись бы строгой фракционной дисциплине и от имени которой выступал бы один общепризнанный лидер. Но и при таком положении, несмотря на возникавшие разногласия личного и группового характера, русские депутаты в общем выступали совместно, когда дело касалось непосредственных национально-культурных и материальных интересов русского населения. Защищая права русской школы, пользования русским языком, вероисповедных и просветительных организаций, борясь за земельные права русского крестьянства и за получение средств на содержание русских организаций, отражая шовинистические наступления на меньшинственные права, русские депутаты не раз добивались важных результатов своей деятельности на общих собраниях Сейма и в его комиссиях.

Участие русского представительства в парламенте, в городских думах и других органах самоуправления, существование свободной русской печати, охрана правопорядка независимыми судебными учреждениями, отправлявшими правосудие в духе и традициях старого русского суда, — все это, при инерции уклада жизни, сложившегося еще в то время, когда Прибалтика была составной частью Российской Империи, давало русским жителям Латвии возможность жить в условиях на много более благоприятных, чем те, в которых находились их сородичи в других государствах. В 1927 году об этом писал Б.А. Никольский, организатор созданного за год до того Постоянного Бюро Русских Меньшинств в Женеве: "Справедливость требует указать, что среди стран, в которых оказались русские меньшинства, на первом месте по порядочности отношения к меньшинствам стоит Эстония... Очень близко к Эстонии стоит Латвия по степени культурности в обхождении с меньшинствами".[14]

Рост шовинизма и режим диктатуры

Тенденция к ущемлению меньшинственных прав, сперва в области вероисповедной, проявилась уже во время заседаний

14. Б. Никольский. "Защита национальными меньшинствами своих прав и интересов". *Сборник Постоянного Бюро Русских Меньшинств,* вып. 1, Женева, 1927, с. 6.

Учредительного Собрания. Дело тогда заключалось в том, что по условиям конкордата, заключенного с Ватиканом в 1921 г., латвийское правительство обязалось предоставить в распоряжение католического архиепископа кафедральный собор и другие здания (под резиденцию и канцелярию диоцезы). В связи с этим был внесен законопроект, предусматривавший отчуждение немецкой лютеранской церкви Св. Якова и православного Алексеевского монастыря, при котором был архиерейский дом.

Несмотря на упорную парламентскую борьбу русских и немецких депутатов, Сейм принял в 1923 г. закон об отчуждении указанных имуществ, после чего глава православной церкви архиепископ Иоанн Рижский и всея Латвии, лишившись своей исторической резиденции, поселился в подвальном помещении под рижским православным кафедральным собором.

Через два года, летом 1925 г., последовало очередное событие, глубоко взволновавшее православное население Риги: по распоряжению правительства была снесена часовня-памятник на площади перед главным вокзалом по причине того, что она якобы "мешала движению".[15]

Удары по православному населению, большинство которого были русские, вызвали энергичные выступления русских депутатов в Сейме. Так, депутат от старообрядцев М.А. Каллистратов, в одной из своих больших речей, между прочим, сказал: "Чувство христианина никогда не примирится с тем, что была снесена часовня и сделана на месте ее стоянка для извозчиков. Совершенно недопустимо отвести православному архиепископу подвал, предоставивши главам других церквей соответствующие помещения".[16]

Арх. Иоанн (Поммер), избранный во второй Сейм и остававшийся депутатом вплоть до осени 1934 г. (когда он был зверски убит), будучи сам латыш по рождению, неоднократно выступал с трибуны парламента и на страницах русской печати в защиту православия и русской культуры. Говоря о несправедливостях, чинимых по отношению к православной церкви, владыка

15. О сносе часовни подробно сообщается в газ. *Сегодня,* №№ от 18, 21, 22, 23 и 25 июля 1925.

16. *Сегодня,* 2 июня 1926. Мелетий Архипович Каллистратов во время сов. оккупации Латвии в 1940/41 г. был арестован, вывезен и погиб в СССР.

говорил: "Ни для кого не секрет, что злобные удары по православной церкви и больно бьющие по самой чувствительной струне русской души, все наносятся у нас под знаком подчеркнутой русофобии. Православную церковь у нас всячески утесняют не за ее догматы, не за каноны, а потому, что в умопредставлении наших русофобов она есть "русская церковь", "русская вера".[17] А на заседании Думы Культурного Фонда владыка выступил с речью, в которой отмечал: "В целом ряде случаев у нас реквизированы наши храмы, построенные на средства православных. Некоторые из них, как напр. Рижский Алексеевский храм и Рижский Петропавловский храм, бывший наш кафедральный собор и усыпальница православных архиереев, переданы инославным, а некоторые обращены для чисто светского употребления: напр., в одном помещается музей, в одном гимнастический зал, в одном концертный зал и т.п.".[18]

Но не только в сфере вероисповедной замечалось постепенное усиление антирусских настроений и попыток урезать права русского населения. Эта тенденция находит убедительное отражение на страницах газеты "Сегодня", в ее многочисленных передовицах, статьях и сообщениях о деятельности Сейма и его комиссий. Приведу несколько соответствующих примеров.

Деп. Е. М. Тихоницкий в передовице "Зачем нарушать" говорит о циркулярах министерства образования, путем которых достигается ограничительное толкование школьной автономии, ведущее к сокращению количества русских школ (№ от 3. 9. 1926). Деп. М.А. Каллистратов, выступая в бюджетной комиссии Сейма, перечисляет случаи попыток нарушения прав пользоваться русским языком в самоуправлениях даже в тех местностях, где русские составляют большинство населения (№ от 10. 2. 1927). Арх. Иоанн, в выступлении в Думе Культурного Фонда, указывает на то, что на просветительные нужды русского населения отпускаются далеко не те суммы, которые следуют русским пропорционально их численности (№ от 3. 6. 1927).

Когда поднят был вопрос о введении преподавания русского языка в качестве обязательного предмета в латгальских основных школах, латышская газета "Брива Земе" (официоз влиятельного

17. Арх. Иоанн. "Мой ответ". *Сегодня*, 5 сент. 1926.
18. Речь арх. Иоанна в Сейме. *Сегодня*, 20 мая 1926.

Крестьянского Союза), в своей передовице писала: "Если мы введем обязательное обучение русскому языку, мы будем способствовать русификации латышей в пограничной полосе. Поэтому русский язык не смеет звучать ни в одной латгальской школе. Введение русского языка в латгальских народных школах вредно для нашего народа и для укрепления нашего государства".[19]

Как показатель нараставших антирусских настроений, находивших выражение в латышской печати, эта статья не была единичным случаем. В другой латышской газете ("Брива Тевия") латышский публицист Ж. Унамс писал, что не стоит заваливать умы "балластом русского языка" и советовал учиться вражде к русскому языку у финнов, которые даже на своих ножиках вырезывали "против чорта и русских". По этому поводу "Сегодня" в своей передовице отмечала: "В статье мы видим яркий образец тех вредных практических последствий, которые вытекают из "азиатской" доктрины по отношению к русскому языку и русской культуре".(№ от 14. 11. 1926).

Приведенные образчики антирусских выступлений ярко отражали перемены в первоначальном благоприятном для русских культурно-политическом "климате", которые в известной степени были связаны с уходом со сцены политической жизни страны той части старой латышской интеллигенции, которая не страдала русофобией. Эти сдвиги в отношении к меньшинствам начали все сильнее сказываться в политической жизни страны в начале 1930-ых годов. Об этом периоде латышский эмигрантский автор книги по истории Латвии А. Шильде пишет: "Волна национализма прокатилась в 1933 г. по всей Латвии, причем на ней плыли не только крайние националисты, но она увлекла за собой и убежденных демократов".[20]

В националистических кругах популярность приобрел лозунг "Латвия для латышей", а с приходом к власти в декабре 1931 г. нового правительства, в нем министром образования стал А. Кениньш, прокламировавший целью своей школьной политики создание "единой латышской культуры". В Сейме, вокруг связанных с этим курсом попыток всяческими мероприятиями по су-

19. "Атака на русский язык". *Сегодня*, 10 февр. 1927.
20. Adolfs Šilde, op. cit., c. 582.

ществу отменить или ограничить школьную автономию меньшинств, разгорелась ожесточенная парламентская борьба. Она продолжалась до 1933 г. и закончилась отменой распоряжений Кениньша и его уходом в отставку. Однако страна уже стояла на пороге коренной ломки ее демократического правопорядка, и тот факт, что в Сейме было успешно отбито наступление на школьную автономию меньшинств, оказался последней победой в борьбе за свои права.

В ночь с 15 на 16 мая 1934 г. тогдашний министр-президент К. Ульманис, при содействии военного министра ген. Я. Балодиса, совершил государственный переворот. Страна была объявлена на военном положении, и деятельность Сейма и политических партий приостановлена. Председатель Сейма и ряд политических деятелей арестованы. В воззвании, подписанном обоими деятелями переворота, они говорили, между прочим, что будут стремиться к тому, "чтобы в Латвии торжествовало латышское и исчезло чужое".[21] Вслед за тем новое правительство объявило, что функции парламента впредь будут осуществляться кабинетом министров.

Более подробно о намерениях правительства стало известно из радио-речи министра внутренних дел В. Гульбиса, полностью опубликованной в русском переводе в газете "Сегодня" (от 1. 8. 1934). В своей речи министр говорил о том, что подобающее место в жизни страны будет отведено латышскому языку и добавил: "мы требуем, чтобы впредь во всех государственных учреждениях граждане Латвии по своим делам обращались на государственном языке". Отмечая, что правительство "уверенно будет идти вперед, следуя призыву нашего вождя", министр определил цели правительства следующим образом: "1) создание латышской Латвии; 2) укрепление единства латышского народа и 3) усиление внутренней крепости и мощи нашего государства".

Речь министра была характерна также и в том отношении, что в ней недвусмысленно оповещалось о конце свободы печати в Латвии. По его словам, "все несолидные и подрывающие устои жизни периодические издания теперь закрыты, а для части оставшихся введена предварительная цензура".

21. Juergen v. Hehn. *Lettland zwischen Demokratie und Diktatur.* Muenchen, 1957, S. 65.

О причинах того, что "Сегодня" не оказалась в числе подлежащих закрытию органов печати, можно лишь строить предположения. Одно из них — тот факт, что газета имела многочисленных читателей во всей Прибалтике, Польше и Финляндии и что среди ее постоянных подписчиков было немало высокопоставленных и близких к правительствам этих стран лиц. Поэтому закрытие газеты получило бы широкую огласку далеко за пределами страны, что, по-видимому, правительством Ульманиса считалось нежелательным.

Окончательная консолидация диктатуры Ульманиса произошла в апреле 1936 г., когда истекли полномочия последнего законно избранного президента государства А. Квиесиса. По постановлению кабинета министров полномочия президента были возложены на К. Ульманиса, и с этого момента, как пишет А. Шильде, "в руки Ульманиса перешли законодательная и исполнительная власти, репрезентация государства и верховное военное командование, причем министр юстиции Х. Апситис приписывал ему также роль источника права". Таким образом, по словам автора, Латвия после 16-летнего существования перестала быть правовым государством в западном понимании этого слова, и в ней воцарился режим единоличной диктатуры.[22]

Этот режим отличался от фашистского режима в Италии и от национал-социалистического в Германии тем, что диктатор не опирался на какую-либо массовую партийную организацию и таковую не создавал. По определению другого латышского автора, Ф. Циеленса, видного социал-демократа, который во время майского переворота жил в Париже, будучи там латвийским посланником, "инструментом управления обществом стал аппарат чиновников, который, на основании донесений политической полиции, основательно прочистили, уволив со службы не только социал-демократов, но и других демократов".[23]

Для понимания сущности режима Ульманиса и воцарившегося в стране бесправия, интересно привести слова того же автора, партия которого в прошлом отличалась своей

22. Adolfs Šilde, op. cit., c. 592, 601.

23. Felikss Cielens. *Laikmetu maina.* Sweden, 1964, vol. III, c. 13. [Феликс Циеленс. *В смене веков]*

ненавистью к монархическому строю в России и обычно яростно его критиковала. Циеленс в своих воспоминаниях пишет: "В России до 1905 г. царило неограниченное царское самодержавие, и у народа не было свободы в западном понимании. Однако народ не был так подчинен государственной власти, как это было в Латвии после 15 мая". И этот же автор отмечает, что "во время диктатуры Ульманиса печать была более ограничена, чем во время царского самодержавия до 1905 г." При этом Циеленс упоминает любопытный случай: его книга о современном империализме, изданная в России до революции, при Ульманисе была включена в список "вредных" книг, подлежащих уничтожению и изъятию из библиотек. Этот случай латышский автор называет примером "невежественной некультурности и фанатической нетерпимости".[24]

В политической жизни страны появилось новое понятие — "народный вождь", т.е. титул, применявшийся к диктатору. Сущность этого понятия разъяснял один из официозных журналов таким образом: "Он на самом деле по мнению народа воплощение государства, подлинный великий Хозяин Государства, который действительно знает нужды Латвии и латышского народа, и который также знает, как пойти навстречу этим нуждам".[25] Из такого понимания прав и полномочий "народного вождя" вытекали обязанности населения как безгласного исполнителя получаемых свыше приказаний. Это откровенно сформулировал министр общественных дел Алфред Берзиньш (игравший при Ульманисе роль германского Геббельса) в своей речи, текст которой на русском языке содержал, между прочим, такой абзац: "В нашей стране нашей судьбой руководит Президент государства Карлис Ульманис, Вождь нашего народа... Никогда не вопрошайте: почему и отчего. Преданный человек всегда ответит без промедления, как воин: слушаюсь, я исполню" ("Сегодня" от 15. 1. 1940).

Одним из неотъемлемых пунктов программы Ульманиса по переустройству государства было проведение в жизнь лозунга "Латвия для латышей", который им был перенят из програм-

24. Felikss Cielens, op. cit., c. 31/32.
25. Adolfs Šilde, op. cit., c. 597.

мных положений прежних националистических и антименьшинственных центристских и радикально правых партий. И поэтому, как говорит немецкий историк, "Нелатышские национальные группы, лишенные, вследствие устранения парламента и городских самоуправлений, всякой возможности защищать свои права, были исключены из участия в государственной и административной работе".[26]

Курс Ульманиса на "латышскую Латвию" не замедлил сказаться на правовом положении меньшинств. Вслед за переворотом было объявлено об отмене школьной автономии меньшинств. На первой странице "Сегодня" появилось сообщение: "Ликвидируются меньшинственные отделы министерства образования", из которого стало известно, что, вместо ликвидируемых отделов, "будут назначены советники". ("Сегодня", 28. 5. 1934). Из этого же номера газеты можно было узнать, что министр образования Л. Адамович поместил в латышской газете программную статью, в которой он говорил, что необходимо освободиться от влияния чужих культур, которые "угрожают латышизму".

Кабинет министров вскоре принял соответствующий новый закон о народном образовании, который предусматривал, что при министерстве образования будут должности референтов по меньшинственным просветительным делам, назначаемые министром, компетенция которых будет определена специальной инструкцией ("Сегодня" 13. 7. 1934). Затем русское население узнало, что все служащие Русского отдела уволены и что "референтом по русским делам" назначен бывш. депутат Сейма И. С. Трофимов ("Сегодня", 26. 7. 1934).[27]

После опубликования закона о народном образовании министр образования Л. Адамович издал специальную инструкцию об определении национальности учащихся, которая в значительной степени ограничивала права родителей посылать детей в меньшинственные школы в случаях смешанных браков. Так, например, если в семье отец был латыш, но женат на рус-

26. Juergen v. Hehn, op. cit., S. 59.

27. Сергей Иванович Трофимов во время сов. оккупации Латвии в 1940/41 г. был арестован и расстрелян. Его тело было найдено в братской могиле недалеко от Риги.

ской, даже если разговорный язык дома был русский, родители не имели права определить детей в русскую школу, а обязаны были посылать их в школу с латышским языком преподавания ("Сегодня", 17. 8. 1934).

Также и в сфере хозяйственной мероприятия правительства Ульманиса были целеустремленно направлены на латышизацию экономики страны, в которой, как упоминалось, меньшинственные предприятия играли немаловажную роль. Одним из могущественных орудий его политики при этом был основанный в 1936 г. Латвийский Кредитный Банк. Он перенимал в свою собственность предприятия, попавшие будто бы в платежные затруднения или отчуждавшиеся за известное, произвольно им назначаемое вознаграждение под видом покупки, причем для такой сделки нередко не испрашивалось согласия их владельцев или акционеров. Таким образом создан был ряд крупных государственных предприятий в главных отраслях экономики страны и положено начало государственному капитализму.

Подобными мероприятиями, с одной стороны, ослаблялось или вовсе исключалось влияние меньшинств на хозяйственную жизнь страны, а с другой — подрывалась их экономическая независимость и возможность предоставлять работу своим сородичам. Для русских, немцев и евреев всё труднее было устраиваться на работу в новых латышских предприятиях, придерживавшихся практики предоставлять работу преимущественно лицам латышской национальности. То же самое происходило в области свободных профессий, доступ в которые постепенно затруднялся для нелатышей.

Чинимые затруднения и создававшиеся препятствия при поступлении на работу особенно ощущались молодым меньшинственным поколением, кончавшим Латвийский Университет, так как доступ в некоторые профессии, как, например, в адвокатуру, был чрезвычайно затруднен негласно введенной процентной нормой.

В результате более чем пятилетних усилий правительства Ульманиса создать "латышскую Латвию", ее жители нелатыши все меньше чувствовали себя полноправными гражданами, и они почти повсюду испытывали то, что по современной термино-

логии называется дискриминацией. В ретроспекте это подтверждает в своей книге А. Шильде. Он говорит, что Ульманис, любивший выступать от имени "народа", вождем которого его величали, под народом понимал не всех жителей Латвии, а только латышей. Это, по мнению автора, "составляло у части инородцев представление о том, что латвийские подданные разделяются на граждан двух разрядов".[28]

Несмотря на угрожающую международную обстановку, сложившуюся к концу 1930-ых годов, русофобские настроения, против которых владыка Иоанн неоднократно выступал еще в 20-ых годах, теперь стали находить выражение гораздо более ощутимым образом, в виде разного рода ущемлений прав русского населения, против которых оно было бессильно сопротивляться. К таким фактам относится закрытие русских периодических изданий (совершенно аполитичных), как, например, журнала "Закон и Суд", запрет издания которого последовал в 1938 г. Подобные мероприятия ясно указывали на намерение планомерного подавления культурной самодеятельности русских и удручающе на них действовали. Об этих чувствах свидетельствует письмо видного русского юриста и основателя журнала, председателя Русского Национального Союза в Латвии, П. Н. Якоби. В письме, адресованном одному из сотрудников журнала, профессору А.В. Маклецову, Якоби писал: "Мы не могли предполагать, что шовинистическая власть посягнет на научную мысль. А вот, подите же, мегаломания и шовинистический обскурантизм пресек нашу деятельность".[29]

Последовательная политика вытеснения нелатышских элементов из всех областей государственной, культурной и хозяйственной жизни страны, которую неукоснительно проводил Ульманис, дала ощутимые результаты. Однако выразить успехи латышизации в точных цифровых данных можно только приблизительно, поскольку последняя всенародная перепись населения Латвии была произведена в 1935 г., т.е. через сравнительно короткое время после установления режима

28. Adolfs Šilde, op. cit., c. 596.

29. Копия письма есть в моем архиве. Петр Николаевич Якоби во время сов. оккупации Латвии в 1940/41 г. был арестован, вывезен и погиб в СССР.

диктатуры. В первую очередь усилия по расширению сферы латышества должны были сказаться на населении Латгалии, часть жителей которой тяготела в сторону русской или польской народной стихии. Немецкий исследователь этого вопроса говорит, что "воздействие новой латышской национальной политики сказалось уже при переписи 1935 г.", причем он указывает на тот факт, что численный рост русского населения, выявленный при переписи, отнюдь не соответствовал его естественному приросту. Автор замечает по этому поводу: "Очевидно, часть русских объявила себя латышами или были к таковым причислены счетчиками".[30]

Тревогу среди русских вызывало постоянное сокращение сети русских школ и количества учащихся русской национальности. Такая тенденция обнаружилась уже в 1934 г., когда оказалось, что в 1933/34 учебн. году осталось только 187 основных школ (вместо 215 в предыдущем) и что число учащихся в них сократилось на тысячу.[31] Постепенно сокращалось и число средних русских школ. В 1933/34 учебн. г. еще действовали 5 государственных, 1 городская и 4 частных средних школы, а к моменту вступления в страну советских войск остались лишь две (государственные) средние школы: в Риге и Режице. За тот же период времени все больше сокращалась сеть русских основных школ в Латгалии за счет так называемых "смешанных" школ, с латышским языком предподавания.

О том, что националистическая политика Ульманиса за сравнительно короткий (пятилетний) срок его властвования привела к заметным результатом и успела сильно изменить атмосферу в стране, и в частности лицо старой Риги, есть свидетельства не только местных русских и немцев, но и авторитетных наблюдателей со стороны.

Так, например, Джордж Кеннан, начавший свою дипломатическую карьеру в Прибалтике и служивший в американском посольстве в Риге (имея также заданием в совершенстве изучить русский язык), вспоминает в своих мемуарах Ригу 1920-ых годов,

30. Juergen v. Hehn, op. cit., S. 59.

31. Е. Тихоницкий. "К пятнадцатилетию Русской школьной автономии". Сборн. *Русские в Латвии,* Рига, 1934, с. 51.

которая понравилась ему своей "многообразной и чрезвычайно космополитической культурной жизнью". И дальше он пишет, что господствующие в стране латыши, "становясь все больше шовинистами... заботились о том, чтобы положить конец всему этому космополитизму как можно скорее и, в конечном счете, преуспели в этом в 1939 г., лишив город значительной доли его привлекательности".[32]

А другой американец, знаток послеверсальской Восточной Европы, Мальбон Грэхэм, писал, что лично может засвидетельствовать, что авторитарный режим Ульманиса, "применяя антидемократическую тактику, все больше и больше приближался по своему темпу и по своим тенденциям к практике нацистов".[33]

Объективность, однако, требует внести в это суждение, во многом справедливое, известную поправку. Если по своим целям и тенденциям, по крикливости и лживости своей пропаганды режим Ульманиса и носил черты, сближавшие его с национал-социализмом, то по методам, применявшимся им для достижения поставленных задач, он несопоставим ни с германским, ни с коммунистическим тоталитаризмом с их безжалостным отношением к людям и с их кровавыми расправами.

Неизвестно, конечно, к каким способам подавления прибег бы Ульманис, если бы в стране проявилось активное сопротивление его режиму. Но фактом остается, что, поскольку такие попытки не производились и обнаружилось отсутствие гражданского мужества у ведущих слоев латышского общества и полная пассивность населения, диктатору не пришлось за время своего господства прибегать к жестоким расправам и репрессиям, применявшимся его тоталитарным соседом. После переворота 1934 г. было арестовано свыше 2.000 человек, которых содержали в тюрьмах и в концентрационном лагере в Либаве. Однако в течение года большинство арестованных было освобождено и только сравнительно немногие были приговорены к тюремному заключению на несколько лет. Вот почему латышская писательница Зента Мауриня, известная своими литературно-критичес-

32. George F. Kennan. *Memoirs 1925 - 1950.* Boston-Toronto, 1967, p. 29.

33. Malbone W. Graham. "Review of History of Latvia by A. Bilmanis" in: *American Slavic and East-European Review,* Oct. 1952, p. 238.

кими статьями и книгами также и за пределами Латвии и не раз критиковавшая порядки при режиме Ульманиса, в конце своей автобиографической книги имела основание заметить: "И к чести нашего президента надо сказать, что за время своего правления он не приговорил ни одного человека к смертной казни".[34]

Поэтому, после того как над Прибалтикой пронеслись сперва кровавый год коммунистического террора, а потом события второй мировой войны, обошедшиеся ее населению в десятки тысяч человеческих жизней, психологически понятно, что в памяти некоторых русских латвийцев постепенно побледнели обстоятельства их жизни в последнее пятилетие независимой Латвии. Пережитые ими тогда несправедливости, бесправие и национальная приниженность заслоняются воспоминаниями более отрадными. Они обычно связываются с тем первоначальным периодом независимости Латвии, когда по ней еще не раздавалось навязчивое и подобострастное славословие мудрости "народного вождя", самовольно распоряжавшегося жизнью страны, и когда еще казался прочно установленным правопорядок молодой республики, при котором ее русские граждане могли себя чувствовать как дома, сохраняя свой язык и национально-культурную самобытность.

Димитрий Левицкий

34. Zenta Maurina. *Denn das Wagnis ist schoen.* Memmingen/Allgaeu, 1953, S. 578.

О ТРАДИЦИОННОЙ ОШИБКЕ В ОЦЕНКЕ ВСТРЕЧ ДОСТОЕВСКОГО С ГЕРЦЕНОМ

В советском литературоведении утвердилось однозначное толкование творческих взаимоотношений и личных контактов Ф. М. Достоевского и А. И. Герцена. Из советских достоевсковедов никто, пожалуй, так, как А. С. Долинин и его школа, не преувеличивали влияние и значение идей революционного демократа Герцена для публицистики и художественного творчества Достоевского. Под влиянием определенных идеологических концепций освещались факты из жизни и творчества обоих писателей.

Сложная проблема взаимоотношений Достоевского и Герцена требует нового прочтения имеющихся документов и привлечения новых материалов для получения более беспристрастной картины, опирающейся на точные факты и все художественное и публицистическое творчество Достоевского, в котором в той или иной форме писатель касается личности Герцена, его мировоззрения.

Предлагаемая статья — часть исследования этой проблемы, проводимого автором совместно с профессором Н. А. Натовой.

Достоевский и Герцен ни в жизни, ни в литературе не были близки друг другу и тем более не были единомышленниками даже в ранние годы их литературной деятельности. Те единичные встречи, которые произошли, не вызвали повышенного интереса ни у того, ни у другого и тем более стремления к дружеской близости. Каждый из них в какой-то мере следил за творчеством другого — Достоевский больше, Герцен меньше. Читали

произведения другого и в какой-то мере их ценили и критиковали как бы мимоходом и этим всё и ограничивается. Сказывалось различие социального положения, противоречие политических позиций. Мировоззренческое расхождение, несовместимость характеров и духовный антагонизм.

Первая встреча Достоевского с Герценом произошла 5 октября 1846 г. на квартире И. И. Панаева. Е. И. Дрыжакова о ней пишет: "Достоевский зашел к Панаеву по делу — узнать о Белинском, зашел, очевидно, ненадолго: дружеских отношений с Панаевым и Некрасовым у него уже не было. Напротив, Достоевский ко всему их кругу относился подозрительно и враждебно. Встреча с Герценом, которого автор "Бедных людей" считал своим соперником в беллетристике, вряд ли была приятна Достоевскому в тот октябрьский вечер: больной, удрученный литературными неудачами, в "неприличном платье", он избегал людей, тем более тех, кто был в его сознании "не свой брат" (сб. "Достоевский. Материалы и исследования", вып. I, 1974, стр. 222).

Очевидно, никакого общего разговора не завязалось и тем более не состоялась беседа между Герценом и Достоевским. Герцен потом писал жене: "Видел сегодня Достоевского... не могу сказать, чтоб впечатление было особенно приятно". Видно заметил это и сам Достоевский и поэтому воздержался от того, чтобы об этой случайной встрече написать брату Михаилу.

До встречи у Панаевых оба — Герцен и Достоевский — кое-что знали о литературных успехах каждого. Федор Михайлович первый раз упоминает имя Герцена еще до этой встречи — 1 января 1846 — в письме брату: "Явилась целая тьма новых писателей. Иные мои соперники. Из них особенно замечателен Герцен (Искандер) и Гончаров... Их ужасно хвалят". (Достоевский. Письма, т. 1, стр. 89).

В эти годы Герцен, возвратившийся из ссылки, привлек к себе внимание несколькими философскими работами, главная из которых — "Письма об изучении природы" (1844-46). В художественной литературе большим успехом пользовался начатый публикацией роман — "Кто виноват?". Достоевский удачно дебютировал романом "Бедные люди" в 1846 г. Но роман "Двойник", не понятый критикой, был принят с холодком. А

через три года Достоевский оказался на каторге, был "вынут" из литературы, по выражению Льва Толстого.

Вторая встреча Достоевского с Герценом произошла много лет спустя, когда вернувшийся из ссылки Федор Михайлович рвался в Европу. Мечта осуществилась в 1862 году. Свой форсированный маршрут он составил еще в Петербурге. Он хотел побывать во многих странах, в нескольких крупных городах, столицах, чтобы "из всего виденного составилось что-нибудь целое, какая-нибудь общая панорама", чтобы страна святых чудес "представилась разом, с птичьего полета, как земля обетованная с горы в перспективе". Достоевский очень торопился, и благодаря этому ему удалось за два с половиной месяца увидеть Берлин, Дрезден, Висбаден, Баден-Баден, Кёльн, Париж, Лондон, Люцерн, Женеву, Геную, Флоренцию, Милан, Венецию и Вену, "да еще в иных местах по два раза".

О второй встрече обоих писателей писалось много раз. Исходя из немногих скудных сведений, различные авторы стремились "переосмыслить" значение встречи Достоевского с Герценом в Лондоне в 1862 году, дополнить немногое известное догадками, домыслами и экстраполяцией, чтобы получить желаемую широкую картину бесед-диалогов, в которых были бы затронуты наиболее существенные вопросы, волновавшие тогда русскую общественность.

Но так ли было на самом деле, как рисуют эту встречу некоторые исследователи? Обратимся к фактам. 19 июня (н. ст.) 1862 г. Достоевский выехал за границу, направляясь сначала в Париж. Здесь Федор Михайлович задержался до 9 июля и переехал в Лондон.

Анна Григорьевна Достоевская в своих воспоминаниях об этой поездке мужа прямо не упоминает, но, говоря о встречах с Огаревым в 1867 г. в Женеве, отмечает, что с Огаревым Достоевский познакомился у Герцена ("Воспоминания", 1971, стр. 167). Это — ошибка: Огарева не было у Герцена, когда его посетил Достоевский. Об этом свидетельствует письмо Герцена, в котором, на другой день после посещения его Достоевским, он сообщает тому о встрече с писателем.

Подробно о лондонском свидании Достоевского с Герценом писал А. С. Долинин в первой своей статье — "Достоевский и

Герцен": Достоевский очень торопился — в жажде своей "не только как можно более осмотреть, но даже все осмотреть; непременно все, несмотря на сроки. Но в Лондоне задержался довольно долго — дней на восемь — и часто виделся с Герценом" (см Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы, вып. I, изд. "Мысль", 1922, стр. 309).

В примечании к книге А. П. Сусловой — "Годы близости с Достоевским" Долинин сообщает: "В первых числах июля 1862 г. Достоевский провел неделю в Лондоне, *встречаясь все время с Герценом:* тогда-то они, по-видимому, и сошлись довольно близко" (П. Суслова, изд. Сабашниковых, М., 1928, стр. 176; подчеркнуто нами). При этом Долинин делает ссылку на первоисточник, — письмо Герцена Огареву от 17 июля: "Вчера был Достоевский. Он наивный, не совсем ясный, но очень милый человек. Верит с энтузиазмом в русский народ" (соч. Герцена, т. XV, стр. 334).

Эта единственная фраза о Достоевском никак не дает основания высказанному Долининым утверждению, что писатели "близко сошлись". Скорее она свидетельствует о том, что собеседники не нашли общего языка.

Ссылка на эту фразу и на донесения агентов III Отделения, вот все, что имели исследователи для того, чтобы делать такие далекие выводы. Об агентурных сведениях III Отделения упоминается в 86 томе "Литературного наследства": "О первой поездке Достоевского за границу в архиве III Отделения имелись документы, свидетельствующие о том, что и вдали от России он не оставался свободным от надзора. По донесению агентов, следивших за домом Герцена в Лондоне, Достоевский "свел там дружбу с изгнанником Герценом и Бакуниным". На основании этих донесений имя его было внесено в список лиц, заподозренных в сношениях с изгнанником Герценом, причем Достоевский был отнесен шефом жандармов В. А. Долгоруковым в категорию тех лиц, которые посещали Герцена "не из простого любопытства, а участвовали более или менее в преступных его намерениях". Как известно, Герцен, получивший через польских корреспондентов этот лист имен (...), которые по возвращению на родину будут задерживаться, опубликовал его в "Колоколе". Но об аресте Достоевского... документов не оказалось. Было

предложено при возвращении его из-за границы осмотреть его бумаги и книги, "в случае открытия (...) запрещенных книг, газет или подозрительных писем, немедленно отобрать оные и препроводить в III Отделение" ("Лит. наследство", т. 86, 1973, стр. 596).

Агенты III Отделения сообщают ни больше ни меньше *как о дружбе,* которую якобы свел Достоевский с Герценом. Долинин уверяет, что, "будучи в Лондоне, Достоевский часто посещал Герцена вместе с целым рядом политически неблагонадежных". Эти утверждения повторяются многими авторами, и они легли в основу разных догадок и домыслов о содержании тех бесед, тех диалогов, которые велись Достоевским с Герценом. Долинин к тому же уверен, что "1862 год как раз и является годом наибольшего влияния Герцена на Достоевского в области общественно-идеологической" (цит. стр. 171 в книге Сусловой, "Годы близости...").

Почему же сам Достоевский тогда ни разу ни в печати, ни в переписке с братом и близкими, ни в беседах с друзьями, какими в те годы были Н. Страхов и А. Майков, не обмолвился ни словом о тех якобы "глубоких переживаниях", которые были вызваны встречей с Герценом? Объяснить это "табу" вокруг имени лондонского "сидельца" никак нельзя. Достоевский всегда имел возможность в той или иной форме упомянуть о "творческих" беседах с Герценом в печати и откровенно говорить в частных разговорах и писать в письмах.

Но лишь через одиннадцать лет, когда Герцена уж не было в живых, Федор Михайлович как бы мимоходом вспомнил в "Дневнике писателя" тот июльский вечер, когда в лондонском доме Герцена произошла первая и, как мы покажем, *единственная* встреча двух знаменитых русских писателей. Легенду о частых и полезных встречах Достоевского с Герценом легко опровергнуть, если обратиться к календарю. В Лондон Достоевский прибыл 9 июля (27 июня ст. стиля) 1862 г. Встреча с Герценом произошла только через неделю, в среду 16 июля, о чем было сообщено Огареву письмом на другой день. И уже 20-го числа Федор Михайлович снова оказался в Париже.

Когда и как принимал Герцен своих многочисленных посетителей? Об этом имеются данные. Обратимся к ним.

В. А. Прокофьев, автор биографии А. И. Герцена, опубликованной в 1979 г. "Молодой Гвардией" (в серии "Жизнь замечательных людей". Серия биогр. Вып. II (596), рассказывая о том, что в лондонском доме Герцена в 60-х годах "нет прохода от русских посетителей", приводит слова его: "Количество русских таково, что я, наконец, должен был назначить два дня в неделю: среду и воскресенье". Далее биограф пишет: "Для старых знакомых Герцен делал исключение, откладывал свои занятия, отправлялся гулять по Лондону, заводил друзей в небольшие кофейные".

Приведем еще один абзац. "По воскресеньям у Герцена вавилонское столпотворение. Эмигранты со всех концов света чувствовали себя в этом доме не как гости, а как хозяева. Пока Александр Иванович беседовал с кем-либо его особо интересующим в отдельной комнате, многочисленные посетители разбредались по дому. Собирались кучками, спорили, и порой очень громко. Наиболее любопытные заглядывали даже на кухню, где по воскресеньям обычно дым стоял коромыслом. "Неосторожные русские" иногда приводили за собой шпиков. Так, однажды заявился некий господин Хотинский. Он хвастался тем, что матросы корабля, когда он им сказал, что посещал Герцена, устроили ему овацию, а на ночь вместо подушки подложили под голову комплекты "Колокола" и "Полярной звезды". Через несколько дней Герцена письмом из Петербурга предупредили, что Хотинский служит в III Отделении"(стр. 322).

Прокофьев повторяет ставшую традиционной ошибку некоторых достоевсковедов, когда сообщает, что Федор Михайлович в 1862 г. прибыл за границу, чтобы подлечиться (что неверно, прим. автора), и специально едет в Лондон на встречу с Герценом. С чужих слов, без ссылки он уверяет, цитируем: "Эта встреча вылилась в ряд дружеских бесед (которые были продолжены в следующем, 1863 году в Италии). Они говорили и об общей для них любви к России, русскому народу, о Белинском и... Хомякове" (стр. 332)

Подкрепление сообщению, цитированному Прокофьевым, мы находим в "Исповеди" В. И. Кельсиева, который до осени 1862 г. проживал в Лондоне и там посещал Герцена, переписы-

вался с ним. Впоследствии он отошел от революционного демократизма и вернулся на родину.

"В мае 1859 г., когда я приехал в Лондон, я застал Герцена во всем блеске его славы и авторитета... Я познакомился с ним по общему порядку, какой не то сам завелся, не то Герценом же был заведен в Лондоне. Каждый приезжий естественным образом прежде всего бежал к Тюбнеру купить "Колокол", "Полярную звезду" и прочие заграничные издания. Приезжий в Лондон обыкновенно изъявлял Трюбнеру желание удостоиться счастия познакомиться с Герценом. Трюбнер давал адрес и приглашал написать записку. В ответ на эту записку Герцен назначал свидание или у себя, или у приезжего, если последнему почему-нибудь не хотелось, чтобы его видели в доме Герцена. Такие случаи бывали очень часто. Лица очень высокопоставленные никогда не входили в дом Герцена... Трудно было помнить всех приезжавших на поклонение, так много их было... Кого только не перебывало при мне у Герцена! Бывали губернаторы, генералы, купцы, литераторы, дамы, старики и старухи, бывали студенты, — точно панорама какая-то проходила перед глазами, точно водопад лился, и это не считая тех, с которыми он видался с глазу на глаз... Серьезные свидания составляли, как я сказал, тайну Герцена и Огарева. Свидания и приемы несерьезные делались раз в неделю (впоследствии два раза) в назначенный день, обыкновенно в воскресенье, с пяти часов вечера" ("Лит. наследство", т. 41-42, стр. 273-74).

Трудно перечесть всех замечательных русских людей, которые посетили гостеприимный дом Герцена: Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, И. С. Тургенев, А. Н. Островский, Н. Рубинштейн, видный ученый палеонтолог В. О. Ковалевский, герой гражданской войны в Америке, бывший русский полковник И. В. Турчанинов (Турчин).

Мы уже назвали дни недели, когда у Герцена был "открытый дом", — среда и воскресенье. Достоевский прибыл в Лондон в среду. Он не успевал попасть на прием к Герцену. Если бы он приехал в Лондон, чтобы специально увидеться с Герценом, то он в воскресенье 13 июля не преминул бы побывать у лондонского "сидельца". Но главное стремление Федора Михайловича попасть в столицу Англии — увидеть Лондон,

мировой порт, посетить всемирную выставку, осмотреть архитектурное чудо того времени Хрустальный дворец; сказывалось техническое образование писателя. Достоевский стремился набраться впечатлений от Англии, и оставил под конец своего пребывания в Лондоне визит к Герцену, ограничившись единственным посещением.

Герцену Достоевский не был близким знакомым, но как известный писатель он интересовал Герцена, поэтому он выделил его из толпы посетителей, как только Федор Михайлович представился ему. Он увел его в отдельную комнату для того, чтобы поговорить наедине. Кое о чем расспросил. Тогда и произошел тот диалог, о котором Достоевский вспомнил через много лет, а Герцен ни разу не упоминал в своих воспоминаниях и письмах, настолько он был несущественным.

Можно высказать лишь одно предположение. Если бы у Герцена на руках уже были те книжки журнала "Русская мысль", в которых печатались главы из "Мертвого дома" Достоевского, о присылке которых Александр Иванович настойчиво просил Ивана Сергеевича Тургенева незадолго до свидания с Достоевским, то, вне всякого сомнения, разговор неизбежно коснулся бы этого произведения. Судя по тому, как высоко потом ценил и ставил Герцен "Мертвый дом", разговор их был бы более содержателен, и авторитет Достоевского поднялся бы в глазах Герцена несомненно выше, чем он стоял во время их свидания. И прием Федору Михайловичу был бы куда почетней, и получил бы Достоевский приглашение посетить Герцена в неприемный день для беседы с глазу на глаз.

Раз мы затронули возможную, но не состоявшуюся беседу о каторге, ссылке и "Мертвом доме", то стоит привести запрос Герцена Тургеневу и ту высокую оценку, которую потом дал Герцен этому произведению Достоевского, после его прочтения.

19 мая, т. е. незадолго до свидания с Достоевским, Герцен просит Тургенева: "Напиши, пожалуйста, где мне найти Достоевского воспоминания о каторге". Через два дня в другом письме настойчиво пишет: "Если ты, действительно, хочешь мне сделать пластырь на раны, нанесенные твоей диалектикой, то *пришли* "Записки из мертвого дома", "записки ИЗ МЕРТВОГО дома", "ЗАПИСКИ из мертвого ДОМА". (Это — американская манера

переписки)". В конце письма он снова в этой же манере повторяет название произведения дважды и добавляет "прислать очень легко: отдай на почту или с пассажиром..." (соч. Г., т. XV, стр. 136-37).

Через два года после встречи с Достоевским в Лондоне и через год после встречи на пароходе в Италии Герцен в статье "Новая фаза в русской литературе" дает такое определение значения произведения Достоевского: "Не следует, кроме того, забывать, что эта эпоха (николаевская) оставила нам одну страшную книгу, своего рода carmen horrendum, которая всегда будет красоваться над выходом из мрачного царствования Николая, как надпись Данте над входом в ад: это "Мертвый дом" Достоевского, страшное повествование, автор которого, вероятно, и сам не подозревал, что, рисуя своей закованной рукой образы сотоварищей каторжников, он создал из описания нравов одной сибирской тюрьмы фрески в духе Буанарроти" (соч., т. XVIII, стр. 219).

Удивительно, что литературоведы, писавшие о свидании Достоевского с Герценом, увлекшись домыслами многообразия тематики бесед, ни разу не назвали "Мертвый дом", как благоприятный для содержательной беседы мотив.

В одной из своих работ Е. Н. Дрыжакова высказала неоспоримое мнение, что "держался Достоевский в доме Герцена, видимо, достаточно замкнуто...", что "визит Достоевского не произвел на него (Герцена) особенного впечатления", и что "Достоевский, несомненно, это почувствовал" ("Достоевский. Материалы и исследования", вып. I, 1974, стр. 227). Безусловно, встреча проходила в той психологической обстановке, как рисует ее автор. Зная характер Федора Михайловича, можно считать достоверным, что "какая-то неприязнь к Герцену осталась в его сознании". Все это справедливо и поэтому надо считать, что подлинно теплой и длительной беседы с откровенными высказываниями своих взглядов на события на родине не вышло, да и не могло произойти.

Если бы было верным сообщение Л. П. Гроссмана, что в этот вечер Федор Михайлович встретился у Герцена с Бакуниным, то можно было бы ожидать, что визит Достоевского для окружающих прошел незамеченным. Тихий голос

Достоевского вряд ли мог пробить мощь голосов собеседников. Герцен и Бакунин любили поговорить, пооратор ствовать, поострить. На фоне их импозантных фигур и блестящих речей Достоевский не мог привлечь к себе должного внимания. Внешность Федора Михайловича не была броской. Он казался тем, кто встречался с ним, небольшим тщедушным человеком. Только Анна Григорьевна рисует его человеком среднего роста, державшимся прямо. М. А. Поливанова, посетившая Достоевского во время пушкинских торжеств в Москве в 1880 г., нашла его "маленьким человеком с бледным изнеможденным лицом". В годы каторги, как пишет Мартьянов, у Достоевского было "бледное, испитое, землистое лицо, испещренное темно-красными пятнами". Но и позже, в годы посещения Герцена и женитьбы на А. Г. Сниткиной, бросалось в глаза "бледное и болезненное лицо" писателя. Е. Н. Опочинин так рисует внешность Достоевского: "Наружность незначительная: немного сутуловат, волосы и борода рыжеваты, лицо худое, с выдавшимися скулами, на правой щеке бородавка. Глаза угрюмые, временами мелькает в них подозрительность и недоверчивость, но большею частью видна какая-то дума и будто печаль".

Лишь художники, писавшие его портреты с натуры, чутко улавливали богатую духовность писателя. Так, И. Крамской, рисовавший Достоевского на смертном одре, тонко почувствовал величие писателя и отметил, что "в последние годы его (Федора Михайловича) лицо сделалось *еще знаменательней,* еще глубже и трагичней, и очень жаль, что нет портрета, равного перовскому по художественным достоинствам".

Все те многие попытки восстановить содержание, в конце концов, единственной встречи в Лондоне Достоевского с Герценом, которые сделали Долинин, Гроссман и другие биографы писателя, были плодом их фантазии, фантазии, которая опиралась на тексты различных статей обоих писателей, на идеи, высказанные в романах Достоевского, на какие-то черты и мысли героев его произведений, и представляют собой своеобразную литературную экстраполяцию, или, даже, апокрифические упражнения над текстами Достоевского и Герцена. Можно собрать целый том вариантов диалогического обмена

мыслями и идеями между Герценом и Достоевским, которыми щедро награждают биографическую литературу о Достоевском некоторые исследователи, превращая их, к сожалению, мимолетную встречу в серьезный пункт развития русской общественной мысли.

У нас сейчас нет возможности проверить, каким источником пользовался Л. П. Гроссман, рисуя в своей книге "Достоевский", выпущенной "Молодой Гвардией" в серии "Жизнь замечательных людей" в 1962 году, картину показа Герценом Достоевскому жизни Лондона в поездке по городу.

"Легкий кеб покатил их по Лондону.

— Вот вся история Англии, вытесанная в камне.

Перед ними высился Тауэр — старая крепость, дворец, тюрьма и место казней, клочок Великобританской империи, сосредоточивший самые кровавые драмы его летописей.

Они проехали к докам, где под грохот цепей, визг подъемных кранов, скрипение вагонов, нагружались и опорожнялись колоссальные хранилища товаров, втянутых в себя Лондоном со всех концов мира. Центр мировой торговли раскидывался вокруг сложнейшим переплетом канатов, блоков, цепей, тюков, бочек, мешков, лестниц, трапов, крюков, подъемников, похожих на веселицы, и бесчисленных мачт, вонзившихся кольями в бесцветное лондонское небо" (стр. 258-259).

Гроссман пишет, что по агентурным сведениям III Отделения "Достоевский встречался в Лондоне в 1862 году с. М. А. Бакуниным" (стр. 260). Заметьте, — встречался, а не встретился! Оказывается, что Достоевскому удалось побеседовать с Бакуниным и не раз! "О чем же могли беседовать столь несхожие мыслители, как Бакунин и Достоевский, стоявшие на диаметрально противоположных политических позициях? В чем мог согласиться организатор российского почвенничества с провозвестником всемирного разрушения? Общей для них темой был только русский народ с его страдальческим прошлым и героическим будущим" (стр. 262)

Делая подобную догадку, Гроссман уверяет что "Герцен, присутствовал (это у себя-то дома!) при этих беседах".

Из не очень ясных фраз в письме, в котором Герцен сообщал

Огареву о посещении его Достоевским, все же вытекает, что Бакунина в тот день не было у Герцена. "Говоря о каком-то поляке из Парижа, он (Бакунин) в записке добавляет: "высокомерие", с которым я принимаю, и "презрение" его рекомендацией, лень и пр. Я, действительно, не подал ему повода на такой тон и поэтому отвечал ему просто, что, я думаю, тут ошибка; что мы вовсе не так близки и что я никому не навязываюсь. Все это было вчера, и он не был" (стр. 354).

Сведения о частом посещении Достоевским Герцена пущены агентом III отделения, чтобы доказать свою бдительность и усердие, для чего и приврать можно!

Случайной и неожиданной оказалась третья встреча в 1863 г. Федор Михайлович, примирившийся с Апполинарией Прокофьевной Сусловой, совершал с ней поездку по Италии. Встреча с Герценом произошла 13 октября. Суслова вспомнила о ней в Париже и записала в своем дневнике 22 октября.

"На дороге, на корабле, в самом Неаполе мы встретили Гер/цена/ со всем семейством. Ф/едор/ М/ихайлович/ меня представил, как родст/венницу/, весьма неопределенно. Он вел себя со мной при них как брат, даже ближе, что должно было несколько озадачить Г. Ф. М. много говорил ему обо мне и Г. был внимателен. С мол/одым/ Г. я тоже говорила. Это какой-то отчаявшийся юноша. Я говорила о моих загр. впеч., сказала, что везде нахожу более или менее гадость, а он доказывал, что не более или менее, а везде одинаково гадко. Во время моего разговора с ним, Ф.М., когда я была одушевлена, прошел мимо и не остановился, я подозвала его, он обрадовался. Молодой Г. сказал, что зимой будет в Париже и придет ко мне, спросил мой адрес (...). Я рассказала Ф.М., тот мне посоветовал дать адрес, чтобы таким образом больше оказать внимание. При прощании (в Ливорно), я дала Г. адрес. Ф.М. провожал Г., был у них в гостинице. Возвратясь, он неспокойно сказал, чтобы я ему непременно написала, если у меня будет Г. Я обещала. Вообще он ничего не говорил со мной о молодом Г., но когда я первая довольно легко заговорила, он продолжал и отозвался не совсем в его пользу. Еще он мне сказал, что у Г. увидал мою карточку, которую я дала ему с моим адресом. На ней была записана Алек/сандром/ фраза отца: "С одним рассудком люди не далеко

бы ушли" (А.П. Суслова. Годы близости с Достоевским. Изд. М. и С. Сабашниковых, 1928, стр. 65).

В этой неожиданной встрече на пароходе Достоевский и Герцен были сдержанны. На первом плане у обоих были сугубо личные, интимные дела — у Герцена семейные, осложненные, у Достоевского — неудачно-любовные.

Оба писателя могли поддерживать общий разговор, говорить на случайные темы, чтобы в их беседу могли вступить их спутники. Никакого диалога с разных мировоззренческих позиций на текущие события на Западе и в России не могло состояться: не до того им было обоим. Ни одним словом ни Достоевский, ни Герцен в своих писаниях, воспоминаниях и корреспонденции ни разу не коснулись этой встречи. Обстановка не располагала Достоевского к серьезному разговору. Можно предполагать без всяких интерполяций, что Герцен был очень занят судьбами своих дочерей — Таты и Ольги, с которыми тогда ехал, и это не располагало его к разговору. Вероятно, ему сразу бросилась в глаза странность взаимоотношений между "братом" Достоевским и Сусловой. Сын его не совсем понимал эти взаимоотношения и начал ухаживать за Полиной, на что та охотно отвечала, вызвав скрытую ревность Федора Михайловича. Вероятно, он и пошел провожать Герценов в гостиницу, чтобы кое-что разузнать. Александру А. пришлось показать ему карточку, которую Суслова передала вместе с адресом молодому Герцену.

Итак, ни о чем существенном оба писателя не говорили, расставание было вполне дружественным, как и встреча в начале поездки. Никак нельзя утверждать, как пишет Долинин, что "встретились они, как люди хорошо расположенные друг к другу, и что в это время Достоевский почему-то особенно дорожил вниманием Герцена" (!). (А. С. Долинин. "Достоевский и Суслова", 1923, стр. 217). Ни из чего это не вытекает. Нельзя считать основанием подобного предположения следующие слова, занесенные Сусловой в свой дневник: "В день отъезда из Неаполя мы с Ф/едором/ М/ихайловичем/ поссорились, а на кор/абле/, в тот же день, под влиянием встречи с Г/ерценом/, которая нас одушевила, объяснились и помирились (дело было из-за эмансипации женщин). С этого дня мы уже не ссорились; я

была с ним почти как прежде и расставаться с ним мне было жаль" (стр. 65).

Это свидетельствует о том, насколько был обворожителен своими манерами, своей блестящей диалектикой Герцен и как он захватывал тех, кто впервые видел и слушал его, как Суслова. Но для Достоевского это было далеко не все: Герцен был ему равен и соперником в политическом влиянии, в мировоззренческих вопросах, поэтому при жизни Герцена он был сдержан в оценке его личности, и вряд ли мог сказать, что он "особенно дорожит вниманием Герцена".

В августе 1865 г. Достоевский оказался в Висбадене. После очередного проигрыша в рулетку, он остался без всяких средств. Суслова посоветовала ему обратиться за займом к Герцену, который в то время находился в Женеве. Герцен долго не отвечал. Федор Михайлович решил, что по всей вероятности тот в это время не был в Женеве. "Я потому так наверно буду заключать, — пишет он Сусловой, — что с Герценом я в очень хороших отношениях и стало быть не может, чтобы он *во всяком случае* мне не ответил, даже если б и не хотел или не мог прислать денег" (стр. 162).

На третий день, в четверг 24 августа (н. ст.), не получив ответа, он пишет Сусловой: "... Быть не может, чтоб Герц. не хотел отвечать! Этого быть не может. За что? Мы в отношениях прекраснейших, чему даже ты была свидетельницей. Разве кто ему наговорил на меня? Но и тогда невозможно (даже еще более тогда невозможно), чтоб он *ничего* не отвечал на мое письмо..."

Он не успел закончить письма, как пришел долгожданный ответ Герцена. Он делает приписку: "сию минуту получил ответ от Герцена. Он был в горах и поэтому письмо запоздало. Денег не прислал; говорит, что письмо мое застало его в самую безденежную минуту, что 400 фл. не может, но что другое дело 100 или 150 гульд., и если было бы можно извернуться, то он бы их прислал. Затем просит не сердиться и проч. Странно однако же: почему же он все-таки не прислал 150 гульд.? если сам говорит, что мог бы их прислать. Прислал бы 150 и сказал бы, что не может больше. Вот как дело делается. А тут очевидно или у него самого туго, т.е. нет или жалко денег. А между тем он не мог сомневаться, что я не отдам: письмо-то мое у него. Не

потерянный же я человек. Верно у самого туго. Посылать к нему еще просить — по-моему невозможно!" (стр. 165-66).

Некоторые исследователи считали, что Достоевский остро переживал этот отказ и запомнил обиду до самой смерти Герцена, и никогда больше не искал случая встретиться с ним. Федору Михайловичу и ранее, и позднее, не раз приходилось наталкиваться на отказ ссудить его деньгами — на всех не обидишься и запоминать их не будешь. Правда, Герцен не простой заимодатель. Его отказ, вернее полуотказ, воспринимался болезненнее и оставил на время неприятный осадок, — Достоевского в мелочном злопамятстве никак не обвинишь. В конце концов, Герцен не отказался ссудить какой-то суммой и если не выслал сразу денег, даже если они были у него под рукой, то только потому, что предполагал, пока идет их переписка, отпадет необходимость в его денежной помощи.

Неприязнь и отталкивание Достоевского от Герцена шли не в личном плане, а по линии общественно-политической, покоились на различии мировоззренческом. От простого знакомства с Герценом Достоевский после истории с ссудой еще не отказывался. Когда в 1867 г. Федор Михайлович с Анной Григорьевной приехали в Женеву и там познакомились с Н.П. Огаревым, они просили его передать привет Герцену. 3 сентября Огарев в письме Герцену упомянул, что был у "мертвого дома", который тебе кланяется".

После этого что-то произошло между Достоевским и Герценом, о чем, к сожалению, не осталось следов в сохранившихся и опубликованных документах, что привело к прямому антагонизму между обоими писателями и отсекло у обоих желание продолжать личное знакомство. Неожиданно они столкнулись на улице в Женеве в феврале 1868 г., когда Герцен приехал в Швейцарию к тяжело заболевшему Огареву и задержался здесь на два месяца. Об этом Достоевский не мог не знать, так как дружил с Огаревым и они до того часто виделись. Стало быть Достоевский сознательно избегал встречи с Герценом, который тоже не искал ее.

Достоевский писал А. Майкову об этой встрече с Герценом: "десять минут поговорили враждебно вежливым тоном с насмешками, да и разошлись..." Привел он и свою оценку

Герцена и старой гвардии революционных демократов: "Как они, о, как они отстали, до какой степени они чего-то не понимают. А распухли-то, распухли-то как!" (Письма, т. 11, стр. 100-01).

Никогда больше Достоевский не встречался с Герценом.

Затянувшееся на четыре года с лишним (1867-1871) заграничное "сидение" Достоевского усилило его враждебное отношение к теоретизирующей революционной демократии, оторвавшейся от насущных задач России. Росло и отчуждение от мира Герцена, о чем свидетельствуют и друзья Федора Михайловича.

В 1862 г. Достоевский после Лондона и Парижа поехал в Женеву, где встретился с Н.Н. Страховым, с которым списался заранее. Вместе они поехали в Италию. Несомненно Достоевский рассказывал ему свои впечатления о личности Герцена, о содержании разговора с ним. В IX главе своих "Воспоминаний о Федоре Михайловиче Достоевском", опубликованных как биографический очерк в первом томе полного собрания сочинений Ф.М. Достоевского, вышедшего в 1883 г., Страхов пишет о первой поездке писателя за границу летом 1862 г. Страхов лишь упоминает о том, что в Лондоне Достоевский виделся с Герценом, как сам о том упоминает в "Дневнике" "Гражданина", и далее пишет: "К Герцену он (Достоевский) *тогда относился очень мягко,* и его "Зимние заметки" отзываются несколько влиянием этого писателя; но потом, в последние годы, часто выражал на него негодование за неспособность понимать русский народ и неумение ценить черты его быта. Гордость просвещением, брезгливое пренебрежение к простым и добродушным нравам эти черты Герцена возмущали Федора Михайловича, осуждавшего их даже и в самом Грибоедове, а не только в наших революционерах и мелких обличителях" (цит. по сб. "Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников", т. I, изд. "Худож. лит", 1964, стр. 298-99).

Достоевский и Страхов проводили свое время в поездке по Италии в осмотре достопримечательностей, вели долгие беседы, вместе читали роман В. Гюго "Отверженные". Но упоминалось ли имя Герцена, впечатления Достоевского о нем? Ничего не сказано, словно посещение Герцена ничтожный факт, неза-

служивающий внимания! Конечно, говорили об этом, но оба не придавали значения этой встрече.

Достоевский не откликнулся на смерть Герцена (21 января 1870 г.), но он похвалил Страхова за его статью "Литературная деятельность Герцена", опубликованную в третьем номере журнала "Заря". Статья была выдержана в тоне глубокого уважения к положительным заслугам Герцена перед русской мыслью и литературой. По мнению Достоевского, Герцен "был всегда и везде, — *поэт по преимуществу*. Поэт берет в нем верх и везде, во все ', во всей его деятельности. Агитатор — поэт, политический деятель — поэт, социалист — поэт, философ — в высшей степени поэт. Это свойство его натуры" (П., II, 259).

В 1873 г. в "Дневнике писателя", через три года после смерти Герцена, Достоевский передает содержание единственной лондонской беседы с Герценом, происшедшей 16 июля (н.ст.) 1862 г. "Однажды, разговаривая с покойным Герценом, я очень хвалил ему одно его сочинение — "С того берега" (...). Эта книга написана в форме разговора двух лиц, Герцена и его оппонента.

— И мне особенно нравится, — заметил я между прочим, — что ваш оппонент тоже очень умен. Согласитесь, что он во многих случаях ставит вас к стене.

— Да в том-то и вся штука, — засмеялся Герцен. — Я вам расскажу анекдот. Раз, когда я был в Петербурге, заташил меня к себе Белинский и усадил слушать свою статью, которую горячо писал: "Разговор между господином А. и господином Б." (...). В этой статье господин А., то есть, разумеется, сам Белинский — выставлен очень умным, а господин Б., его оппонент, поплоше. Когда он кончил, то с лихорадочным ожиданием спросил меня:

— Ну что, как ты думаешь?

— Да хорошо-то хорошо, и видно, что ты очень умен, но только охота тебе была с таким дуралеем свое время терять.

Белинский бросился на диван, лицом в подушку, и закричал, смеясь, что есть мочи:

— Зарезал! Зарезал!" (стр. 187).

Вслед за этим "анекдотом" в "Дневнике писателя" идет очерк "Старые люди" — о Белинском и Герцене. Достоевский дает развернутую, годами устоявшуюся, яркую по форме, несколько психологически пристрастную характеристику Белинского и

Герцена — двух идолов общественного движения в России. Мы приведем полностью то, что писал и как нарисовал портрет Герцена Достоевский. В советской критике избегают полного цитирования слов Достоевского, желая, по-видимому, не портить иконописный портрет Герцена, прочно утвердившийся в назидание потомству.

"Это (Белинский) была самая восторженная личность из всех мне встречавшихся в жизни. Герцен был совсем другое: то был продукт нашего барства, gentilhomme russe et citoyen du monde прежде всего, — тип, явившийся только в России, и который нигде, кроме России, не мог явиться. Герцен не эмигрировал, не полагал начало русской эмиграции; нет, он так уж и родился эмигрантом. Они все, ему подобные, так прямо и рождались у нас эмигрантами, хотя большинство их и не выезжало из России. В полтораста лет предыдущей жизни русского барства, за весьма малыми исключениями, истлели последние корни, расшатались последние связи его с русской почвой и с русской правдой. Герцену как будто сама история предназначила выразить собою в самом ярком типе этот разрыв с народом огромного большинства образованного нашего сословия. В этом смысле это тип исторический. Отделясь от народа, они естественно потеряли и Бога. Беспокойные из них стали атеистами; вялые и спокойные — индифферентными. К русскому народу они питали лишь одно презрение, воображая и веруя в то же время, что любят его и желают ему всего лучшего. Но они любили его отрицательно, воображая вместо него какой-то идеальный народ, — каким бы должен быть, по их понятиям, русский народ. Этот идеальный народ невольно воплощался тогда у иных передовых представителей большинства в парижскую чернь девяносто третьего года. Тогда это был самый пленительный идеал народа. Разумеется, Герцен должен был стать социалистом и именно, как русский барин, то есть безо всякой нужды и цели, а из одного только "логического течения идей" и от сердечной пустоты на родине. Он отрекся от основ прежнего общества; отрицал семейство и был, кажется, хорошим отцом и мужем. Отрицал собственность, а в ожидании успел устроить дела свои и с удовольствием ощущал за границей свою обеспеченность. Он заводил революции, и подстрекал к ним

других, и в то же время любил комфорт и семейный покой. Это был художник, мыслитель, блестящий писатель, чрезвычайно начитанный человек, остроумец, удивительный собеседник (говорил он даже лучше, чем писал) и великолепный рефлектер. Рефлекция, способность сделать из самого глубокого своего чувства объект, поставить его перед собою, поклониться ему, и сейчас же, пожалуй, и насмеяться над ним, была развита в нем в высшей степени. Без сомнения, это был человек необыкновенный, но чем бы он ни был — писал ли свои записки, издавал ли журнал с Прудоном, выходил ли в Париже на баррикады, что так комически описал в своих записках, страдал ли, радовался ли, сомневался ли, посылал ли в Россию, в шестьдесят третьем году, в угоду полякам свое воззвание к русским революционерам, в то же время не веря полякам и зная, что они его обманули, зная, что своим воззванием он губит сотни этих несчастных молодых людей; с наивностью ли неслыханною признавался в этом сам в одной из позднейших статей своих, даже и не подозревая, в каком свете сам себя выставляет таким признанием — всегда, везде и во всю свою жизнь, он, прежде всего, был gentilhomme russe et citoyen du monde, попросту продукт прежнего крепостничества, которое он ненавидел и из которого произошел, не по отцу только, а именно чрез разрыв с родной землей и с ее идеалами" (стр. 188-89).

В этом очерке мы остановились на характере четырех встреч Достоевского с Герценом, показанном в их собственной интерпретации, оставив в стороне все догадки и домыслы содержания бесед, которые якобы происходили в дружеской обстановке с плодотворными выводами. В них поздние исследователи выдают желаемое за бывшее.

А. Иванов

БИБЛИОГРАФИЯ

КИТАЙСКОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ ФЕТА

Полное собрание стихотворений А. Фета прочел я еще в отрочестве. Много раз его перечитывал и привез с собою в Бразилию эти милые книги издания Т-ва А.Ф. Маркс, СПб, 1912. Всегда привлекало мое внимание стихотворение, обозначенное, как "перевод с китайского" (на стр. 355-й второго тома названного издания). Вот это стихотворение "Тень":

"Башня лежит —
Все уступы сочтешь,
Только ту башню
Ничем не сметешь:
Солнце ее
Не успеет угнать,
Смотришь, луна
Положила опять".

Позднее, уже взрослым, я пытался найти оригинал этого стихотворения (которое не нравилось мне "лежачей башней" и чьим-то желанием ее смести), но китайская поэзия — океан; не зная имени автора, за сорок лет я нужного китайского текста не встретил. Надежды, вообще, было мало: заглавие стихотворению могло быть дано переводчиком на тот язык, с которого перевел его Фет, или дано самим Фетом; вследствие двукратного перевода стихотворение могло стать неузнаваемым (как случается со словом, передаваемым шепотом детьми при милой игре в испорченный телефон).

В июне 1968 года получил я от старого друга (еще по Харбину и Шанхаю), позднее обосновавшегося в Москве, толстую книгу: "Тао Юань-мин и его стихотворения" Л. Эйдлина (Восточная литература, Москва, 1967). Тао Юань-мин — не самый привлекательный для меня

поэт древнего Китая, да и Эйдлин — не самый привлекательный переводчик: переводит он точно по смыслу, но не рифмует и производит многостопные строчки анапеста, которым не владеет, а больше всего раздражает тем, что забывает об односложности китайского языка: например, на странице 190-й его труда дважды упомянуто имя "сюань", которое, ради соблюдения размера, надо читать как два слога: "сю-ань". Это уж вовсе непростительно.

Словом, книга пролежала у меня десять лет. Только недавно я прочел ее добросовестно, без пропусков. И был вознагражден — весьма неожиданной находкой. На страницах 143 — 144 труда Л. Эйдлина прочел я следующее: "Поэзия Фета значительна. Как переводчик, он слабее. Даже стало чем-то вроде хорошего тона укорять Фета его переводами. У Фета есть стихотворение "Тень" (с китайского). Для меня не представляет сомнения, что это перевод (возможно, с немецкого) семисловного четверостишия Су Ши "Тень от цветов" (Хуа ин). Вот подстрочный перевод его с указанием цезуры:

"Уступ за уступом, ступень за ступенью
поднимаюсь на нефритовую башню.
Сколько ни приказываю мальчику-слуге,
он никак ее не сметет.
Только великое светило
уберет ее,
Как ясная луна
приносит ее с собой".

Сличая текст Л. Эйдлина с текстом издания А.Ф. Маркс, замечаю, что после слова "сметешь" Эйдлин ставит точку, а Маркс — запятую. Всё остальное совпадает.

"Фет не передал, — продолжает Л. Эйдлин, — сохранившуюся китайскую рифму (ааба), да он и не знал ее. В общем догадался о цезуре, хотя она ему тоже была недоступна, и так же в общем показал параллелизм двух последних строк. Лишил (наверное, не по своей вине) стихотворение прелестных подробностей первых двух строк. Но сохранил композицию, а отсюда и логический ход мысли поэта (начало, развитие, поворот, заключение), благодаря чему стихотворение "состоялось". То есть понял главное. Условие необходимое, но всё еще недостаточное. Стихотворение Фета — один из наших ранних переводов с китайского, созданный в большой мере интуитивно, — все-таки заслуживает положительной оценки. Но оно же приводит к размышле-

нию о том, сколь важно удержать так явно упущенное переводчиком".

Следующим шагом был, естественно, просмотр имеющихся у меня антологий китайской поэзии. Теперь я искал только стихи Су Ши (1036 — 1101) и через четверть часа нашел в антологии "Цянь цзя ши" (Стихи тысячи поэтов, хотя их там много меньше) на странице 30-й отдела "ци-цзюэ" (стихотворений из четырех строк по семь идеограмм в каждой строке). Спасибо Л. Эйдлину!

Жаль, что нельзя переписать китайское стихотворение китайскими письменными знаками. Передам его по транскрипции (читая вслух, делайте ударение на каждом слоге-слове, помня, что каждая единица — дифтонг или трифтонг, но всегда *один слог*):

"чун...чун... де....де.... шан...яо....тай
цзи...ду....ху....тун...сао...бу....кай
ган...бэй...тай...ян....шоу...ши....цюй
цюэ...цзяо..мин...юэ....сун...цзян..лай"

Смутила меня тень "от цветов": откуда цветы? Кто-то поднимается по лестнице на башню из зеленой яшмы (яшма обычно зеленая). Его раздражает чья-то (или его собственная?) тень: он даже велит мальчику-слуге смести тень, но тень исчезнет только с заходом солнца и снова появится, когда взойдет луна.

Первое впечатление — стишок пустячный. Но тут я прочел примечания китайского редактора антологии "Цянь цзя ши", а написал он следующее: "В этом стихотворении — поскольку двор давал назначения лукавым людям, от которых невозможно было избавиться — за тему взяты тени от цветов, и это имеет смысл сатирический". А в пересказе на современный разговорный язык "бай-хуа" сообщается: "Что эти тени множества цветов снова и снова отражаются наверху яшмовой башни, поистине противно. Я несколько раз велю мальчику их смести, но они не сметаются. Едва солнце, уходя, подберет их, как почти сразу взошедшая на небо луна снова нашлет обратно эти противные тени." Ко всему этому редактор добавляет, что "чун" (в первой строке) надо произносить ровным тоном (пин шэн), а соединение "цзи ду" (второй строки) тождественно соединению "цзи цы" — несколько раз.

После всех этих розысков мне захотелось это стихотворение Су Ши перевести на русский язык — тем более, что ни Фет и его источник, ни Л. Эйдлин в своем подстрочном переводе сатирического смысла стихотворения Су Ши *не заметил!* Со своей стороны, я не нахожу объяснения

"цветам" — над честолюбцами-искателями можно посмеяться и не сравнивая их с цветами! Не безличный "лирический субъект" стихотворения, а эти самые "тени" стараются взобраться как можно выше по ступеням "яшмовой башни". Поэт-сатирик пытался эти тени смести (обличал искательство), но вскоре увидел, что взялся за дело безнадежное: светила (солнце и луна, то есть носители верховной власти) сами способствуют нескончаемому наползанию теней!

В учете всего узнанного я перевел стихотворение Су Ши "Тени" заново — независимо не только от Фета и его источника, но и от прозаического подстрочника, приготовленного для Л. Эйдлина или самим Л. Эйдлином. Вот мой перевод — без "цветов", но с сохранением сатирической заостренности подлинника:

На башню хочется теням наверх взойти,
Напрасно служка мой пытался их смести:
Что солнце, уходя, на время подберет,
То поспешит луна обратно привести!

Глагольные рифмы себе прощаю, ибо китайскому языку не свойственно звуковое разнообразие ("тай — кай — ла́й" отнюдь не изысканные рифмы). Потерять пришлось только "яшму": стремление теней взобраться вверх по ступеням *яшмовой* лестницы было бы еще нагляднее.

Валерий Перелешин.

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ВЫХОДИТ:

РОМАН ГУЛЬ

"Я УНЕС РОССИЮ"

(АПОЛОГИЯ ЭМИГРАЦИИ)

ТОМ I. "РОССИЯ В ГЕРМАНИИ"

В книге больше 360 стр. и много фотографий

О дне выхода и о цене книги будет сообщено в объявлениях

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

под редакцией

РОМАНА ГУЛЯ

■

В 1981 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ

■

Подписная цена на 1981 год 24 доллара
(за 4 книги)

Цена одной книги — 7 долларов
Во Франции — 25 франков

■

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы: 666-1692

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно, кроме праздников и суббот, от 10-ти до 12-ти час. дня